

БОРИС НОСИК ПРИВЕТ ЭМИГРАНТА, СВОБОДНЫЙ ПАРИЖ!

БОРИС НОСИК



ПРИВЕТ
ЭМИГРАНТА,
СВОБОДНЫЙ ПАРИЖ



БОРИС НОСИК

ПРИВЕТ
ЭМИГРАНТА,
СВОБОДНЫЙ
ПАРИЖ!

Москва
ИНТЕРПРАКС
1992

ББК 63.3 (0)
Н84

Редактор Л. С. Еремина

Носик Б.

Н 84 Привет эмигранта, свободный Париж.
М.: Интерпракс.— 1992

В книге собраны беседы-очерки о судьбах самых разнообразных людей Первой эмиграции из России после 1917 г. и гражданской войны: Нестора Махно и В. Д. Набокова, матери Марии и певицы Надежды Плевицкой, князя Трубецкого и Сергея Эфрона и мн. других

ББК 63.3(0)

ISBN 5—85235—038—9

© Б. М. Носик, 1992 г.
© В. М. Радецкий, оформление, 1992 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Попад впервые в Париж, если и не «на постоянное», то на весьма долгое жительство, я обнаружил с удивлением, что мой прежний интерес к иностранным людям и нерусским проблемам я растерял где-то в прошлом, за чертой молодости. Безо всякого интереса оглядывал я в Марселе замок Иф, где содержали знаменитого «графа Монтекросто», зато с энтузиазмом искал портовый кабаk, где юный Набоков наблюдал когда-то русских матросов и откуда писал письма юной Вере, с которой только что познакомился в Берлине. А добравшись впервые до Ниццы, я стоял перед отелем, где жил Чехов. Я толкался среди старых эмигрантов на Бульваре Царевича и в русской церкви, раздумывал, как бы мне добратсья до Граса, до бунинской виллы Бельведер. В общем, я обнаружил, что интерес к чужой, экзотической культуре (а ведь был я с младых ногтей англист и западник) испарился, зато безмерно возрос интерес к судьбе русских, попадавших, как и сам я, вольно или невольнo, на житье в прекрасные эти края и так же, как я, изнывавших по родному краю. Следы русских людей в этом краю волновали безмерно, я путешествовал по этим следам, отыскивал тех старых эмигрантов, кто был еще жив, расспрашивал, расспрашивал... До сих пор испытываю я необычное волнение, встретив вот так ненароком — то русскую могилу в Риме, близ пирамиды Тита, или над Женевским озером в Веве; то совсем юную студентку, внучку генерала Краснова, на парижской площади; то мемориальную доску на стене в Латинском квартале или прямо на травянистой тропке в Приморских Альпах — а на ней русское имя: Черепнин, Бунин; то престарелую монахиню из рода Голицыных в тихом русском монастыре неподалеку от нашей дачи в Шампани; то очень старую даму, которую в волошинском Коктебеле все звали Майя, а тут соседи по дому на Монпарнасе уже только — мадам Ромэн Роллан; то вдову любимого писателя, которая их всех знала — и Газданова, и Алданова, и Фондаминского; то дочку другого знаменитого писателя, которая в юности встречала и Бунина, и Цветаеву, и Ходасевича...

Не сразу я решился об этом хоть кое-что написать. Спасибо молодому парижскому редактору (не много у меня за жизнь было таких снисходительных редакторов!) Льву Бруни, это он сказал: «Попробуй!» И я стал писать. Это были короткие радиопередачи для «Радио Франс Интернациональ» — я читал их в парижской студии, а откуда-то из моей России приходили письма: спасибо, мол, интересно, расскажите еще про то или про это. Так я получил подтверждение тому, что ощущал и раньше,— Первая русская эмиграция и ее люди вызывают сегодня немалый интерес у нас в России. Вот тогда я и решил собрать свои беседы о людях и о жизни Первой эмиграции в этой небольшой книге. Хотелось бы только уточнить для начала: то, что мы называем (и я тоже буду так называть в своих беседах) Первой эмиграцией, это была, по существу, уже вторая русская эмиграция. По-настоящему первой была послереволюционная эмиграция начала века — 1905—1906 годов, да и до нее немало было русских эмигрантов из числа революционеров, людей, по тем или иным причинам неугодных правительству, или просто застрявших за рубежом. Но, конечно, ни по числу изгнанников, ни по значению своему те, прежние, волны русской эмиграции не могли сравниться с потоком беженцев, хлынувшим из России после 1917 года и гражданской войны. Вот эту-то массовую эмиграцию, этот печальный Исход, это изгнание десятков тысяч русских, зачастую — лучшего, что было в тогдашнем русском обществе, того, что как сказал поэт, «было солью каторжной земли», мы и называем условно Первой русской эмиграцией. Второй называют ныне тот поток русских, украинцев, белорусов, что были угнаны фашистами на работы из захваченных областей Советского Союза или взяты в плен на фронтах, а потом, по тем или иным причинам, которые нет у нас никаких оснований считать неважными, не вернулись на родину. Это тоже довольно мощная волна эмиграции, и о ней, к сожалению, пока еще мало написано *. Поток Третьей русской эмиграции хлынул за рубеж после смерти Сталина, когда в конце 60-х годов приоткрыт был железный занавес — этот поток не иссякает и сегодня. Однако здесь у нас пойдет речь о людях Первой эмиграции, и, может, через эти судьбы, через страдания и метания этих людей станет нашему русскому читателю понятно то, что представляется иногда поистине непостижимым в чужой, столь непростой и неблизкой участи.

* Кое-что об этих людях, впрочем, немного, читатель может найти в моей книге «Этот странный парижский процесс» (М.: Московский рабочий, 1991)

Я не выбирал для своих бесед «положительных» или «отрицательных» героев, «гениев» или «злодеев». Оттого и встретите тут рядом с митрополитом Евлогием Нестора Махно, рядом с В. Д. Набоковым Сергея Эфрона, рядом с матерью Марией и Фондаминским Надежду Плевницкую, рядом с Деникиным Анненкова или Шаршуна, рядом с князем Трубецким и князем Волконским Петлюру и Шварцбарда, а рядом с беседой о русских кинозвездах беседу о нансеновском паспорте или русских ресторанах Парижа... Я хотел, чтобы через судьбы разнообразных, чаще всего, конечно, заметных людей эмиграции стала понятнее специфика эмигрантской жизни, чтобы предстали перед вами и трудности ее, и метания, и драмы, и те богатства культуры и духа, которые унесли с собой в эмиграцию (и развили на чужбине) удивительные люди России, те, к которым, слава Богу, относятся у нас нынче без прежней подозрительности и пренебрежения (помните это — «рассыпали — метелкой замели»?). Да что там — с должным относятся теперь почтением и любовью. Так что и песенная строка из времен моего детства, вынесенная мной в название книжки, получает сегодня для меня иное звучание. Песенка была все о той же загадочной, экзотической эмиграции — «эмигрантщине», которая предстала на страницах талантливого, но ненадежного писателя-«возвращенца» А. Толстого. Героиня песенки — «черная моль», «фея из бара», да и вся атмосфера ресторанной «эмигрантской» экзотики, так пленявшая в пору нашей регламентированной, нищей юности, в песне присутствует. И вот теперь, когда я и все другое, суровое, аскетическое, веселое и трагическое, может, даже настоящее, истинное знаю про эмиграцию, строка про «свободный Париж» по-прежнему вертится у меня в голове — так может, все же остается в ней смысл. Ведь писал же и серьезный Набоков о нищей свободе эмиграции в тяжкую пору российской несвободы, призывал не проклинать изгнание. Потому что, хоть и был он для эмигранта, этот Париж, подобно Берлину, не матерью, а мачехой русских городов, но все же была в нем у человека свобода (пусть это и «нищая свобода») оставаться самим собой. Вот и решил я сохранить в названии «свободный Париж» — чего-чего, а свободы Париж не отнимает у вас и нынче...

Хотелось бы в заключение поблагодарить тех, кто помогал мне в работе, достаивал беседы, делился своими воспоминаниями, приносил мне письма и книги, кто был по-русски щедр, по-человечески добр ко мне, рабу Божьему (увы, многие уже не увидят этих строк, но молитва за них

прольется), — Татьяну Осоргину-Бакунину, Зинаиду Шаховскую, Наталью Зайцеву-Соллогуб, Андрея Сологуба, Бориса Лосского, Никиту Струве, Дмитрия Сеземана, Елену Сикорскую-Набокову, Владимира Сикорского, Ивана Набокова, Наталью Кедрову, Веру Клячкину, Любовь Ширман, Ирину Одоевцеву, а также неизменных моих французских и русских помощников Татьяну Гладкову, Алика Хананье, Дени Гаскеса, Сильви Астрик, Алёну Носик.

ДВАЖДЫ ВОЗВРАЩЕНЕЦ

(Михаил Осоргин)

Начать я хотел бы с фигуры, теперь уж читателям нашим знакомой — с писателя Михаила Андреевича Осоргина, чьи книги дружно начали выходить за последние годы в России. И не потому хотел я с него начать, что был Осоргин, при всем его человеческом обаянии, таланте и активности, самой заметной, самой выдающейся фигурой Зарубежья,— а потому что был он в каких-то смыслах типичен для эмиграции и для эмиграций. Был он *дважды* эмигрант поневоле, был он неистовый патриот России и был он, если можно так выразиться, *дважды* возвращенец. И эти его, с одной стороны, естественные и такие человеческие, а с другой стороны, удивительные все же, взаимоотношения с покинутой, а скорее, изгнавшей его матерью-родиной, они довольно типичны для значительной, нет, не то, чтоб по числу значительной, а скорее — для наиболее заметной и влиятельной части русской эмиграции.

Хочу предупредить, что «возвращенцами» называли тех, кто вернулся по-настоящему или ратовал за возвращение в Россию. Конечно, такое возвращение в ленинско-сталинскую Россию террора было для Осоргина невозможным. Дважды возвращенцем я называю его иносказательно — но об этом в конце...

Михаил Осоргин, а точнее, Михаил Андреевич Ильин (Осоргин — это была фамилия его бабушки, взятая им в качестве литературного псевдонима) родился в 1878 году в Перми в интеллигентной, либеральной, не слишком богатой, но высокообразованной семье, бывшей в дальнем родстве с семьей Аксаковых.

В Перми Осоргин закончил гимназию (и еще гимназистом начал сотрудничать в газете). Потом он учился на юридическом факультете Московского университета, начал после университета адвокатскую работу, которой вскоре суждено было кончиться, ибо московский студент, а потом молодой адвокат увлекся революционным движением — примыкал недолгое время к эсерам и после событий 1905 года на Пресне отведаль одиночки в Таганской тюрьме. Арестован он был, правда, по ошибке, его перепутали с каким-то видным участником восстания, но статью ему шили вполне серьезную, грозившую смертной казнью. На счастье один из лжесвидетелей от показаний своих отказался, Осоргин был выпущен под залог, пожил немного под Москвой, а потом перебрался в Финляндию. Оттуда пришлось убежать тоже, и Осоргин, двадцати восьми лет отроду, впервые оказался в изгнании — в Италии, на берегу Средиземного моря, где обитала коммуна эмигрантов. В Италии Осоргин прожил десять лет, счастливые молодые годы. Он овладел языком, знал его великолепно, хорошо узнал Италию, а в Россию тогда можно было писать, и печатали эмигранта без страха. Осоргин писал для «Русского богатства», для «Русских ведомостей», весьма престижной русской газеты, которую знали не только в России, но и за границей. В 1913 году на родине вышли его «Очерки современной Италии», в России ценили его как знатока этой страны, как журналиста. Осоргин был молод, здоров, у него все было для счастья, все, кроме... России. Нежно любимую им Италию он называл «голубою тюрьмой» и писал о судьбе изгнанника так: «тюремщик ваш — чужая свобода, камера ваша — чужая красота, в окно ее не закрытое решеткой вы видите чужое счастье. И вы не вправе жаловаться на судьбу — вы, которому завидует много свободных, не выброшенных за борт родной жизни».

Потом мировая война, еще более острая ностальгия... В 1916 году Осоргин, с риском для свободы, пробрался в Россию. Ему грозила ссылка, но друзья заступились за него. Он полулегально живет в Москве, потом ездит от «Русских ведомостей» по стране, едет даже на Западный фронт. И вот — Февральская революция, опьянение свободой, по словам Осоргина, «лучшие дни, которые когда-нибудь знала или узнает Россия». Осоргина привлекли к разборке архивов

Охранного отделения, но он недолго изучал досье бывших тайных агентов охранки: ему стало противно. Это вообще был благородный и брезгливый человек: достаточно вспомнить, с каким отвращением и брезгливостью писал он когда-то о процессе Бейлиса, знаменитой антисемитской инсценировке властей.

А потом октябрь 17-го, трудная для России пора и тяжкое разочарование для тех, кто стремился к освобождению. Осоргин, впрочем, не опускает руки, он становится одним из организаторов московского отделения Союза писателей, он председатель Всероссийского союза журналистов, создает в Москве Книжную лавку писателей, которая помогла выжить писателям и помогла сберечь ценные книги. Он много пишет, переводит для знаменитого вахтанговского спектакля «Принцессу Турандот». Но в 1919-м Осоргин снова был арестован, скорее всего, снова по ошибке — вместо какого-то другого Ильина. Знаете — когда столько сажают, не грех ошибиться. Несколько дней он просидел на Лубянке в печальной памяти Корабле смерти, о котором вы можете прочесть в романе Осоргина «Сивцев Вражек», самом знаменитом его романе.хлопоты Союза писателей увенчались успехом, Осоргин был освобожден, но ненадолго. Летом 1921 года на Россию обрушился страшный голод, и советское правительство в первый и последний раз за свою историю обратилось за помощью к свободной общественности. Комитет помощи голодающим, куда вместе с членами тогдашнего правительства вошли виднейшие интеллигенты России, успел обратиться к Западу, успел добиться помощи, успел спасти тысячи людей от голодной смерти, но уже через шесть недель был распущен. Лично Ленин приказал Комитет распустить, интеллигентов арестовать, а также «расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)». И вот Осоргин, один из активных деятелей Комитета, снова во внутренней тюрьме на Лубянке, снова ждет расстрела, потом снова едет в ссылку в провинцию и, наконец, вместе с другими писателями, философами, учеными, с этой самой «солью каторжной земли», выслан из России без права возвращения. «Оказаться в... положении «врага революции» и политического ссыльного,— писал Осоргин,— мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни... это, конечно, не могло пройти бесследно.

Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека».

Итак, Осоргин снова изгнанник. Но что поразительно — человек этот не озлобился. Он не приемлет огульной хулы на свою мачеху-родину, которой так часто, с неизбежностью грешат эмигранты: ведь во многих живет неисцелимая горечь. Подобно тому, как разведенный супруг иногда не может вспомнить ни одного светлого дня в своей прежней жизни, так и эмигрант с ужасом говорит об оставленной родине. Так, будто и не был никогда влюблен в ее леса, в ее язык, культуру, народ. Это чаще встречается в среде Третьей эмиграции, но *было*, было это и в Первой. Так вот, Осоргин этого не принимал. Он пишет: «Обида — плохой советчик, тоска — неправильный судья, но... власти, правительства, гонения, политический гнет — это все преходяще, а родина всегда останется родиной...». «Было прочно сознание,— вспоминает он,— что... вопреки разрушительной деятельности власти, надо спасти Россию и то, что осталось от революции». Он еще видит в России «огромные возможности расцвета»: «только бы не убил этих возможностей возврат политического деспотизма». Но вот уже и возврат деспотизма совершился, и паспорт свой советский вынужден был отдать Осоргин, а все же не убита его любовь к дважды изгнавшей его родине. В августе 1941 года, незадолго до своей смерти, живя в полкилометре от немецкой зоны оккупации Франции Осоргин пишет дерзостные статьи о фашизме, о борьбе России, о «духовной связи» со своей родиной: «будь она нам мать или злая мачеха,— наши семейные с ней счета никого не касаются». Поразительные слова!..

Надо добавить, что европеец Осоргин, проведенный лучшие годы жизни в Италии, так и не примирился с изгнанием: «Я чувствовал себя дома,— пишет он,— на берегах Камы и Волги, в Москве... на местах работы, в ссылках, даже тюрьмах, вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации...» Осоргин говорил, что не всякое растение выносит пересадку... Я останавливаюсь на этом так под-

робно потому, что это очень типично для русской эмиграции, для Русского Зарубежья — эта венная ностальгия, эта неистребимая тоска. Ведь каких только эмигрантских сообществ не найдешь в Париже — Польша, румыны, испанцы, марокканцы, итальянцы... Мало-помалу интегрируются эмигранты. А у русских — только усугублялась их тоска, усугублялся русский акцент в издавна не чужой для них французской речи. Для многих это кончалось тем, что брали они снова советские паспорта и кидались очертя голову домой, туда, где уже были обжиты для них нары в лагерных бараках, устроенных членом ЦК товарищем Берией. Впрочем, это случилось с другими, с настоящими «возвращенцами».

Но и о недавнем «возвращении» Осоргина в Россию надо сказать тоже. За рубежом Михаил Андреевич Осоргин был известным писателем старшего поколения. Но всегда он подчеркивал, с первых дней изгнания, что печататься хотел бы только в России, что хотел бы вернуться к русскому читателю — «всеми доступными и нравственно приемлемыми путями». Конечно, только «нравственно приемлемыми», «не теряя своей духовной независимости, не становясь на скользкий путь приспособленчества»... Так вот он вернулся, этот упрямый «возвращенец» Михаил Осоргин. Одна за другой выходят в России его книги, и вдова его Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина, которая живет в маленьком домике в Сан-Женевьев де Буа под Парижем, получает письма от русских читателей, впер-вые услышавших имя писателя, впервые прочитавших его книги. Письма эти говорят о трогательном душевном контакте, о духовном возврате писателя на родину — о том, что сбылась мечта Михаила Андреевича Осоргина, насильно высланного из России. Оттого я и назвал его в начале беседы не только дважды эмигрантом, но и дважды «возвращенцем», пренебрегши старым значением этого эмигрантского термина.

СТАРЫЙ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ СТОИТ НА СВОЕМ

(А. И. Деникин)

Летом 1942 года немецкий штабной офицер, комендант района, прилегающего к Биариццу, явился на квартиру русского генерала, живущего в маленьком курортном Мимизане. Немец знал, что человек этот был когда-то главнокомандующим Белой армии, даже был правителем России в годы гражданской войны, так что комендант излучал самую любезность. Он сообщил, что по решению оккупационных властей архивы русского генерала перевезены в Берлин. Потом, скептически оглядев скромное генеральское жилье, немец сказал, что в Берлине и самому генералу могли бы тоже создать лучшие условия существования.

— Это приказ или предложение? — безо всякой любезности осведомился старый генерал.

— О что вы! Как можно вам приказывать? — шаркался комендант. — Это для вашего удобства.

— Тогда заявляю вам, что я не двинусь из Мимизана, пока не кончится эта война, — твердо сказал генерал.

— Но, может, вам что-нибудь нужно? Может, я смогу вам быть полезным?

— Благодарю, не сможете, — отрубил генерал. — Мне ничего не нужно.

Если бы немецкий комендант раньше поинтересовался личностью предполагаемого своего союзника в борьбе с большевиками, он смог бы выяснить, что у Антона Ивановича Деникина всегда были твердые принципы. Одним из этих принципов была невозможность добиваться освобождения России при помощи какой бы то ни было иноземной силы. Легко себе представить, что жизнь старого генерала не стала легче после такой беседы с комендантом.

А еще через год, в том же Мимизане, отправляясь как-то утром за молоком для отца, дочь Деникина (она, между прочим, и сегодня живет под Парижем и пишет книги по-французски) с изумлением услышала вдруг русскую речь. Это были русские, завербованные немцами, власовцы. Деникин писал позднее, что эти

люди, бывшие рабочие, колхозники, инженеры, терпели страшные лишения в немецких лагерях и, покинутые собственным правительством, не получали помощи от Красного Креста, которую получали военнопленные всех страх мира. К тому же, как пишет Деникин, новая власть научила их приспособляться и атрофировала их национальное сознание... И все же, узнав что в Мимизане живет русский генерал, эти так называемые «добровольцы» наводнили его дом. Он убедился, что они ненавидят немцев, увидел, с каким жадным интересом разглядывают они помеченную на огромной карте линию фронта. Ксению Васильевну они называли то «барыня», то «мамаша», то «гражданка», и они ходили в этот дом до самой передислокации. История эта будет иметь продолжение, но надо повести рассказ об Антоне Ивановиче Деникине по порядку...

Родился он в 1872 году в русско-польской деревне в семье русского майора Ивана Деникина, который, год назад выйдя в отставку женился 64 лет от роду на польке и остался жить на берегах Вислы. Мальчиком Антон подобно прославленному Де Голлю писал стихи, и писал их на двух языках — по русски и попольски. Рано он остался без отца, жили с матерью бедно, и школьник Деникин подрабатывал уроками. Благополучно закончив школьное ученье, он поступил в Киеве в офицерскую школу. Сбылась его мечта стать артиллеристом. По окончании школы он уезжает служить во 2-ю артиллерийскую бригаду в маленький польский городок, неподалеку от тех мест, где жила его матушка. Здесь однажды он был приглашен в гости к местному налоговому инспектору на крестины его дочери Ксении Чиж, влюбился в прекрасную хозяйку дома, а еще через четверть века женился на ее дочери, на этой вот самой Ксении Чиж. В 1894 году молодой офицер поступает учиться в Академию генерального штаба. Любопытно, что еще в те годы молодой лейтенант формулирует воззрения на будущее русского либерализма: нужны конституционная монархия, радикальные реформы, мирное преобразование страны... Впрочем, до 1917 года ему не приходилось близко соприкасаться с политикой.

После академии Деникин возвращается в свою бригаду. В свободное от службы время пишет статейки в местную печать под псевдонимом. Позднее

командует ротой, охранявшей тюрьму, среди узников которой был сам Пилсудский. С начала русско-японской войны Деникин стал просить отправить его на Дальний Восток. Там он становится начальником штаба у знаменитого Ренненкампа, и 19 ноября 1904 года молодой подполковник получает боевое крещение в Забайкалье. В 1910 году Деникин уже командует полком на Украине, а в августе 1914-го получает звание генерал-майора. Он был человек думающий, пишущий, имеющий убеждения. Из программ тогдашних русских партий наиболее рациональной считал программу кадетской партии. Свои взгляды на предреволюционную ситуацию в России Деникин позднее представил в «Очерках русской смуты», которые начали выходить в Париже в 1922 году. Там он показывает, как потеряла смысл формула «За Веру, Царя и Отечество», ибо еще до войны пошатнулась вера в России, а члены правящей династии не сберегли идею. Показывает, как упало доверие к правительству в обществе, оглушенном патриотическими фразами. Первая мировая война выявила бездарность генералитета, низкий уровень профессиональных военных, недостаток военных припасов и разложение тыла. В армии оставалось противуположение «барина» «мужику». Все это дало почву для разрушительной агитации... «Государь никого не любил, — пишет Деникин о царе, — разве только сына. В этом был трагизм его жизни как человека и правителя...»

В это время наряду с величайшими событиями в жизни России происходят и великие события в жизни самого генерала. Он влюбляется в Ксению (Асю) Чиж. Деникин засыпает ее письмами. В одном из них можно прочесть об отречении царя Николая II: «Ознакомился с Манифестом. Да пошлет Господь счастья России... Перевернута страница истории... Возврат к прошлому немыслим. Будущий режим должен быть достоин нашей великой страны — монархия, ограниченная конституцией. Надо продолжать войну...» Отозванный с румынского фронта, Деникин был назначен начальником штаба у главнокомандующего Алексева, потом у Корнилова.

Деникин описывал позднее слабое Временное правительство как игрушку в руках Советов и особо отмечал роль 1 марта 1917 года, когда вышел приказ о переходе военной власти к солдатским комитетам.

Тогда и произошел полный развал армии. Подготовленное Корниловым наступление опоздало, армия была парализована и приказ о наступлении не выполнила, начался распад. Знаменем спасения страны стал главнокомандующий армией — Корнилов, который двинулся в поход на Петроград. Керенский предал его, заключив его в тюрьму вместе с его начальником штаба Деникиным. А вскоре Керенский был свергнут, узников выпустили на свободу и они перебрались на Дон. С чужими документами, в общество своей невесты Деникин добирался на Дон, к Алексееву и Каледину. Это и было его свадебное путешествие. Сюда же добирался Корнилов, и приказом Корнилова от 6 января 1918 года была рождена Добровольческая армия. Вы, может быть, помните, что через полтора месяца была создана также Красная Армия. Еще не начались настоящие бои, когда смертельно ранило Корнилова и Деникину пришлось принять на себя командование. Он предпринимает знаменитый «ледяной поход» на Дон. Дон становится символом Белого Движения. Цветаева писала, что потомки «за словом долг напишут слово Дон». Кроме военных Деникину приходилось решать проблемы политические, и трудность была и в том, что с ним были и монархисты, и сторонники республики. Приходилось решать: какой же будет Россия? Тем временем на Украине были и немцы, и гетман, и атаманы — царила смута...

Добровольческая армия берет Екатеринодар и формирует правительство России во главе с Алексеевым. Но вскоре Алексеев умирает и Верховным правителем становится Деникин. Идет долгая братоубийственная война. С двух сторон проявлено немало героизма, но немало и жестокости. Красные безжалостно расправлялись с буржуазией, белые не менее жестоко мстили комиссарам. Разрозненные, почти не имеющие связи фронты белых, вероятно, были обречены. Несмотря на все заслуги Деникина, на его таланты, его честность, его преданность делу борьбы с большевизмом, несмотря на огромные успехи его армии — было время, когда пол-России отвоевали белые, — война эта была все же проиграна. Многие историки и очевидцы считают, что во многом тут и вина Деникина, от которого в этой тяжелой ситуации требовались не только храбрость, патриотизм, военные знания, но и огромные знания политические, государственная и дипломатическая муд-

рость — много всего требовалось, слишком много. Среди критиков главнокомандующего находим и крайних правых, и левых, и таких, скажем, деятелей кадетского движения, как князь Владимир Оболенский. Оболенский вспоминает о негибкой национальной политике Деникина, его подозрительности в отношении всех якобы сепаратистских настроений, о расправах Белой армии с крестьянами, о восстановлении помещиков в правах, о произволе и казнях, которые чинила контрразведка Белой армии. Все это, по мнению Оболенского, тоже подготовляло крушение Белой Армии. Врангель, пришедший на смену Деникину в феврале 1920 года, по мнению Оболенского, частично исправил эти ошибки, но было поздно. «История будет нас судить...» — писал тогда Деникин.

Для Антона Ивановича Деникина, его жены и маленькой дочки начинается изгнание — Англия, Бельгия, Венгрия и, наконец, Франция. Деникин много пишет, публикует «Записки офицера», свой пятитомный труд «Очерки русской смуты», где высказывается мнение, что революция была неизбежна, что борьба за восстановление власти Николая не могла кончиться благополучно, «Очерки» Деникина, причем не только данный в них анализ событий, но и чистота их стиля, язык, заслужили высокие отзывы Бунина, Шмелева, Алданова, а после советского издания и Горького тоже. Позднее Деникин пишет книгу «Старая армия», выпускает сборник рассказов «Офицеры». Надо отметить, что среди прочих органов печати Деникин сотрудничал и в весьма подозрительной «Борьбе за Россию», к которой, как считают, имело отношение ГПУ. Но зато он сумел уклониться от совместных прогулок с опасным генералом Скоблиным и поэтому избежал участи генерала Миллера, похищенного и убитого ГПУ.

После второй мировой войны, когда чуть не вся эмиграция была охвачена советским патриотизмом, Деникин чувствует себя одиноким. Ситуация, говорил он, внутри России не изменилась, по-прежнему здесь диктатура НКВД, отсутствие свобод... Лозунг Деникина «с русским народом, но против большевиков» не пользовался больше успехом...

Я уже говорил в начале беседы о жизни Деникина в 1943 году в Мимизане и о его дружбе с заблудшими русскими пленными, которым старый генерал проро-

чил русскую победу. И вот — Ялта, обещание Рузвельта и Черчилля выдать Сталину всех русских пленных. Значит, его новые друзья из Мимизана будут выданы Сталину на растерзание... Деникин решает действовать, возвысить голос. Ведь есть вечные законы, есть правила войны. Генерал отправляется в Америку. Там и Эйзенхауэр, и генерал Хэнд отвечают отказом на все хлопоты Деникина: русские пленные выданы Сталину на расправу. Америка осталась глухой и к предупреждениям Деникина о расширении зоны влияния Сталина в Европе.

Старый генерал чувствует себя все хуже. Он еще пишет, еще работает в нью-йорской библиотеке. И — смерть настигает его в Америке 7 августа 1947 года. Он писал дочери совсем незадолго до смерти: «Я продолжаю трудиться как раньше и даже больше — в интересах России...» Он верил в это. Так же искренне и горячо, как и другие русские эмигранты, его противники справа и слева.

ЦАРСТВА МОНПАРНАССКОГО БЕДНЫЙ ЦАРЕВИЧ

(Борис Поплавский)

В той части парижского бульвара Монпарнас, где он пересекается с улицей Вавэн и бульваром Распай, расположено сразу несколько знаменитых кафе — «Ротонда», «Куполь», «Селект» и другие, тоже более или менее знаменитые. Это сюда после первой мировой войны перекочевали с Монмартра художники, за ними натурщицы, а потом и всякие бродяги, разнообразные чудаки, юные иностранки, познающие жизнь, рядовые труженицы панели, ну и, конечно, туристы, ищущие парижской экзотики... Вот в этих кафе, в двадцатые и тридцатые годы нашего века, встречались русские эмигрантские поэты, писатели и философы, получившие кличку «монпарнасцев», или «парнасцев», в общем, «русский Монпарнас». Поэтическую школу эту, с легкой руки мэтра ее Адамовича, называли еще — «парижская нота». Хотя на Монпарнасе более или

менее регулярно бывали и представители старшего поколения русской эмигрантской литературы, говоря о монпарнасцах, мы обычно имеем в виду младшее поколение — «эмигрантских детей», тех, кого называют еще «незамеченным поколением». В этом поколении парижан выделялся молодой поэт и прозаик Борис Поплавский, «царства монпарнасского царевич», как сказал о нем поэт Николай Оцуп.

Судьба Поплавского была трагичной, как, впрочем, судьба всего этого поколения. Им выпала тяжкая молодость, а большинству из них и ранняя гибель. Поплавский ушел раньше других, и был он, по общему признанию, самым талантливым, хотя и не успел, не сумел реализовать своего таланта. Набоков, состоявший и с парнасцами и с их мэтром Адамовичем в непреходящей вражде, позднее, сожалея о резких словах, написанных однажды по поводу стихов Поплавского, вспоминал так: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым — дальняя скрипка среди близких балалаек: «О, Морелла, усни, так ужасны орлиные жизни». Его гулких тональностей я никогда не забуду, и никогда не прошу себе раздраженной рецензии, в которой я напал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе».

Так же извинялись и другие мемуаристы, ибо по отношению к Поплавскому и его сверстникам и критики, и старшее поколение литераторов, и издатели-«шестидесятники», по большей части русские либералы и социалисты, и самая французская жизнь — все были довольно безжалостны. Поколение это оказалось во всей эмиграции самым неприкаянным. Даже на Монпарнасе, среди вольных деклассированных многонациональных «монпарно», они были ни с кем и ничьи. Вот герой романа Поплавского пытается разобраться, кто он. «Студент... Нет... провалился на первом же экзамене... Писатель... Да, в мечтах, в дневниках... Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...»

Итак, неприкаянность, непризнанность, унижительная нужда. «За столиками Монпарнаса, — писал Ходасевич об этих молодых поэтах, — сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому, что ночевать негде... Надо быть

полным невеждой, либо не иметь совести, чтобы сравнивать нужду Монпарнаса с нуждой прежних писателей. Дневной бюджет Поплавского равнялся семи франкам, из которых три отдавал он приятелю. Достоевский рядом с Поплавским был то, что Рокфеллер рядом со мной. Настолько же богаче Монпарнаса эмигрантские писатели старшего поколения». Статья Ходасевича была посвящена памяти Поплавского и защите его памяти: «Кто посмеет его винить, если на последние... гроши пытается он не то скрасить свою страшную жизнь, не то — до последних дней... до сладкой крайности, растравить отчаяние свое — пьет водку и покупает героин, который сведет его в могилу...»

Оскорбительной была не только нищета, не только изнурительная и бессмысленная физическая работа. Оскорбительной была невозможность печататься, выйти к читателю. Комплекс эмигрантской отверженности мучал на Монпарнасе многих, но мучительнее всех, наверно, переживал его Поплавский. В его незаконченном романе «Аполлон Безобразов» находим эту характерную для русской нищеты в Париже смесь унижения и гордыни: «Разве не прелестны все эти помятые, выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязные серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных... головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли... и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков?

Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы Он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове...

Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег.

Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще христианской гордостью начинал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге...»

По воспоминаниям его друзей, Поплавский не был ни равнодушным, ни хилым. Он способен был восхищаться всем увиденным и прочитанным, переходил от увлечения к увлечению. Это был здоровенный

детина и, по собственным словам, увлекался «метафизикой и боксом». И все-таки нравственные испытания и тяготы оказались ему не по плечу. Все чаще он просит забвения у сна.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу ко сну...

Он и умер во сне, отвернувшись от мира к стенке, — после неизвестной дозы наркотика, при довольно загадочных обстоятельствах.

Старшее поколение, либералы и «шестидесятники», называли Поплавского и его друзей декадентами, упрекали их в отрыве от жизни. Они и вправду жили видениями, эти поэты, они искали Бога — и не находили. Душа их пребывала в путешествии, жизнь, по словам Поплавского, «собиралась куда-то в дорогу». Да они и чувствовали себя нездешними. Точно застряли здесь на время, находясь в пути. Вот как вспоминал о Поплавском, оплакивая его смерть, прозаик и таксист Гайто Газданов: «Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем в любой среде, в которую попадал. Он всегда был точно возвращающимся из фантастического путешествия... Так же странна была его неизменная манера носить костюм, представлявший собой смерть матросского и дорожного. И было неудивительно, что именно этот человек особенным, ни на чей другой непохожим голосом читал стихи, такие же необыкновенные, как он сам:

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле,
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет...

Газданов, сам чуть не до старости просидевший тут, в Париже, за баранкой такси, писал: «Мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе, его товарищей и братьев, всех тех всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не

можем не проиграть, и вопрос только в том — кто раньше из нас погибнет...»

Газданов говорил здесь также о другой смерти — о творческой, о том, что многим из них придется уйти из творчества. Но и настоящая смерть не щадила его сверстников. В своей книге о незамеченном поколении Владимир Варшавский приводит длинный список друзей, которые ушли вслед за Поплавским. Трагически погибли молодыми Новосадов, Шарнипольский, Гронский, Диксон, покончил с собой талантливый Болдырев, пропал где-то в Константинополе Леви-Агеев, умер в больнице от истощения Буткевич, умер от чахотки Штейгер, тяжелая жизнь доконала Ирину Кнорринг, Веру Булич, Гершельмана, Савина, в войну были расстреляны немцами и погибли в лагерях Борис Вильде, Райса Блох, Михаил Горлин, Юрий Мандельштам, Юрий Фельзен, мать Мария...

«В романе «Аполлон Безобразов» у Поплавского есть удивительные страницы о герое — «эмигранте, шофере, офицере, пролетарии». Предоставим ему слово в горьком и бесшабашном эмигрантском застолье:

— «Это вы смеетесь, но вот послушайте, я вам расскажу... Подходит ко мне жинóm. Садится в вуатю́ру *. О ла-ла! думаю. Ну везу, значит. Везу целый час. Ого-го, уже на счетчике двадцать семь франков. Остановился я, он ничего. Я, значит, его за машинку, плати, сукин сын. А он мне русским голосом отвечает. Я, братишечка, вовсе застрелиться хочу, да все духу не хватает, потому, мол, и счетчик такой. Плачет, и револьвер при нем. Ну, я, значит, револьвер арестовал, а его в бистро. Ну, значит, выпили, то, другое, о Бизерте поговорили. Он, оказывается, наш подводник с «Тюленя». То, другое... Опять за машину не заплатил.

... Ну хватит. Давайте лучше споем что-нибудь.

Он поет. Голосу у него, конечно, никакого, но громко зато поет, на самые верхи залезает. Высоко выставив свою шоферскую грудь, широко расставив свои шоферские кавалерийские ноженьки... Честно поет, широко и антимузыкально, гражданственно и по-разбойничьему тоже.

Ты прошла, как сон,
Как гитары звон,
Ты прошла, моя
Ненаглядная.

* Искаженные французские слова, означающие «молодой человек», «автомобиль».

... Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофер, офицер, пролетарий, христианин, мистик, большевик, и не впрямь ли мы восстали от глубокой печали, улыбнулись, очнулись, вернулись к добродушию... Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия шоферская, зарубежная. Либертэ, фрaternитэ, карт д'индантитэ. Ситроеновская непобедимая пролетарско-офицерская, анархически-церковная. И похоронным пением звучит цыганочка, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда.

И снова шумит граммофон, и, мягко шевеля ногами, народ Богоносец и рогносец, поднимается с диванов, а ты, железная шоферская лошадка, спокойно стой и не фыркой под дождем, ибо и до половины еще не дошло танцевалище, не долилось выпивалище, не доспело игрище, не дозудело блудилище, и не время еще зигзаги по улицам выписывать, развозя утомленных алкогolem, кубарем проноситься по перекресткам, провожаемой залиvistыми свистками полиции. Ибо бал, как долгая непогода, только что разразился по-настоящему. Еще трезвы все, хоть и пьяны, веселы, хоть и грустны, добры, хоть и свирепы, социалисты, хоть и монархисты, богомилы, хоть и Писаревы, и шумит вино, и льются голоса, и консьержка поминутно прибегает, а вот и консьержку умудрились напоить, и она пьяная кричит: „Вив ля Сэнт Рюсси!“»

Любопытно, что и еще одну песню, спетую на той же офицерско-шоферской вечеринке, приводит Поплавский в подтверждение этого своего «богомилы, хоть и Писаревы»:

Выпьем мы за того,
Кто повешенный спит,
За револьвер его,
За честной динамит.

И еще за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За святой идеал.

И Ходасевич, и Георгий Иванов, и Адамович высоко ценили талант Поплавского, отмечали его умение слышать не слышную другим музыку поэзии. Он был всегда полон идей, поисков, замыслов, которые не успел осуществить. «Он почти ни о чем не успел сказать...— сетовал Гайто Газданов.— Теперь это сложное движение его необычной фантазии, его лирических

и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломеи, матросов, ангелов, снега и тьмы,— все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипеньем».

Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим.
Усталый друг, смирайся, подождем.
Нам спать пора, мы ждать уже не можем...

Так пророчил Поплавский.

Друзья его знали, что отчуждение, эмигрантская отверженность сыграли не последнюю роль в гибели молодого поэта. Недаром же Владимир Варшавский в главе, посвященной в значительной степени Поплавскому, вдруг вспоминает запись Декарта о времени, им проведенном в чужом Амстердаме: «Среди великого народа, чрезвычайно деятельного и более занятого своими собственными делами, чем интересующегося чужими, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в самой далекой пустыне».

РЫЦАРЬ ОРДЕНА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(В. Д. Набоков)

В конце марта 1922 года Иван Алексеевич Бунин напечатал в парижской газете еще одну статью о невосполнимой утрате, которую понесла в те дни русская эмиграция и многострадальная Россия. Да, именно Россия, говорил Бунин, ибо даже если Господь пошлет в будущем «новой» России самые щедрые блага,— когда еще снова увидит она Набоковых. Так пророчил унин, узнав о зверском убийстве в зале Берлинской филармонии самого блистательного из представителей знаменитого семейства Набоковых — Владимира Дмитриевича Набокова, сына бывшего министра юстиции, потомка и родственника многих известных деятелей России, отца тогда еще неизвестного молодого поэта, которому через десяток лет суждено было стать самым заметным прозаиком русской эмиграции, а еще

через три десятилетия — видным американским писателем и признанным гением мировой литературы.

Владимир Дмитриевич Набоков был сыном Дмитрия Николаевича Набокова, министра юстиции при Александре II и Александре III. Человек, близкий к реформаторскому окружению Великого князя Константина, он стал активным сотрудником царя-Освободителя в проведении судебной реформы в России и продолжал свою самоотверженную деятельность при Александре III. Сын министра и красавицы Марии фон Корф, фрейлины, высоко ценимой двором, а, может, и лично Государем Императором, Владимир Дмитриевич Набоков получил великолепное образование, бывшее в семье Набоковых традицией. Все знавшие его отмечали его талантливость, красоту, эlegantность, глубину и многосторонность его знаний, его изысканные манеры, его широту и терпимость, его щедрость, его благородство и приверженность кодексу чести. Он женился на девушке из славной, пусть не слишком аристократической, но очень богатой семьи промышленников Рукавишниковых, и это был счастливый брак. Когда же завистливый (и политически враждебный) журналист из суворинского «Нового времени» намекнул однажды, что это был брак по расчету, Владимир Дмитриевич, не колеблясь, послал вызов на дуэль — не журналисту, конечно, который был по его представлениям не дуэлеспособен, а редактору газеты молодому Суворину.

Владимир Дмитриевич Набоков был юрист по образованию, профессор права и крупный специалист в области криминалистики. Кроме того он был журналист, литератор и знаток литературы, в частности, английской литературы. Он писал о театре, он хорошо знал творчество Диккенса, неплохо разбирался в живописи. При его незаурядных способностях и блестящем образовании, при его связях, богатстве, без сомнения, ждала был его блестящая правительственная карьера, может, не меньшая, чем у его знаменитого отца, однако он, единственный из Набоковых, с головой уходит в оппозиционное освободительное движение и вскоре становится видным деятелем конституционно-демократической (по сокращению «к-д» ее называли кадетской) партии, единственной в истории России либеральной партии. Конечно, это эпоха и обстановка в стране привели Владимира Дмитриевича

Набокова в ряды оппозиции. К тому же либеральные традиции он воспринял еще от отца. И все же ни то, ни другое не играло решающей роли. Главными были категорический императив справедливости, живший в его душе, нетерпимость к насилию и злу.

Кадетская программа подчеркивала внеклассовый, всенародный характер партии, высшей ценностью для которой объявлено было сильное русское государство. Именно ради укрепления этого государства партия и выступала против скомпромитировавшего себя правительства, провозглашая необходимость подчинения «всех без исключения закону», необходимость для всех граждан страны, без различия их сословий и национальности, «основных гражданских свобод» (в частности, введения восьмичасового рабочего дня, свободы профсоюзной деятельности, государственного страхования по болезни, распределения среди крестьян монастырской и государственной земли, а также выкупа и раздачи крестьянам помещичьей земли). Еще в шестидесятые годы в России созданы были земские учреждения — они-то и составляли базу кадетского движения. Эта самая молодая из либеральных партий Европы приучала население к гражданственности, к политическому мышлению, будила общественную совесть. Доктрину свою партия строила на достижениях европейской правовой науки, и вся ее деятельность была проникнута неким правовым романтизмом, как вспоминал Маклаков, — истинной «мистикой конституции».

Владимир Дмитриевич Набоков становится членом Первой Государственной думы — русского парламента, деятели которого еще были полны надежды и идеализма. «Мы мечтали, — вспоминает Ариадна Тыркова, — мирным путем, через парламент осчастливить Россию, дать ей свободу мысли, создать для каждого обитателя империи... просторную достойную жизнь». Блестящие речи Набокова в Думе вызывали рукоплескания. Его афоризмы повторяла вся Россия. Он во весь голос требовал главенства законодательной власти над исполнительной. Когда в нарушение Конституции Первая Дума была распущена, часть ее депутатов, уехав в Выборг, обратилась оттуда с воззванием к народу. Депутаты, писавшие это Выборгское воззвание, были затем привлечены к суду. Владимир Дмитриевич Набоков отсидел три месяца в одиночной

камере петербургских «Крестов» — читал в камере Библию, Достоевского, Франса, занимался уголовным правом и итальянским языком. Другие европейские языки он уже знал... Бескорыстный идеалист, Набоков не боялся ни репрессий, ни потерь. В 1903 году он публикует статью, разоблачавшую роль полиции в организации еврейского погрома в Кишиневе. В 1915 году за выступление против расстрела демонстрации Набоков был лишен камер-юнкерского звания и отстранен от преподавания в Императорском училище правоведения. А в 1913 году за репортажи, разоблачавшие антисемитский процесс Бейлиса в Киеве, Набоков был оштрафован. И, конечно же, за эти его выступления крайне правые обзывали его, как и лидера партии Милюкова, то жидомасоном, то жидовским наймитом, продавшимся еврейскому капиталу. Однако Набокова, как, впрочем, и Милюкова, нельзя было купить. Просто «еврейское равноправие... — как писала Ариадна Тыркова, — было обязательным пунктом в программе всех оппозиционных партий, не потому, что так хотели евреи, а потому, что этого требовало чувство справедливости и интересы государства». Что же касается антисемитизма, то он среди представителей «ордена» русской интеллигенции считался тогда и недостойным, и неприличным.

В феврале 1917 года в России произошла революция, о которой столько мечтали русские либералы. В свих воспоминаниях Набоков рассказывает, как в начале марта он шел с толпой по Невскому в направлении Думы: «В эти 40—50 минут, пока шли к Государственной Думе, я пережил не повторившийся больше подъем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм... Я не отдавал себе тогда отчета в том, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно... и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели...» Набоков занял во Временном правительстве скромный пост управляющего делами. И вскоре ему, как и многим, понятна стала неспособность этого правительства удержать власть и дать народу обещанное счастье. Даже положительные качества либералов в эти дни, как отмечает историк Михаил Геллер, «оборачивались отрицательными: общественное служение — слепой верой в «народушко», идеализм — политической не-

зрелостью, жертвенность — безволием, вера в будущее — отсутствием представления о реальности». Удивительное признание делает Набоков в воспоминаниях, говоря о несовершенствах своих как политического деятеля: «В революционную эпоху политическому деятелю приходится быть жестоким и безжалостным. Тяжело тем, кто к этому органически неспособен». Судя по его воспоминаниям, В. Д. Набокову претили актерство и истеричность Керенского, да и многие действия Милюкова казались ему неразумными.

Под нажимом Советов Временное правительство стремительно идет влево, не поспевая за народом, за таким общепонятным и радикальным лозунгом Ленина, как «грабь награбленное». Накануне открытия Учредительного собрания Ленин объявляет кадетскую партию «вне закона», а членов ее — врагами народа. Два виднейших депутата Учредительного собрания — Шингарев и Кокошкин — были заколоты матросскими штыками на больничной койке. Набокову удалось чудом избежать смерти и чудом же уехать на юг. Здесь одно время он был министром юстиции в Крымском правительстве. Потом — эмиграция, журналистская работа в Берлине. Одной из работ Набокова в этот берлинский период был, кстати, перевод писем государыни императрицы к мужу в ставку. Государыня писала, конечно, не по-русски. По-аглички. И Набоков не зря предпринял этот труд — чтение это поразительное. Начиная читать, умиляешься этим нежностями супружеской любви, но потом все больше давит женская истерика, абсурдное, настойчивое, ежедневное вмешательство в самые важные дела воюющего государства... Бедный государь, бедная Россия...

В последний год жизни — расхождения с Милюковым, раскол партии. 28 марта 1922 года Милюков приезжает с лекцией в Берлин. Желая сохранить лояльность к прежнему соратнику и другу, Набоков идет на лекцию, чтобы представить Милюкова публике. В перерыве какой-то человек побежал к эстраде, стреляя в Милюкова. И хотя в зале были переодетые агенты, первым на террориста бросился Набоков. Падая, один из темных негодяев увлек за собой Набокова, и тогда появился второй — Сергей Таборицкий, который всадил в распростертого на полу Набокова три пули.

Зарубежная печать полна была в те дни скорбных

откликов на смерть Набокова. Один из бывших соратников писал о нем так: «Ему не нужно было... подчеркивать своих дарований. Столь много их было, так ярко и неизменно светились они, что всякий — даже политические противники — невольно поддавался чарам природы, так щедро взыскавшей своего избранника... Владимиру Дмитриевичу пришлось немало претерпеть от насильников слева... горшую участь уготовили ему насильники справа...» Иван Алексеевич Бунин писал в некрологе, что скорбь, которую вызвала гибель Владимира Дмитриевича Набокова, разделяет вся без исключения эмиграция. Бунин, конечно, заблуждался. Карловацкий синод в Белграде даже запретил церквам своей юрисдикции служить панихиду по «жиду Набокову». И смерть эта вызвала радость и торжество — у крайне левых и крайне правых.

Набоков был как будто случайной жертвой. Но убийство в зале Берлинской филармонии не было такой уж случайностью. Ведь эмиграция принесла с собой из России все прежние счеты, все лютые, поистине черные «фобии». Либералы были особенно ненавистны правым, даже более ненавистны, чем левые. И эти два «темных негодяя» — Таборицкий и Борк-Шабельский (с ними был также некто Винберг) — они возникли не из пустоты. Это была все та же российская «черная сотня», которая в эмиграции воодушевлялась своей как бы очевидной правотой: вот вам, интеллигентшишки, добунтовались, смотрите, до чего довели Россию. Что до убийц, то они издавали в Берлине журнальчик, где печатали полуграмотные монархические статьи и любовные стишки: «ах эти розы, туберозы...» Но главная идея издания была, конечно, не любовная — еврейская угроза, пропаганда знаменитой полицейской фальшивки «Протоколов сионских мудрецов», которые они услужливо перевели на немецкий для нужд будущего ведомства Розенберга. Назывался этот журнальный поток ненависти очень элегантно — «Луч света». Федор-Теодор Винберг, издававший «Протоколы», сотрудничал с Альфредом Розенбергом, и вместе они снабжали теорией менее образованного Гитлера. Так что не случайно, дорогой читатель, «Протоколы» продают сегодня на одном лотке с «Майн кафмп». Всё путём. Между прочим, один из этих «темных негодяев», Сергей Таборицкий, вышел из тюрьмы в 1939 году и еще успел занять в эмигрантском ведомстве пост

у Гитлера. Мне совсем недавно рассказала дочь Владимира Дмитриевича Набокова, Елена Владимировна Сикорская, что, когда во время войны, в Праге, оккупированной немцами, ей понадобилась справка о ее арийской полноценности (ибо без справки о чистоте крови нельзя жить при расистском режиме), она послала запрос в Берлин и получила оттуда эту справку — за подписью убийцы своего отца.

Любопытно, что в вышедшей недавно в московском издательстве «Молодая гвардия» книге В. Лаврова «Холодная осень» автор с неожиданной нежностью пишет про убийц Набокова — вот, мол, измученные ностальгией русские патриоты пили, гуляли, стреляли друг в друга. Так, словно русский патриот Набоков стал бы стрелять в Таборицкого или в другого недуглеспособного, с его точки зрения, зубра-черносотенца.

Любопытно и то, что либералов сегодня определенные круги в России снова считают главной угрозой благополучию. Во всяком случае, так высказался новый московский специалист по расовым проблемам Игорь Шафаревич в интервью газете «Книжное обозрение».

...Что касается Владимира Дмитриевича Набокова, то фигура его трогательной, обаятельной тенью проходит по многим замечательным романам его гениального сына. Вот строки из «Дара», герой которого терзается мыслью о погибшем отце: «Как, он погиб? От болезни, от холода, от жажды, от руки человека? И если — от руки, неужто и по сей день рука эта жива, берет хлеб, поднимает стакан, гонит мух, шевелится, указывает, манит, лежит неподвижно, пожимает другие руки?» Это было написано уже после того, как один из «темных негодяев» вышел из тюрьмы и кровавая рука его сгодилась в хозяйстве фашистской администрации. Сыну же убиенного В. Д. Набокова, в ту пору уже знаменитому эмигрантскому писателю, пришлось бежать из Берлина в новое изгнание.

КНЯЗЬ-ЕВРАЗИЕЦ И ФОНОЛОГИЯ

(Н. С. Трубецкой)

Совсем недавно, в одну из сентябрьских ночей, борясь с бессонницей, я зажег экран телевизора и увидел старинную фотографию: молодой человек в снежно-белой куртке и фуражке, с коротко подстриженными усами. Я почему-то сразу подумал, что это русский. Потом на экране появился девяностолетний (а может, ему и больше было в пору телезаписи, он умер два года назад, не дожив до ста) лингвист Роман Якобсон и на своем прекрасном, но с явственным русским акцентом (шутили, что он говорит по-русски на двадцати пяти языках) французском языке объяснил, что это был его друг и соратник, лингвист Николай Сергеевич Трубецкой. Старенький Якобсон рассказывал, как они гуляли, провожая друг друга, до поздней ночи по довоенной, до той войны еще, Москве. Говорили не о девушках, хотя Трубецкому было чуть больше двадцати, а Якобсону тридцать,— о лингвистике. Юный Трубецкой сказал Якобсону, что они несправедливо забыли о французских и швейцарских лингвистах, увлекшись германской лингвистикой. И это именно юный Трубецкой, который тогда еще не учился в университете, познакомил Якобсона впервые с трудами де Соссюра.

В бурные годы войны и после войны, в еще более бурные годы революции, сложился лингвистический кружок студентов Московского университета, душой которого были Якобсон и Трубецкой. Знаменитый кружок, очень важный для истории языкознания. Ко времени поступления в университет юный Трубецкой был уже серьезным ученым. Он еще в гимназии глубоко изучил проблемы этнографии, и когда один из солидных ученых, заинтригованный их научной перепиской, пришел навестить своего корреспондента, он с удивлением и обидой обнаружил гимназистика, который занимался с репетитором. Этот гимназистик был из тех, кого с традиционной усмешкой называют вундеркиндами. Это был чудо-ребенок, юный гений. Уже в очень юном возрасте князь Николай Трубецкой, сын философа Сергея Трубецкого, бывшего ректора Московского университета, стал создателем целой отрасли языкове-

дения, даже можно сказать, новой науки о языке. Сущность «функционального», или «структурального языковедения» Трубецкого состояла в рассмотрении языка как системы, а первой частью его «структурального языковедения» как раз и была подробно им разработанная и солидно обоснованная «фонология».

В отличие от целой школы своих предшественников Трубецкой указывал, что каждая часть языка как целостной системы и понята может быть только как часть целого. Трубецкой в своих работах не только представляет многочисленные примеры того, как должно вестись изучение языков, но идет вглубь, изучая «идеи», которые стоят за всеми языковыми явлениями. За этими явлениями он всегда видит остов, как бы скелет языковой системы, что делает задачу языковеда столь же определенной, как, скажем, задача анатома. Теории Трубецкого помогли ему сделать немало открытий в области славянских языков, например, выяснить звуковую систему двух мертвых славянских языков и еще многое другое. При этом он располагал широчайшим материалом, опираясь не только на славянские, но также угро-финские, кавказские языки, на диалектологию и историю конкретных языков.

Уже в 30-е годы работы Трубецкого были выделены в специальных обзорах библиографии в особый отдел. Многие специалисты сравнивали значение его «фонологии» со значением открытия менделеевской системы; кафедры «фонологии» создавались при европейских факультетах лингвистики, а патриарх европейского языковедения профессор Мейэ назвал уже тогда Трубецкого значительнейшим языковедом современности.

С общей установкой Трубецкого были связаны и его взгляды на историю литературы; идеи его были созвучны феноменологии, «гештальт психологии» и гегельянству, за ним шли представители формалистической школы, к его воззрениям примыкали Роман Якобсон, многие английские и чешские лингвисты. «Каждый доклад Трубецкого...— писал один из его коллег,— каждый, хотя бы самый краткий, разговор с ним оставлял одно и то же впечатление: перед вами гениальный ученый, который соединяет редкий дар научного обобщения с еще более редким даром —

видеть каждый вопрос с совершенно необычной, новой точки зрения..» Такова была фигура Трубецкого-лингвиста.

Однако русской эмиграции князь Николай Сергеевич Трубецкой стал широко известен лишь как один из главных теоретиков и создателей «евразийства» — после выхода в 1920 году его книги «Европа и человечество». Евразийство было в эмиграции довольно заметным течением, течением тем более значительным, что в разработке его идеологии приняли участие видные ученые русского изгнания — философы, лингвисты, этнографы, историки, богословы, правоведы. Это было движение молодых — самому Трубецкому было только тридцать лет, и как многие движения молодых в начале этого века, оно было правым (в отличие от XIX века, когда дети были левее отцов), оно звало назад, это учение, в глубь русской истории, в допетровскую Русь. Евразийцы противопоставляли Европе образ Древней Руси, некоей страны, осиянной православием, проникнутой братской любовью. Это был, конечно, идеализированный образ, идущий к тому же от славянофилов, хотя нельзя отрицать, что в том древнем русском обществе существовал некий идеал гармонии, идея подчинения одиночки общественному идеалу, причем гармонию должно было устанавливать сильное государство. Евразийство отталкивалось от Европы и европеизма и особо подчеркивало азиатский компонент русской истории. Трубецкой говорил, что не Киевская Русь, территория которой представляла лишь двадцатую часть современной России, является настоящей предтечей Руси, а могучая и огромная Золотая Орда. У истоков могучего суверенитета России стоит Чингисхан, это он дал Московскому княжеству идею всемирного царства. И вот великая эта страна, на долю которой выпали нынче огромные, воистину трагические испытания, конечно же, она стоит выше европейских государств, стоит на более высокой ступени сознания. Единственный выход для России — возглавить всемирное антиевропейское движение. Влияние и блеск европейской культуры, увы, не поколебимы, говорит Трубецкой, оно будет даже расти, будет подминать все новые страны. И эта самоуверенность европейцев привела к тому, что и другие народы оценивают достижения своей культуры по европейским меркам — отсюда их комплекс неполноценности: они

отчуждаются от собственных традиций, пытаются перепрыгнуть ступени развития. Трубецкой обвинял западный национализм в эгоцентризме и высокомерии. Он хотел разработать положения истинного национализма, которому чужды будут тщеславие и нетерпимость по отношению к другим народам, национализма, который мог бы стать залогом сосуществования народов.

То есть, национализм евразийцев был более возвышенного, идеалистического свойства, чем, скажем, у сменовеховцев или младороссов, но много было, как видите, общего: та же вера в главенство и мессианскую роль России в мире, то же презрение к демократии. Причины рождения евразийства, как и других подобных движений эмигрантской молодежи, нетрудно разгадать. Поражение белых армий, предательство Запада, их до конца не поддержавшего, роковая роль, которую сыграли в крушении России социалистические идеи, позаимствованные на Западе, униженное эмигрантское положение,— все это толкало вправо, толкало к гордыне... Однако можно отметить несколько черт отличия евразийства, течения более интеллигентского и наукообразного, а может, и научного, чем сменовеховство или младоросское движение. По евразийской теории спасительницей мира выступает не русская, а некая евразийская нация. И еще очень важное отличие: другие правые движения считали, что революция в России произошла в результате заговора чужеродных племен, всяких инородцев. Евразийцы уверены были, что революция была радикальным протестом народа против петровского наследия, развитием раскола нации, вызванного так и не понятыми и не принятыми народом реформами Петра I. (Так же, кстати, думали Бердяев, Степун, Федотов, весь «Новый град».) Оттого-то крестьяне и подхватили лозунг классовой борьбы. Тут, как вы отметили, наверное, евразийцы сближаются с теориями большевиков — они так же, как большевики, верили в закономерность исторического процесса и неизбежность революции. А дальше — еще большее сближение. Евразийцы считали главным у большевиков не какие-то там абстрактные цели мировой революции, а ненависть к Петербургской России, которую народ разделял с большевиками. И вот теперь, когда народ победил в гражданской войне, он навязет большевикам свои цели. Главное, что спасена

территориальная целостность России. За эту целостность евразийцы, как и другие правые русские течения, могли простить все, любые преступления против духа. Что дальше? Дальше большевистская партия сама превратится в евразийскую. Ничего для этого делать не надо — идея сама победит. Трубецкой и не отрицал некоторого своего идейного родства с большевизмом, а позднее — с итальянским фашизмом (этот соблазн тоже был почти у всех правых в эмиграции). Трубецкой считал, что фашистская революция по значению своему уступала только большевистской. Самое главное и привлекательное в них, и в той и в другой,— господство идеологии, идеократия. Трубецкой только сожалел, что фашисты не создали все-таки законченного идейного противовеса Западу.

Но это ведь все говорилось в 20-е годы и в начале 30-х, когда черты тоталитаризма не проступили еще достаточно отчетливо ни в Германии, ни в России и можно было еще говорить об экспериментальном характере режима. Но в 30-е годы и евразийцы изжили свою молодость, и тоталитарные режимы явили свое истинное лицо. Ни о каком благородном национализме братства речь уже больше не шла. Яростный шовинизм усиливался и внутри Германии, и внутри России, и в русской эмиграции. Напрасно Трубецкой упрекал русских шовинистов, говорил, что их неумение договориться с другими народами России, их собратьями по евразийской нации, приведет попросту к распаду русского государства, которое сократится в конце концов до своего великорусского ядра. Трубецкой предвидел это с ужасом.

Учение евразийцев теряло в 30-е годы популярность — оно было и слишком идеалистическим, и слишком научным, и слишком сложным: на арену выступали молодые люди в одинаковых рубашках, выступали менее притязательные идеологии — младороссы, Национальный союз молодого поколения (будущий НТС). А сама пореволюционная Россия вовсе не на Востоке и не в Древней Руси искала и ищет сегодня идеал, а скорее в своем XIX веке, в петербургском периоде русской культуры и истории, в монархии или в западной демократии и плюрализме, в преклонении перед совершенной техникой.

В середине 20-х годов радикальная часть евразийс-

кого движения, желая активнее участвовать в жизни России, все ближе смыкается с Советской Россией. В 29-м в Париже возникает просоветское крыло евразийства во главе с мужем Марины Цветаевой Сергеем Эфроном и князем Дмитрием Святополком-Мирским, издававшими журнал «Евразия». Они восхищены индустриализацией, плановой экономикой, и некоторые из них, Эфрон, например, готовы зайти очень далеко в поисках сотрудничества с *любыми* органами новой власти. И Эфрон и Святополк-Мирский кончили, как известно, трагически, где-то в утробе ГУЛага.

А князь Николай Сергеевич Трубецкой, блистательный теоретик евразийства, умер сорока восьми лет отроду, и многие его соотечественники-эмигранты только из некрологов узнали о том, что князь-евразиец был ко всему еще и гениальный лингвист, основоположник целой области языкознания.

«РЕСТОРАН ЗАКРЫТ...»

(Русские рестораны и рестораторы)

В начале двадцатых годов нашего века русские рестораны, харчевни, кабачки стали появляться, точно грибы после дождя, по всему тогдашнему Парижу — и в бойких местах близ Елисейских полей и площади Этуаль, и в исконно русских округах парижского расселения — в Пятнадцатом, на левобережье Сены, и в Шестнадцатом, за рекой, близ Булони и заводов Рено.

Конечно, это бурное умножение русских ресторанов можно объяснить просто умножением числа русских, довольно массивной эмиграцией, и все же... Ведь не так уж и много было русских в общей массе парижан — других-то национальностей больше было. Возьмите мощную польскую эмиграцию, Польшину — где ее рестораны? Она и сегодня интегрируется в десять раз быстрее, чем скудная русская эмиграция. Вот тут, может, одна из главных причин русского ресторанного бума: медленность интеграции,

особенно в пору той, первой нашей эмиграции. Людям хотелось к своим, к своему языку, к своей музыке, к своим, специфическим проблемам. К своей беспаспортности, к своей отчаянной ностальгии. Наложилась на это, вероятно, и парижская привычка — сидеть до одури за столиком кафе, хотя бы и с трезвенным стаканом подкрашенной воды. Однако русские рестораны приобрели сразу свою, русскую окраску, свой дух, и этим духом привлекали французских посетителей. А у французов были свои, Бог знает из каких источников почерпнутые ими идеи о русском застолье — икра, шампанское, потом бокал об пол через плечо с эдаким гусарским жестом: гуляй, рванина, от рубля и выше... (Кинематограф здешний и сегодня из этих псевдорусских штампов вылезти не может. Довелось мне видеть минут пять из здешнего фильма о Москве, так в нем Марина Влади-Полякова, лучше кого бы то ни было знающая интеллигентские московские застолья, взяла вдруг в руки инструмент и заиграла-запела: нет, не гитару взяла — упаси Боже, балалайку, а то ведь могут не узнать Москву...)

Об этом специфическом духе я услышал не так давно, в одном из многочисленных и сегодня русских ресторанов близ Елисейских полей. Пригласил меня русский художник, поставивший хозяйке ресторана несколько своих прекрасных картин. А хозяйка была сильно немолодая, но еще красивая на своем восьмом, а то и девятом десятке лет дама, и пела она какие-то чудом прошедшие через столетия, сроду мной не слышанные русские романсы. (И то сказать — где вы отыщите еще лет через шестьдесят удалую кабацкую песню «Москва златоглавая...» Разве что в парижском ресторане.) Соседи наши с художником были по большей части французы, вот я их и спросил — что их сюда влечет, кроме «блиниз», то бишь блинов с семгой, с икоркой. Они сказали, что тут веселей, раскованней, можно снять пиджак, подпевать и вообще — русская душа, русские блины... Я не позволил себе усмехнуться — но ведь «блиниз» парижские, всюду здесь предлагаемые, — это и не блины вовсе, а крошечные польские «плацки», или еврейско-белорусские «латкес». Да и стоит порция их столько, что можно накидать себе за эти деньги целую тележку провизии в большом универсаме. А уж порция борща — берусь наварить за эти деньги борща на две недели на всю

семью. И все же не пустуют русские рестораны, а число их в Париже и сегодня растет — все эти «марфушки», «балалайки», «душки», «матрешки», «избушки», «дачи»...

Вернемся, однако, в межвоенную пору, в двадцатые и тридцатые годы. Обратите внимание на русскую эмигрантскую прозу — как часто действие рассказа завязывается в русском ресторане. И не только у привычного к ресторанному застолью Ивана Алексеевича Бунина, но порой также у не любящего ни рестораничков, ни рябчиков, ни музычки Владимира Набокова. Не говоря уже о мемуарах, о всякого рода воспоминаниях про те годы. Ведь целая школа русской тогдашней словесности связана с кабачками Монпарнаса — монпарнасцы, парнасцы: Поплавский, Кнут, Шаршун, Червинская, Фельзен, Гингер, Смоленский, Ладинский, Штейгер, Яновский... Тем, кто бросал этим молодым литераторам упрек в так называемом «моральном разложении», старшие их собратья, Алданов, Ходасевич и другие, с горечью отвечали, что людям этим, кроме всего прочего, некуда деться. Иные из них не имеют крыши над головой — вот они и высидивают до рассвета в теплом «Селекте» и теплой «Куполи». А в иные дни перебирались они в соседний русский ресторан «Доминик», на бульвар Распай, и там у них происходили литературные собрания — их даже называли по ресторану — «доминиканцы», причем, пить там было необязательно, есть тоже, администрация и хозяин «Доминика» не менее пристрастны были к русской литературе, чем их посетители, и вполне готовы на жертвы. Господин Доминик умер совсем недавно, его еще застали нынешние наши московские литераторы и нынешние дипломаты, а один из поэтов, «безвестный русский гений», как назвал его Набоков в романе «Ада», обессмертил и ресторан, и хозяина его в прекрасной песне. Поставьте пластинку Булата Окуджавы, и вы услышите: «На бульваре Распай господин Доминик у руля...» А раскрыв чуть не любой номер журнала «Возрождение» пятидесятых годов, вы непременно найдете театральное обозрение Доминика, точней, Льва Адольфовича Аронсона: он был знаток театра и отчаянный театрал.

Итак, русские рестораны. Были такие, где, по воспоминаниям Нины Берберовой, «шампанское было обязательно, где у входа стояло ваше превосходительство,

с веером расчесанной бородой (не то Пермский, не то Иркутский губернатор)». Были ресторан «Корнилоф», ресторан «Медведь», «Шахерезада», «Санкт-Петербург», «Царевич», «Киев» и еще множество. Герою Хэмингуэя хватило бы на несколько ночных путешествий...

Недавно, проходя по бульвару Рошешуар, я увидел надпись «Корчма» и заглянул туда. Гитарист настраивал гитару. Я спросил его, русский ли он. Он ответил, мешая французский с испанским, что он здесь недавно, он из Аргентины. И вот, листая в библиотеке подшивки знаменитой милюковской газеты «Последние новости», я стал проглядывать объявления ресторанов. Среди них была и эта самая «Корчма» близ пляс Пигаль, и «Городецкий» на рю де ля Виктуар, и «Джигит» на бульваре Эдгар Кинэ. Некоторые русские рестораны уже предпочитали французские названия, стало быть, менялся состав посетителей. Вот объявление: «Открылся ресторан «Ля Мэзонетт». Саша Масальский с гитарой. Дежурное блюдо — 6 франков». Нет уже, наверное, в живых Саши, а чего уж нет точно — так это блюд за 6 франков, за эти деньги не дадут и стакан воды. Вот еще: «Ресторан «Ше Жозеф», близ Этуали, при участии любимицы публики Ольги Стрижевской и известной исполнительницы «Песни улицы» Анны Степовой». Кстати, парижские ресторанные цыгане — особая тема, если вам будет интересно, мы и расскажем о них особо. Вот еще — «Жардэн флери» с цыганами, у Трокадеро; «Вальви» на авеню де Версай с русскими солистами и оркестром Черепнинского; «Таверна» на бульваре Осман дает объявление о встрече Нового года, увы, 39-го, беда не за горой, но Жорж Стреха с солистами Захаровым и Мальцевым постараются вас отвлечь от нее. А вот и «Петроград» напротив кафедрального русского собора на рю Дарю. Здесь же, для прихожан собора, держала свой «Самарканд» Нина Алексеевна Кривошеина, невестка царского, а потом врангелевского министра Кривошеина, сама дочь видного русского промышленника. Она пишет в воспоминаниях, что, как и многие русские эмигрантки, она встала за стойку ресторана, чтоб помогать семье, и что одним из завсегдатаев ее ресторана был сын Льва Николаевича Толстого, который любил подтягивать певцу и делал это вполне профессионально. Иногда, чтоб отдохнуть от своего рабочего места,

Кривошеины ходили в «Кунак», который держали Берсы, родственники Софьи Андреевны Толстой.

Если мы переместимся из парижского центра в рабочие предместья Бийянкур-Булони, русские кабаки станут попроще. О них, кстати, прекрасно пишет в своих воспоминаниях Нина Берберова:

«В Бийянкуре была улица, где сплошь шли русские вывески... Ночью (на «Поперечной» улице) шумел, галдел русский кабак. Он был устроен как отражение кабака монмартрского, где пел цыганский хор, или еще другого, где плясали джигиты с перетянутыми талиями, в барашковых шапках (в те годы входивших в моду у парижанок и называвшихся «шапска рюс»), или еще третьего, где пелись романсы Вергинского (пока он не уехал в Советский Союз) и Вари Паниной, пелись со слезой, и разбивались рюмки — французами, англичанами и американцами, которые научились это делать самоучкой, понаслышке, узнав (иногда из третьих рук) о поведении Мити Карамазова в Мокром...»

Кстати, в ту пору, когда вернулся в Россию Вергинский, а, может, на год-два позже, в русских кабаках Парижа стали петь советские песни — «В лесу прифронтовом», «Соловьи», «Хороши весной в саду цветочки», все, вплоть до «Интернационала» — мне рассказывала об этом певица Наташа Кедрова, много лет певшая в «Шахерезаде». Она мне подарила свою пластинку с песнями тех лет, и, слушая эту пластинку, словно переносишься в советские сороковые годы, на какой-нибудь школьный концерт самодеятельности у нас на Первой Мещанской. У Наташи Кедровой есть альбом с отзывами посетителей ресторана, поклонников Наташиного пения. Вот запись Эдит Пиаф, она была в «Шахерезаде» дважды. А вот — Куприн. Уезжая в Россию, он просил, чтоб Наташа спела его любимую: «В далекий путь, моряк, плыви...» Слушал и плакал. Может, чуял близкий конец пути...

Но вернемся в Булонь-Бийянкур вместе с Ниной Берберовой: «В кабаке на Поперечной улице всего было понемногу: безработный джигит в отставке шел вприсядку во втором часу ночи, пышногрудая, в самодельном платье с блестками, певица с двумя подбородками (днем обрубавшая цветные шарфики), выходила к пианино, у которого сидел старый херувим, выдавший лучшие времена. Она пела «Я вам не говорю про

тайные свиданья», и про уголок, убранный цветами, и «Звезду», текст которой, между прочим, взят у Иннокентия Анненского. Она тоже пела как романс стихотворение Блока..., переложенное на музыку, вероятно, не кем иным, как старым херувимом, и четыре строчки Поплавского, которые вкраплялись в «Очи черные»:

Ресторан закрыт, путь зимой блеснит,
И над далью крыш занялся рассвет.
Ты прошла, как сон, как гитары звон,
Ты прошла, моя ненаглядная!»

Потом выходила Прасковья Гавриловна. Ей уже тогда было под шестьдесят... Она когда-то певала в Стрельне, у Яра, и ее подруги сейчас допевали на Монмартре, на Монпарнасе, выпестовав свою цыганскую смену. У Прасковьи Гавриловны голоса больше не было... Она больше бормотала, чем пела, она хрипела иногда почти шепотом, сидя между двумя «цыганами» (армянином и евреем), которые наклонялись к ней с гитарами. Да, она была теперь *здесь*, а Настя Полякова, Нюра Масальская, Дора Строева были *там*, где румыны со своими смычками, свежая икра и крахмальные салфетки». Здесь «... пили водку, закусывали огурцом, селедкой... Стоял чад и гром, чадили блины, орали голоса, вспоминался Перекоп, отступление, Галлиполи. Подавальщицы, одна другой краше, скользили... между столиками. Это все были «Марьи Петровны», «Ирочки», «Тани», которых знали все чуть ли не с детства, и все-таки после пятой рюмки они казались полузагадочными и полудоступными, вроде тех, которые дышали духами и туманами в чьих-то стихах (а может быть, романсе?) когда-то... черт его знает когда и где?»

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ХУДОЖНИК

(С. Шаршун)

Лет двадцать тому назад в Парижском музее Современного Искусства открылась ретроспективная выставка русского художника Сергея Шаршуна. Это был

триумф — Париж открыл нового, во всяком случае, для более или менее широкой публики нового, художника. Художник разбогател наконец и уехал в путешествие на Галапагосские острова, откуда вернулся полный новых замыслов. Остается добавить, что художнику было в это время восемьдесят три года, из которых он больше шестидесяти прожил в Европе, главным образом, в Париже. То есть, к тому времени, как русские художники и поэты стали обживать свой полунищий ночной Монпарнас, Сергей Шаршун уже пробыл в Париже больше десятка лет и было ему за тридцать. Среди этих незаурядных и странных нищих творцов он был, пожалуй, одним из самых странных. Он писал не только картины, писал и прозу, и стихи, и музыку — все очень странное, далеко не всем понятное. Произведения свои он выпускал по большей части сам — какие-то самиздатские листочки, точнее, листовки со странными названиями: «Клапан № 1», «Клапан № 2», «Свечечка № 1». В них содержались разные, более или менее убедительные фразы и откровения — о мире, об искусстве, о себе: «Куда ни повернешься, наталкиваешься на самого себя», «Я примитивный человек, наделенный сложным характером»... И вот еще одно очень важное: «Один из русских национальных художников будет и мой однофамилец». Так и случилось. Не только русский художник известен под этой фамилией, но и прозаик. «Для меня роман Шаршуна — одна из самых значительных русских книг за последнее время», — заявил его коллега-парнасец в 1934 году о романе Шаршуна «Путь правых». Писал Сергей Шаршун очень много, печатали его очень мало, понимали его, вероятно, еще меньше. «Существо, лишенное кожи, он реагировал быстрее и резче на любое прикосновение жизни, — вспоминает бывший парнасец прозаик Василий Яновский, — в результате получался поток слов, который он нес к редактору с доверчивым видом седеющей лани.

Был он вегетарианцем, холостяком; вероятно молился и совершенствовался в уединении и нужде; в его присутствии мне чудилось: чистый, глубокий маленький ключ пробивается на поверхность из глубины.

Готовил себе обед из 30 или 40 овощей и сырых корешков; базой служили — молотый горох с натертой морковью... И когда вечером подходил близко, шепча: «Значит, я завтра вам занесу» или «Значит,

я ему передам», то люди жмурились от свежего запаха чеснока или лука».

Может, нам и не следует целиком полагаться на воспоминания Яновского, весьма эгоцентрические и самонадеянные, как, впрочем, и большинство известных мне мемуарных записок, но что нам остается от человека — тексты, полотна, музыка, и это вот — чужие воспоминания.

Кое-что, вероятно, все же точно в этих заметках — неизбывный ключ творчества, аскетизм, который он сохранял и в менее скудные годы, и странность, даже исключительность этого человека. Другой завсегдатай Монпарнаса, тоже литератор, писал о мире произведений Шаршуна, что это «мир живой теплой реальности, только преображенный особенностью, исключительностью автора». Способы этого преображения носят самые разнообразные, не всегда достаточно четкие названия — дадаизм, сюрреализм и еще с полдюжины «измов».

Откуда явился на Монпарнасе его завсегдатай Шаршун?

Родился этот очень русский, этот сверхзападный и супермодерный художник в Бугуруслане, среди башкирских степей Приуралья. «Это не со всяким случается», — шутили по этому поводу на Монпарнасе. Но ведь и то, что вообще случилось с русским эмигрантом, тоже случается не всегда и не со всяким.

Сын купца, Шаршун поучился немножко в симбирском коммерческом училище, занялся живописью и был завлечен в Париж французскими диковинными полотнами — произведениями импрессионистов, кубистов, фовистов, завезенными в Россию такими же, как он, купеческими сыновьями, всеми этими Морозовыми, Щукиными, Мамонтовыми...

Приехав в 1912 году в Париж, он убедился, что он уже давно абстракционист и дивиться ему тут нечему. Кроме Лувра. Он так и пишет: «Что касается современной живописи, Париж не был для меня откровением, зато Лувр меня восхитил». В Лувре он открывает для себя Делакруа, которого именует «экспрессионистом» и о котором сообщает позднее в «Клапане № 3»: «Берлиоз и Делакруа идут в ногу». Учился он в Русской Свободной Академии на авеню Мэн в Париже, потом в академии кубистов «Ля палетт», где самое большое влияние на него оказал Лё Фоконье, созда-

тель так называемого «физического кубизма». Еще в 1913 году Шаршун выставляется вместе с другими кубистами в Салоне Независимых.

Один из современных исследователей его творчества писал, что «в основе творческого процесса Шаршуна всегда таится эмоция, стимулирующее действие которой, немедленное или задержанное, всегда выходит за пределы вызвавшей ее причины». Шаршун говорит о себе: «Я не рассудочен, а впечатлителен». Любопытно, что примерно в тех же выражениях описывает Яков Горбов и литературную эпопею Шаршуна. «Как некоторые современные полотна, фрески и ваяния,— пишет Горбов,— книга Шаршуна обращена в сторону читателя вся сразу, так что ее не читать приходится, а воспринимать».

В Испании, в Барселоне Шаршун знакомится с дадаистами, которые оказались ему близки. Здесь же на него огромное впечатление произвело испано-мавританское искусство, о чем он тридцать лет спустя писал в автобиографии: «Крашенные фаянсовые квадраты изменили мою живописную концепцию, дав волю моей исконной славянской натуре — мои картины стали красочными и орнаментальными». По мнению французского исследователя, именно с этого времени Шаршун становится «„орнаментальным художником“, подтверждая свою исконную русскость, которую он заставляет приспособиться к требованиям западной точности, в особенности французской». В Барселоне Шаршун работает сразу над двумя фильмами, один из которых — «Гитара» — навеян русской темой и цыганской песней.

В 1916 и 1917 годах Шаршун выставляется в галерее, посещаемой дадаистами, устраивает выставку в книжной лавке Форни, знакомится с Тристаном Царá и Пикабиа; чуть позднее выставляется в Салоне Независимых и в галерее Монтэнь вместе с Тристаном Цара, Максом Эрнстом, Арпом. Французский исследователь считает, что дадаизм уводит его на десять лет назад, в Россию. На коллективном произведении его друзей-дадаистов, созданном под руководством Франсиса Пикабиа, можно найти подпись Шаршуна, а рядом печатными буквами жирную надпись «Русское солнце». В разгар дадаистического движения Шаршун издает поэму, написанную им по-французски и им иллюстрированную. Потом он едет в Берлин и там

издает по-русски новый журнал-листочку «Перевоз да-да». Как типичный эмигрант он в это время — это начало двадцатых годов, конец войны, иллюзии нэ-па — испытывает соблазн возвратиться в Россию. Именно поэтому он, вероятно, и двинулся на восток — сперва в Германию. Однако то, что рассказывают ему писатели и художники, побывавшие только что в России, а также вернувшаяся оттуда Айседора Дункан, отбивает охоту к возвращению. К тому же Берлин, «мачеха русских городов», был в то время поистине русской культурной столицей. Шаршун знакомится здесь с Пастернаком, Белым, Маяковским, встречается с художниками — Пуни, Лисицким, другими. И он приходит к тому же убеждению, к какому пришли позднее Сирин, Набоков и многие-многие эмигранты: Россия, «отсутствующая и присутствующая» в то же время, — внутри них. Шаршун участвует в берлинских выставках, в частности в большой русской выставке 1922 года, сотрудничает в журналах «Мерц», «Манометр», «Мекано» и «391» вместе со старыми и новыми, французскими, русскими и немецкими друзьями-дадаистами. Вернувшись через год с небольшим в Париж, он вливается в русскую богему, обживавшую тогда кабаки ночного Монпарнаса, сходится с русскими антропософами, последователями доктора Рудольфа Штейнера, которых, между прочим, и сегодня еще можно встретить в русском Париже. Признавая влияние антропософии на его творчество, Шаршун часто говорил, что беспрерывно умирает и возрождается в своем творческом процессе и что в момент созидания он целиком вливается в то, что творит.

Познакомившись через Надю Ходасевич-Леже с Озанфаном, он переживает на время увлечение «пуризмом», пишет затем «эластические пейзажи», потом на время оставляет живопись и целиком отдается литературе. Это трудный период его жизни. Он посещает «Зеленую лампу» Мережковских и «Кочевья» Марка Слонина, сотрудничает в «Числах» Николая Оцупа и в «Круге», где опубликованы отрывки из его эпопеи «Герой интереснее романа» — так называемая поэма «Долголиков», где выступает, по мнению русского критика, «образ одиночества, глухого, непроницаемого... на каждой странице этой привлекательной и увлекательной поэмы», «одна из главных силовых линий» которой — «это путь, проделанный от заволжских сте-

пей к Европейской Сутолоке и сочетанию отблесков и отзвуков этих степей со скрежетом, звоном и грохотом сутолоки».

Позднее Шаршун с энтузиазмом возвращается к живописи, в которой царит «гибра пресной воды», ибо Шаршун, как и герой одного из его «Неприятных рассказов», не представлял себе пейзаж без воды. С 1954 года к этой воде, отраженной во всех его полотнах, присоединяется музыка, дирижером его становится Бетховен, и еще много десятилетий звучит в прозаических, музыкальных и живописных произведениях голос Сергей Шаршуна, похожий на голос его героя Долголикова — «мягкий, анархический, бодлеровский, не имеющий ничего общего с сутолокой жизни, безвозвратно погибший, близкий к гениальности, к безумию, братский, беззастенчивый голос» — голос этого очень странного русского художника с Монпарнаса, из Ванва, из Ситэ Фальгьер, убежденного и неистового человека, в котором, по словам Георгия Адамовича, «уцелел и русский сектант-подвижник из Заволжских степей, готовый за свою веру взойти на костер»...

ГРУСТНЫЙ ЧАСОВЩИК УБИВАЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА

(Петлюра и Шварцбард)

Это произошло 25 мая 1926 года в Париже на известном всем туристам и студентам знаменитом бульваре Сен-Мишель, парижанами ласково называемом Бульмиш. Какой-то возбужденный человек в белой спецовке подбежал к прохожему и, спросив: «Вы Петлюра?», начал стрелять в него — сперва в стоячего, потом уже в лежащего — пока не выпустил все пять пуль. Позднее, когда состоялся процесс над убийцей, носившим фамилию Шварцбард, свидетели, оказавшиеся в эту дневную пору на Бульмише, многократно описывали эту сцену. Самым эмоциональным был на процессе рассказ шестидесятивосьмилетнего учителя-англичанина с оригинальной фамилией — Смит.

«Когда Петлюра упал,— рассказывал Смит,— я подбежал к мужчине в белой рабочей робе и крикнул ему: «Убийца». Но Шварцбард ответил мне: «Нет, я убил убийцу». «Негодяй, ты сам убийца!» — закричал я. И я посмотрел ему в глаза. Я большой физиономист, господа присяжные заседатели. Я пятьдесят лет смотрю людям в глаза. Я никогда еще не ошибался. И посмотрев в глаза Шварцбарду, я понял, что это не убийца, а судья. Глаза его горели, у него был облик судьбы». В этом месте приведя, как положено англичанину, цитату из Шекспира, старый учитель завершил свои показания: «Когда я узнал потом, что он мстил за свой народ, я понял, что я не зря пятьдесят лет смотрел в человеческие глаза... Я англичанин, господа присяжные. Но если бы я встретил палача своего народа, я поступил бы точно так же, как Шварцбард».

Итак, подтвердив факт убийства, никем, впрочем, не отрицаемый, свидетель тут же и высказал свое мнение о том, что Шварцбард был не убийца, а судья. Просто подсудимый Шварцбард творил суд (можно сказать: самосуд) на парижском бульваре и тут же привел свой приговор в исполнение. Точка зрения эта показалась присяжным, решавшим судьбу Шварцбарда, вполне убедительной. А когда один за другим выступили свидетели, правдиво изложившие историю еврейских погромов на Украине — довольно впечатляющая, надо сказать, глава из истории кровавой и жестокой гражданской войны,— присяжные окончательно склонились к мнению, так простодушно высказанному свидетелем-англичанином: не убийца, а мститель и судья, а стало быть, невиновен. И когда суд объявил этот приговор, часовщик Шварцбард, до этой минуты изображавший бесстрашного героя, разрыдался и... вышел на свободу. А женщина в черном, вдова Петлюры, все смотрела не отрываясь на револьвер, лежащий на столе среди «вещественных доказательств».

Кто же был этот безжалостный мститель и кого избрал он жертвой мщения? Один из журналистов, присутствовавший на процессе, писал, что Шварцбард — это «часовщик; почти средневековый мститель, испорченный современностью, кинематографом, войной и анархизмом, схоласт и талмудист по самому складу своего мышления, но нервный, истеричный человек...» Жизнь немало потрепала Шварцбарда — он видел погромы в пореволюционной России, бродил

без работы по Австрии, ночевал на дороге, был арестован — в котомке у него при аресте нашли только анархистскую книжку про собственность, которая (собственность), конечно, всегда кража. Потом он осел в Париже, чинил часы и дешевые брошки, был обходителем, добр. Когда привезли в Париж детей, осиротевших при погромах, он помогал больше других. Две тысячи парижских его соседей прислали письмо, чтоб рассказать суду о его доброте. По его свидетельству, в конце 1925 года он познакомился с военным, который рассказал ему о двух русских офицерах, его соседях по госпитальной койке в Париже. Офицеры эти хвастались в больничной палате своими подвигами во время погромов на Украине: один утверждал, что он изнасиловал тридцать пять евреек, другой — что лишил невинности шестнадцать девочек, а потом их убил. Этот рассказ, по заявлению Шварцбарда, подтолкнул его к действию. Он, впрочем, и до того немало читал страшных документов о погромах в парижской библиотеке Святой Женевьевы, где и встретил случайно Симона Петлюру, который стал для него символом всех этих ужасов, так сказать, Главным Убийцей. Никто из присяжных не удивился такому умозаключению Шварцбарда. Так же, впрочем, как никто не удивляется сегодня в Париже, проходя мимо украинской библиотеки имени Симона Петлюры. Да и откуда парижанам знать про все эти дела? Мы и сами-то начинаем только...

Итак, Петлюра был одним из основателей украинской социал-демократической партии, а после февральской революции 1917 года — одним из основателей украинского национального движения и одним из руководителей украинского правительства, его парламента — Рады, главнокомандующим украинской армией. В начале это движение получило моральную поддержку многочисленных неукраинских, в том числе — и в первую очередь — еврейских партий, которые летом 1917 года получили пятьдесят мест в Центральной Раде и пять мест в Малой Раде. Был учрежден вице-секретариат по еврейским делам, а позднее и первое, вероятно, в Новой истории Министерство по еврейским делам. По большей части руководители первого украинского правительства были социал-демократы (эсдеки) — к ним относился и сам Петлюра, а также социал-революционеры (эсеры). Советские историки

в годы моей юности называли, конечно, их всех реакционерами, а критики справа, к примеру, Антон Иванович Деникин,— полубольшевиками или большевиками. Деникин считал, например, что секретарь Рады по внутренним делам Винниченко, так тот просто потворствовал большевикам, а Петлюра все же представлял умеренный лагерь и еще допускал сотрудничество с буржуазией. Столь дружно поддержанная поначалу еврейскими партиями, скорее все же элитой еврейской, чем массой, Рада высказалась вполне определенно о еврейских погромах. На первый запрос о погромах Винниченко сказал в Раде, что «генеральный секретариат, конечно, не примирился с этим вопиющим явлением...» Петлюра же, со своей стороны, объяснил, что «погромы падают на прифронтовую полосу, где чрезвычайно много разных запасных воинских частей. Эти части и делают погромы...» «Секретариат,— сказал он,— будет вскоре... иметь достаточно военной силы, при помощи которой можно будет решительно бороться с анархией». То есть Петлюра, без сомнения, хотел бы справиться с анархией, но дело это было нелегкое. Так же как Махно, сам анархист, выступавший теоретически против погромов, не мог справиться с анархией в своем воинстве, так не мог и Петлюра. Подтверждение этим аргументам Петлюры мы находим, между прочим, у того же Деникина, который рассказывал, что, когда Петлюра приступил к демобилизации неукраинских частей, все эти уволенные им части оседали в попутных городах, вступали между собой время от времени в перестрелки и чинили жестокие погромы...

Чем дальше, тем сложнее становилась ситуация на Украине. Во-первых, сама Рада шла к полному отделению от России, а масса евреев держалась еще во многом русской ориентации. Идеология руссификации была очень сильна и у еврейской интеллигенции, и у буржуазии, и у части рабочих. Даже в самих украинских партиях, близких к национальному движению, этот сепаратизм Рады вызвал раскол. Любопытно, что Деникин тоже отмечает эти колебания и пассивность массы, говоря, что «чувство самосохранения, объединявшее более благоразумную часть населения, и желание спасти край от моральных и физических последствий нашествия большевиков», были причиной этой осторожности и пассивности. Но пассивность эта раз-

дражала Центральную и Малую Раду. Армию же она побуждала к еще более жестоким погромным эксцессам. Во-вторых, меняется состав армии. Евреев, как и русских, начинают демобилизовывать из украинской армии. С запада двинулись из Германии полки, сформированные в плену, в Раштате,— запорожский полк, сичевики, гайдамаки, наконец, Богунский полк, позднее воевавший за большевиков и против Петлюры. Все эти формирования стали грозой еврейских местечек — рекой лилась кровь: разграбленные дома, изнасилованные женщины, убитые дети и старики...

Петлюра обратился к войскам с воззванием: «Не допускайте погромов, ибо, если вы допустите их, вы позором покроете славное имя украинского войска». Но, конечно, Раде было уже не до обсуждения погромов, и представитель сионистской секции в Раде отмечал, что «Генеральный секретариат перестал проявлять прежнюю чуткость к воплям жертв и как будто бы фаталистически примирился с ними» ...После октября 1917 года еврейские партии на Украине призывали, не колеблясь, «ясно и резко высказаться против авантюры большевиков». Но, конечно, в еврейской, как, впрочем, и в рабочей украинской массе, у большевиков было немало сторонников, это известно любому историку. Подытоживая недолгое существование украинской Рады и Директории, тот же Деникин писал, что «национальный большевизм Директории ни в городе, ни в деревне не нашел себе почвы» и что «большевизм Советов побеждал психологически полубольшевизм Рады». Таковы были наблюдения Деникина.

Между тем улица и войска прежде всего обращали внимание на участие евреев в большевистском движении, на еврейские фамилии в Москве, а не в Раде. Тем более что на Брестских переговорах, где украинская делегация резко столкнулась с московской, Москву представляли Троцкий и Йоффе.

В начале 1918 года все виды армейских погромов приняли уже широкий размах, в том числе, кстати, и погромы большевистские: в Новгороде-Северском, а Новгороде-Волынском, в Коростене, Бердичеве и, наконец, кровавое 1 марта в Киеве — в Михайловском монастыре, на Владимирской горке, на Подоле... Несмотря на вмешательство Киевской Думы и председателя Рады Грушевского, остановить этот погром было нелегко. В Полтаве, где против бесчинств гайдамаков

выступил Владимир Галактионович Короленко, руководство погромом приписывали полковнику Шаповалу. Скорее всего это и был тот самый Шаповал, которого адвокат семьи Петлюры счел нужным пригласить в качестве свидетеля на парижском процессе. Петлюровские свидетели, кстати были все неудачные, на французских присяжных они произвели самое тяжкое впечатление. Похоже было, что в свидетели для процесса адвокатам попались одни бывшие погромщики или их непосредственные защитники, вроде Удовиченко и председателя трибунала Нестеренко. А наверное, могли бы быть и другие защитники у Петлюры. Ведь и газета «Найе цайт», орган «Объединенных еврейских социалистов», писала 19 февраля 1918 года: «Мы не отрицаем, что даже в рядах украинской демократии имеются такие, которые еще не освободились от греха антисемитизма... Но Украинская Рада, украинская революционная демократия и ее органы — они чисты от греха, они двойной игры в этом вопросе не велят». И если весной 1918 года газета «Новая Рада», раньше выступавшая против погромов, сама стала на антисемитские позиции, если во время наступления немецких и украинских частей Петлюра, признаваясь в своем бессилии, сказал еврейской делегации, что он ничего не может сделать и что видит жажду мести, но антисемитизм отрицает, то из этого еще нельзя сделать вывод о том, что Петлюра лично был виновен в погромах. Что это он и был Главным Убийцей, каким представлялся распаленному воображению анархиста-часовщика, убившего его.

Что же до французских присяжных, так легко и снисходительно простивших убийцу и убийство, то, во-первых, недавняя война, вероятно, и их приучила небрежно относиться к человекоубийству. Во-вторых, европейцы еще не почувствовали тогда страшной угрозы примитивного самосуда и терроризма... Это только о семидесятых, вероятно, годов веселой толпе, гомонящей, поющей, танцующей где-нибудь на Монмартре или у Нотр-Дам, приходится уже полагаться на целый отряд специальной жандармерии, сторожащей это массовое веселье. Ибо с умножением в мире террористических групп, вооруженных современным оружием и примитивными теориями мщения, всех этих «Отрядов Красной Армии», «Красных бригад», «Комячек», «Черных сентябрей», жизнь в древних, прекрасных

городах мирной Европы стала небезопасной. А прекрасные улицы Парижа, Лиона, Рима, Бонна стали ареной убийств, столь же абсурдных, как убийство Симона Петлюры...

ВЕЛИЧИЕ И СМИРЕНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙШЕГО

(Высокопреосвященнейший митрополит Евлогий)

В религиозном возрождении, которое испытала русская эмиграция в середине двадцатых годов, а точнее даже, в строительстве русской зарубежной церкви — тут, во Франции, да и в других странах Западной Европы, — значительную роль сыграл митрополит Евлогий, самая судьба которого была в значительной степени типична для русского пореволюционного эмигранта.

Родился будущий митрополит в 1868 году в захолустном селе Тульской губернии, в бедной семье сельского священника о. Семена Георгиевского и наречен был при рождении Василием. Учился он сперва дома, потом в духовном училище в городке Белёве на берегу Оки, потом в Тульской семинарии и, наконец, в Духовной академии под Москвой, в Троице-Сергиевой лавре. Двадцати семи лет отроду он был пострижен в иночество и принял имя Евлогий. Был преподавателем, а потом инспектором в духовной семинарии, позднее ректором семинарии в польско-русском городке Холм, затем епископом Люблинским, викарием Холмско-варшавской епархии, депутатом Второй и Третьей Государственной думы, где возглавлял вероисповедную комиссию. Перед мировой войной владыка Евлогий был уже архиепископом Холмским, а в войну архиепископом Волынским. И вот революция, скитания по России, смутное время, арест при Петлюре и снова скитания — Польша Бессарабия, Константинополь, потом снова Россия — Екатеринодар, Новороссийск, и, наконец, — эмиграция. Сперва — Сербия, где много было в то время русских и где находилось Высшее русское

церковное управление. Оно-то в 1921 году и назначило владыку Евлогия Управляющим Западноевропейской епархией. Владыка запросил патриарха Тихона и получил из Москвы Указ, подтверждающий это назначение. Пост большой, а положение пока тяжкое, и бедность. «Соорудили митру из банального лифа жены генерала Поливанова,— с юмором вспоминал позднее владыка.— Кроме митры и старенькой епитрахили никакого облачения у меня при выезде из Белой Церкви не было». Однако не в митре дело. Был у пятидесятирехлетнего владыки уже большой духовный и жизненный опыт. Не было у него знания иностранных языков, зато был по прежнему служенью опыт общения и с католиками, и с протестантами, и с еврейской общиной. Известная даже терпимость была, и ум, конечно. Новый управитель едет в Берлин, посещает немецкие лагеря, где есть русские, и приезжает, наконец, в Париж. Тут при Кафедральной Александро-Невской церкви надолго утверждается его резиденция. В церкви этой он и сам служил часто. Вот как он вспоминает об этом: «Храм не вмещал всех собравшихся, была давка... на церковном дворе, даже на улице перед церковью всюду толпился народ. Кого только тут не было! Люди всех состояний... бывшие сановники и придворные, военные в затасканных френчах, интеллигенция, дамы, казаки, цыганки, старухи, дети... Скорбные, озлобленные, измученные люди тянулись к храму, как к единственному просвету среди мрака эмигрантского существования. Они несли сюда свои печали, упования и молитвы; тут забывали свое горе, обретали надежду. В первые годы религиозное усердие эмиграции было трогательное».

Новый управляющий заботится о храмах, приходах, а главное — о добрых пастырях для своей паствы. Пастыри у него были кое-где замечательные. В его веденье приходы Италии, Бельгии, Чехословакии, Норвегии, Швейцарии, Финляндии, даже Марокко и Индии. Это он вводит форму «монашества в быту» (у нас еще будет случай поговорить о «Православном деле» и о матери Марии). Он продолжает экуменическое общение с католиками, с протестантами. В парижском Богословском институте, на Свято-Сергиевском подворье преподает у него блестящая плеяда русских богословов. Успехи есть, но и трудности у владыки растут...

Еще когда он был в Германии, на монархическом съезде в Рейхенгале крайние монархисты типа Маркова-II выразили пожелание сделать православную церковь своим политическим оружием. И вот осенью 1921 года религиозный съезд в Карлове, объявивший себя Собором, по настоянию этих людей и как бы от лица всего русского народа принял постановление восстановить в России династию Романовых. Владыка Евлогий, а с ним и еще тридцать четыре человека, высказались против принятия церковным собранием политического решения. «Церковь должна стать выше политических и партийных раздоров и по возможности объединить под своим куполом всю эмиграцию», — говорил владыка Евлогий, который, по его словам, «в прошлом горьким опытом познал, как церковь страдает от проникновения в нее чуждых ей политических начал, как пагубно на нее влияет зависимость от бюрократии, подрывающая ее высокий, вечный, Божественный авторитет... Эта тревога за Церковь была свойственна многим русским иерархам задолго до революции в самые благополучные годы нашей государственной жизни».

Несмотря на все усилия сохранить мир с Карловацким синодом, в 1926 году последовал разрыв митрополита Евлогия с «карловчанами». Карловацкий синод принял немало суровых решений. Он вынес постановление об отрицательном отношении к Всемирному христианскому союзу молодых людей — УМСА. Он пожелал взять под свое особое наблюдение парижский Богословский институт и «выразил пожелание, чтоб Институт освободился от денежной помощи жидомасонов». Синод признал учение отца Сергия Булгакова о Софии еретическим. И так далее. Некоторые из «карловчан», между прочим, и сегодня еще борются с масонской угрозой — но теперь уже через московскую «Литературную Россию».)

Обострились и отношения митрополита Евлогия с Москвой. В 1927 году Москва потребовала от владыки подписки о «лояльности». В 1930 году митрополит Сергий заявил в Москве иностранным корреспондентам, что в СССР нет гонений на церковь. А после того как владыка Евлогий поехал в том же году в Англию, где шли моления о скорбящей русской церкви, произошел его разрыв с Москвой. Владыка отправился в Константинополь, получил там грамоту от Вселенского

патриарха Фотия II и юрисдикцию Святейшего Вселенского Патриаршего Престола. В этом приближении к Вселенскому Престолу была для него не только организационная необходимость, но и высокая идея. «Ценность этого единения великая... — говорил владыка Евлогий. — Когда Церкви... обособляются, замыкаясь в своих национальных интересах, то эта утрата... главного предназначения национальных Церквей есть болезнь и грех... Задача поддержания общения со Вселенской Церковью выпала на мою долю...» Говоря об обособлении русской церкви, владыка писал: «Самосознание младшей сестры единой вселенской Христовой церкви было затемнено самомнением, выраженным в известном изречении: «Москва — Третий Рим»...»

Предвоенные годы были для него трудными. В Германии Гитлер признал только карловацкие церкви. Другим приходам выжить было нелегко.

В 1938 году в Париже торжественно было отпраздновано 35-летие епископского служения владыки Евлогия. Он все чаще болел, стал слабым... А беды пришли ко всем: печальные годы оккупации и невзгод. И вот, наконец, перелом в войне. Германская армия начала отступать на полях России. Старенький владыка следит теперь по карте за успехами русских войск, и с ним происходит то же, что произошло тут в Париже со многими эмигрантами. Он проникается гордостью за Россию, восторгом перед ее успехами и готов все забыть — и то, что терпит там сегодня Россия, и что было в ней вчера, и что произошло с ее Церковью, с ее народом. Он слышит только гром побед, с восторгом разглядывает в газете портреты советских военачальников. «Национальные задачи могут выполняться неизвестными нам путями...» — говорит он. Это он о советской политике, «отвечающей интересам России». Перед ним — видение России на вершине военной славы — простирающейся от Ледовитого и, как знать, может, до Индийского океана. А на штыках ее — и торжество православия. Безжалостная воля вождя России оправдана теперь для него великой пользой. А тут еще чудо — прекращение гонений на церковь.

«Так хочется засыпать ров и скорее идти туда...» — говорит владыка. Он не один так говорит. В Париже в конце войны старый Милюков пришел перед смертью к еще более решительной переоценке своих взглядов. Владыка хочет, как Моисей, вести эмигрантский

народ в родную землю. «Без страха... пойдём в родную землю,— говорит он,— она так прекрасна... не пора ли идти на строительство родных домов». Идеал вселенского православия не забыт им, но он как бы потеснился перед национальным православием. «Прекрасна идея вселенского православия,— говорит он теперь,— но путь к ней через национальное православие... Вселенская идея слишком высока, малодоступна пониманию широких масс народа. Дай Бог утвердить его в национальном православии... пока мы живём на этой грешной земле, неизбежны, необходимы разделения национальные и конфессиональные. И против этого ничего не поделаешь. Национальность (точнее, народность) это голос крови, зараженный первородным грехом, а пока мы на земле, мы несём следы этого греха и не можем стать выше него. (То же я думаю о конфессиональных разностях.) Но будучи убежденным националистом, т. е. верным и преданным сыном своего народа, я, конечно, отвергаю тот звериный национализм, который проявляют теперь немцы по отношению к евреям, равно, как будучи православным, я чужд религиозного фанатизма... Выше всего чту свободу в Христе».

Вот так все кончилось. Приехал уполномоченный из Москвы, и владыка поспешил до смерти еще перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Дальше уж его мало о чем спрашивали... Да и жить ему оставалось мало. Но с паствой у него впервые наметились острые расхождения, и он об этом с огорчением писал в Москву. Большинство парижских и западноевропейских приходов остались верны Вселенскому престолу. Хотя и Московский патриархат имеет теперь в Париже церковь...

Вообще, история эта старая. Государство всегда старалось использовать Церковь в своих целях. Но и оппозиция тоже была — вспомним «заволжских старцев» и Нила Сорского, старообрядцев наших, старцев времен Екатерины... Так что всегда были сторонники национальной и даже государственной церкви, а были и те, кто верили, что христиане лишь странники и пришельцы на земле. «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Посл. к евр. 13,14).

Такая вот история — сперва идеи вселенской церкви, экуменизма, терпимости... Потом (и на мой взгляд, причина тут в условиях эмиграции,

в ностальгии), потом — расцвет державного, имперского чувства: что бы там ни делали Ленин, Сталин, большевики, главное — держава крепнет, растет... А церковь смирится, перетерпит унижение...

В БОЙ ЗА ДВЕ РОДИНЫ-МАЧЕХИ

(Русские и 18 июня 1940 года)

18 июня 1990 года Франция праздновала 50-ю годовщину знаменитого лондонского обращения Де Голля. В Париже около семисот мемориальных досок, к которым жители города возлагали в тот день цветы, а ближе к полуночи на черной глади Сены, между мостами Понт дю Карусель и Понт Неф, стотысячная толпа любовалась красочным световым спектаклем, представляющим отлет Де Голля в Лондон, высадку союзников в Нормандии, пламя Сопротивления.

18 июня 1940 года сыграло большую роль в истории войны и в судьбе послевоенной Франции. Генерал Шарль Де Голль, один из военачальников, не слишком, впрочем, еще знаменитый, член тогдашнего правительства — тоже не очень высокого ранга, — взбунтовался против решения своего покровителя старого маршала Петэна и главнокомандующего французской армией Вейгана заключить перемирие с Гитлером.

Так называемая «странная война», «дроль де гер», была к 18 июня проиграна, и Петэн с нетерпением ждал, какие условия перемирия предложит победитель. А немцы уже были в Париже, и часы были переведены на немецкое время. Взбунтовавшийся генерал Де Голль улетел в Лондон и попросил там разрешения выступить по Би Би Си с обращением к французскому народу и к армии. Кто был тогда Де Голль? Он не имел армии. Не имел имени и высоких полномочий. Но он был полон решимости продолжать борьбу. Он был солдат, он был старомодный патриот, и он сказал слова, которых ждала униженная Франция. Черчилль добился для Де Голля разрешения выступить, и вот прозвучало по радио это выступление.

Всего 4 минуты! Де Голль сказал, что не все потеряно. Что Франция не в одиночестве — он трижды повторил эту фразу: «Она не в одиночестве». Что это мировая война, и враг может быть побежден теми же средствами, которыми победил сегодня. И что бы ни случилось, — пламя французского Сопротивления не должно погаснуть, и оно не погаснет. Вот от этого дня, от этих слов ведет счет французское Сопротивление, символом которого стал Де Голль. От этого выступления и от этой минуты берет начало Армия Свободной Франции, ибо в тот же день началась запись французских добровольцев...

Когда этот генерал в высоком кепи с дубовыми листьями, с белыми перчатками в руках вышел из студии Би Би Си, один из французских сотрудников сказал другому: «Он вышел отсюда, чтоб войти в энциклопедический словарь Малый Лярусс».

И уже в первом десятке добровольцев, записавшихся в тот исторический день в Армию Свободной Франции, находим русское имя — Вырубов. Этот Вырубов прошел потом воинский путь, был дважды награжден.

В первой тысяче, которую генерал Де Голль смог отправить в Дакар, русских имен уже много. Среди них бывшие солдаты и офицеры Русской армии, георгиевские кавалеры, которые снова покрыли себя славой на полях второй мировой войны под знаменами Де Голля. Большинство из них пережило горечь поражения в «странной войне» 1940 года, а теперь, по первому же призыву Де Голля, они снова пошли в бой. Хотя эти люди к началу войны успели прожить два десятка лет во Франции, они почти не интегрировались. Они оставались апатридами, они были люди без национальности, снабженные смехотворным нансеновским паспортом. Правда, по закону 1928 года они привлекались к отбыванию воинской повинности. Но вот теперь, наконец, они оказались нужны для правого дела. Отметим, что некоторые довоенные движения эмигрантской молодежи, разочаровавшейся в революции, в прежнем русском освободительном движении и, главное, в западном прогрессе и западной демократии, пришли или к национал-большевизму или к идеям, близким фашизму. И вот немецкие фашисты напали на Францию, и война эта, вопреки ожиданиям, вызвала огромный подъем среди русских эмигрантов. И не только среди тех, что верны оставались идеям «ордена»

русской интеллигенции. Но и среди тех, кому казалось, что западной демократии они предпочитают нацизм. Сразу кончились их игры с антидемократическими и национал-социалистическими идеями, и все почти русские заявили о готовности сражаться за свободную Францию.

Русское сопротивление дало много замечательных, светлых имен. Мать Мария, поэтесса, монахиня, подвижница. Княгиня Вики Оболенская, одна из организаторов сети подпольной информации. Ариадна Скрябина, в замужестве Сарра Кнут, дочь композитора Скрябина, жена поэта Довида Кнута, одна из создательниц еврейской организации Сопротивления... Письма этих русских героинь, воспоминания о них воссоздают характеры необычайного мужества, чистоты и благородства. «Настоящая княгиня! — воскликнул гестаповец, увидев при аресте документы княгини Оболенской. — Айнэ эхте принцессин! Юн Врэ прэнсес!» Ее мучали, ее склоняли к сотрудничеству: как же так, разве вы не против Советов и евреев? Она отвечала с презрением: «Я не изменю ни своей родине, ни стране, давшей мне приют. Я верующая христианка и поэтому не могу быть антисемиткой. Вам... этого не понять...»

Два блестящих молодых ученых из парижского Музея человека, два русских интеллигента — поэт Борис Вильде и Анатолий Левицкий — были среди первых организаторов Сопротивления. Их считают зачинателями «Резистанса». Расстреляны на горе Монт Валериен. Держались с поразительным мужеством. Оставили потомкам дневники и письма, отмеченные высокой духовностью.

Все эти герои награждены высшими орденами Франции, о них говорится в специальных приказах Де Голля, Бидо и Монтгомери...

«Содружество резервистов французской армии» напечатало после войны списки русских героев. В предисловии, предваряющем публикацию, говорится, что «русские эмигранты, служа Франции, служили и Чести Русского Имени...» В списках — множество героических имен: князь Георгий Гагарин, «герой легенды» (именно так и называли его) князь Амилахвари, муж Вики Оболенской князь Николай Оболенский, Иван Зубов, Земцов, Левентон, юный Анатолий Болгов, юный Николай Мхитарянц-Мхитаров, Всеволод Ряза-

нов, Георгий Маковский... Среди них немало интеллигентов, аристократов, поэтов, но еще больше той офицерской-солдатской, пролетарско-шоферской, автозаводской, апатридской массы, которой так тяжело досталось на чужбине. Людей, которые лишились родины два десятилетия назад и вот — ринулись защищать Родину. И французскую родину-мачеху, так мало обращавшую на них внимания в дни мира. И русскую родину-мачеху, их изгнавшую. Пошли защищать их, ибо, по словам эмигрантского писателя, они были воспитаны в «противном здравому смыслу «русском» убеждении, что цель жизни не в счастье и успехе, а в отдаче себя делу борьбы за правду». Иные из них похоронены на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем. Другие — еще дальше от родины, в африканских песках. От третьих остались воспоминания близких, боевые приказы Де Голля о награждении да, может, еще эти наивно-трогательные стихи одного из тех, кто уцелел, кто выжил после ран, и потерь, и лишений,— князя Николая Оболенского:

И вот несут — глаза в тумане,
И в липкой глине сапоги.
А в левом боковом кармане
Страницы Тютчева в крови.

ЧУДЕСНАЯ ПАРА ИЗ КАФЕ «ЛЁ ПЕТИ БЕНУА»

(Н. Гончарова и М. Ларионов)

Год назад мне довелось беседовать с парижским журналистом Фредериком Поттешером, одна из книг которого недавно вышла в Москве в русском переводе. Он присутствовал на знаменитом процессе Кравченко в начале 49-го, делал там записи для французского радио. Так вот, я и спросил, какое впечатление произвели на него сам Кравченко и его русские свидетели из лагерей «перемещенных лиц». «Какое они могли произвести на меня впечатление? Никакого», — пожал плечами Фредерик Поттешер и, видя мое разочарование и даже обиду, стал объяснять горячо: «Понимаете,

я знал других русских! У меня у самого тогда жена была русская! Она мне говорила, что она вообще понять не может, что они говорят, эти свидетели. Это другой русский язык...»

— Ну да, конечно,— согласился я неохотно,— эти уже говорили на советском, и к тому же полуукраинском языке...

— Да нет, не в том дело,— горячился темпераментный Поттешер.— Эти русские, с которыми я тогда был знаком — Василий Сухомлин, Кандинский, Лебедев и эта чудесная пара из кафе «Лё пети Сэн-Бенуа», да вы их знаете — Гончарова и Ларионов, оба художники,— они для меня были воплощением русской души, всего, что я навоображал о России. А до знакомства с ними я ведь страну знал только по великим романам Толстого, Горькова, Тургенева, Гоголя, Достоевского, по их символам веры... Эта Гончарова — трогательное, поэтическое существо. А Ларионов! Это — полярный медведь, такой проказливый и такой нежный — как... как незабудка... Да, да, именно так. Если вы не верите, спросите у Татьяны Логин, она была ученицей Гончаровой.

Татьяна Логин, кто ж это? И тут я понял, что речь идет о художнице Татьяне Муравьевой-Логиновой, моей соседке по XIII округу Парижа: Она живет как раз на краю «чайнатауна». Когда-то, еще до войны, она познакомилась с Иваном Алексеевичем Буниным и Верой Николаевной, жила у них в Грасе, однажды на новогоднюю вечеринку переделалась корсиканцем и получила у Бунина домашнюю кличку Корси... Я позвонил ей в тот же самый вечер. Выяснилось, что она, как и Поттешер, познакомилась с этой легендарной парой в маленьком ресторане «Лё пети Сэн-Бенуа» на углу улицы Сэн-Бенуа, близ рю де Сэн и неподалеку от рю Жак-Калло, где они жили. Они первыми, еще в 1922 году, водворились в этом ресторанчике, пришли туда вслед за новыми его хозяевами, супругами Варё, испытывавшими к этим русским особую симпатию. За столиком у них происходили все встречи — с близкими друзьями, с новыми знакомыми и с импрессарио. Там бывали Аполлинер и Кандинский, Шагал, Дягилев, Пикассо, Леон Блюм, Сартр, Лё Корбюзье, Низан, Бретон, Андрэ Жид...

Татьяна Дмитриевна Логинова вспоминает, что эти супруги, завсегда в кафе, являли между собой разительный контраст: «Михаил Федорович громко смеял-

ся, шутил не переставая, заказывал какие-то необыкновенные блюда — его меня было, как он сам, необычным; а Наталья Сергеевна была приветлива, но сдержанна. Она время от времени останавливала мужа: «Миша, чуть тише». Она была статная, моложавая. «Без сносу девушка», — говорила она и заразительно смеялась. Одевалась просто, предпочитая темные тона, которые оттеняли цветной воротничок, шарф или брошка. Волосы гладко зачесаны, часто с платочком-повязкой... Держалась она с большим достоинством, и мадам Варе, хозяйка ресторана, с восхищением говорила: «Как хороша мадам Гончарова, сразу видно — гранд-дама и гранд-артист».

Мудрая парижская кабатчица не ошибалась. Наталья Сергеевна была из рода той самой Натальи Гончаровой, жены Пушкина, судьба которой до сих пор не оставляет спокойным ни одного русского — ее любят или ненавидят, проклинают, обожают, спорят о ней... Эта Гончарова была великая художница. Как и ее муж, который зачастую скромно отступал в сторону, предпочитая, чтоб хвалили жену. Оба они были предтечами абстрактной живописи, «пионерами беспредметности», если, конечно, не брать в учет народную живопись, картины литовца Чюрлёниса. Кандинский, Делоне и прочие — это всё было уже после них или одновременно с ними. Так, во всяком случае, считает Юрий Анненков, и я не возьмусь спорить с ним или с другим многомудрым законодателем живописной моды. Напомню только, что с 1909 по 1913 год, то есть еще до первой войны, Ларионов создал свое собственное направление — «лучизм». Ученица Гончаровой Татьяна Логин определяет «лучистую» картину как плоскость, на которую перенесены лучи, исходящие от предметов. Эти лучи-линии, пересекающиеся во всех направлениях и в разных ритмах, создают новую гармонию, причем предметы частично или совершенно исчезают. Уже в июне 1912 года Ларионов предал гласности в Москве свою теорию, еще через год вышел Манифест Лучизма, подписанный двенадцатью художниками. И если Ларионов был создателем лучизма, то Гончарова была его утвердительница, говорит Татьяна Логин. На выставках полотна Гончаровой занимают целые стены. Что касается абстракции вообще, то ее, по мнению Логин, в эти

годы искали в одиночку — кроме Ларионова, и Купка, и Делоне, и Сюрваж во Франции, Кандинский в Мюнхене.

Развивая тему о контрастах во внешнем поведении этой пары, Татьяна Логин вспоминает, что Наталья Сергеевна жила «затворницей», у нее была железная воля, она работала иногда сутками, не разгибая спины. А муж ее выходил, иногда искал для нее театральную работу, хотя и он тоже редко расставался с карандашом, без конца рисовал в ресторане на меню, на бумажной скатерти, на салфетках — тут же щедро раздавал рисунки, среди которых подчас были шедевры.

Несмотря на эту несхожесть, эти два художника никогда не расставались, с самого 1901 года, когда они встретились юными, двадцатилетними в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества. После этой встречи она сразу оставила скульптуру и занялась живописью — но и в живописи ее была, по мнению знатоков, скульптурность и даже отчасти монументальность, что могло идти и от отца-архитектора.

Они прожили вместе больше шестидесяти лет, создав множество полотен, эскизов, рисунков, книжных иллюстраций, театральных костюмов, театральных декораций для Дягилева, для Бэлы Рейн, для многих других. Но на свои заработки они не приобрели даже собственной квартиры в Париже — вообще никакой собственности, кроме скромного серого камня и места на кладбище «Иври паризьен», на котором упокоились один за другим в начале шестидесятых годов: ведь оба они были щедры, оба были бессребренники, оба считали, что ничто, кроме искусства, не имеет значения.

Гончаровой посвятила свою прозу Марина Цветаева (отсылаю вас к ее знаменитому очерку), им посвящали стихи Гумилев, Софья Прегель, другие. Гумилев в 17-м писал о них в Париже:

Восток и нежный и блестящий
в себе открыла Гончарова.
Величье жизни настоящей
у Ларионова сурово.

В себе открыла Гончарова
павлиньих красок бред и пенье.
У Ларионова сурово
железного огня круженье.

От Индии до Византии
кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —
не обновленная ль стихия?

Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
Не обновленная ль стихия —
снопы лучей и камней груды.

Кто видит сон Христа и Будды,
тот стал на сказочные тропы.
Снопы лучей и камней груды —
о, как хохочут рудокопы!

Вот так выглядят создания художников, увиденные глазами другого художника, у которого и краски, и фактура, и линия — все в словах. Я не очень верю в способность многих наукообразных, малопонятных, как правило, и полуиностранных слов передать впечатления от полотен, от костюмов Гончаровой к «Золотому петушку» у Дягилева и в театре «Ковент-Гарден». Этим декорациям бурно рукоплескали Париж, Лондон и, с опозданием почти на сорок лет, во время московских гастролей «Ковент-Гардена», никогда не забываемая этими эмигрантами-невозвращенцами Москва. К этому времени, к 60-м, имя русской художницы было прочно забыто в Москве, хотя его знали теперь повсюду в Европе.

У Цветаевой можно найти описание парижского ателье Гончаровой на улице Висконти. Осталось еще больше описаний их небольшой квартиры на рю Жак Калло, где они и замкнулись с приходом старости. Это была фантастическая квартира — катакомбы книг, лежащих горами до потолка, скопление папок, полотен, эскизов, горы рисунков. Вспоминают, что это сюда Ларионов сносил тысячи каких-то журнальных вырезок, которые, вероятно, были нужны ему для работы, для его выдумок. Он был к тому же еще и библиофил, знаток театральной книги, талантливый режиссер (дягилевский режиссер Леонид Масин называл себя учеником Ларионова, его сопостановщиком), гениальный организатор выставок — выставок лубка, иконы, декоративного театрального искусства; он был книжный иллюстратор и универсальный эрудит.

Мне вряд ли удастся рассказать в коротком эссе и о десятой доле их работ, их изобретений, их выставок, — приходится отсылать вас к французским

монографиям и сборникам воспоминаний, к русским статьям, к очерку Цветаевой...

«Гончарова и Ларионов,— писал после их смерти известный писатель и искусствовед Жан Кассу,— появились как последние герои какой-то легенды и остались легендарными... Благородство лица Гончаровой и взгляд Ларионова, излучавший нежность, навсегда останутся в памяти тех, кому доводилось подниматься по крутой лестнице и переступать порог их мастерской на рю Жак Калло... Они жили в наше время, но они были среди нас существами из другого мира, покрытыми золотой его патиной и хранящими в душе отзвук другой, той музыки... При огромной способности к обновлению были в них отзвуки того, весьма крупного прошлого...»

«Гончарова и Ларионов, тысячекратно заслуживши славу,— писал о них Фредерик Поттешер лет двадцать тому назад,— умерли чистыми, свободными, нищими. Завтра еще придет их слава».

Архимандрит Серафим, в ранней юности бывший их учеником-художником, другом и выкормышем, а позднее, когда стал священником, и их исповедником, писал: «Ныне они предстали перед Ликом Божиим, и их дивный облик — это облик чистых сердцем... Сам же я убежден, что они еще помогают мне в моей живописи, как, наверное, помогают и другим друзьям».

КАК ОНИ СОХРАНИЛИ РОССИЮ В ПОКОЛЕНИЯХ

(Русская гимназия)

Недавно, в пору школьных каникул, мы сидели как-то дома у моего приятеля, сравнительно недавнего русского эмигранта из третьей волны и, в ожидании русского ужина, обещанного его женой, беседовали, точнее, пытались беседовать. Я даже не сразу понял, отчего разговор у нас не клеится, а потом осознал, что это выстрелы и истошные крики каких-то очередных жертв телевизионного террора мешают нам спокойно

и обстоятельно разрешить вечно насущный вопрос — куда же все-таки идет Россия. Я уже хотел выключить настырный ящик, но тут увидел утопающего в кресле девятилетнего сынишку приятеля, который ловил свой пацанский кайф, впившись глазами в экран. Приятель мой покачал головой сокрушенно: нет, выключать телевизор было нельзя. Мы попробовали заинтересоваться фильмом, но оба ничего не поняли: какие-то два негодяя сговаривались там о чем-то на своей заморской фэне. Мы попросили сынишку приятеля перевести нам на русский, но он, начав со слова «если», повторил несколько раз «да-да-да» и затих. Я понял, что с русским у него дело швах, и мне стало совестно перед приятелем, что я его огорчаю. А ему стало совестно передо мной: и за то, что пацан уже позабыл русский язык, и за то, что мы с ним не понимаем эту глубоко содержательную телепередачу — и вообще... Обоим нам стало грустно, потому что мы заметили, как малолетка со своим креслом и телевизором все дальше и дальше удаляется от нас, и от нашего русского трепа, и от наших русских проблем... Пришла жена приятеля, сказала бодро, что будут щи и голубцы, мы радостно встали, но пацан не двинулся с места, и мать объяснила, что он не ест этой нашей варварской пищи, а жуёт сухие, как стружка, чипсы из пакетика — и вполне доволен. Вот если бы повести его на угол в «Макдональдс», то там он бы, может что-нибудь съел, хотя непонятно, конечно, как там можно вообще есть...

На обратном пути домой я думал о наших детях, с которыми скоро и вовсе невозможно будет договориться. И еще я думал о первой русской эмиграции — о подвиге этих людей, который не только ухитрились выжить, но и сумели в этой потерянности, в этой бедности вырастить хороших детей, дать им образование и вдобавок сохранить у них в душе, в памяти, на языке — Россию. А ведь ситуация была у них отчаянная. Многие десятки тысяч, вероятно, больше ста тысяч, нагрянули сюда, в Париж и во Францию — люди, изможденные шоком войны и потерями. И при них дети, испуганные, захиревшие дети. Надо было поправить их здоровье, надо было их скорее учить. А были еще, кроме детей, молодые солдаты, юнкера, офицеры, те, что не успели получить образование в России, что ушли на фронт со школьной парты...

И вот общественность «Беженской Руси» с большой

ответственностью и самоотверженностью берется в первые же годы изгнания за дело просвещения молодых поколений. Мне попался как-то в руки отчет о положении русской школы за рубежом, составленный Земгором, Российским земско-городским комитетом помощи российским гражданам за границей. И вот во вступлении к этому отчету (написан он был Рудневым, тем самым, из «Современных записок») сказано так: «Высокий процент интеллигенции способствует особому развитию самодеятельности беженства в области культурных начинаний». И дальше, обратите внимание дальше: «Перспектива более длительного пребывания на чужбине ставила перед беженством в области просвещения во весь рост две неотложные задачи: спасти десятки тысяч русских детей от неизбежной денационализации, обеспечив им школу на родном языке и воспитание в духе русской национальной традиции; дать возможность почти пятнадцати тысячам выброшенных из колеи русских студентов закончить высшее образование».

На счастье, и профессоров, учителей-подвижников, и энтузиастов в эмиграции было в достатке — они готовы были к выполнению этой грандиозной задачи, к которой подходили с такой серьезностью. Для выполнения ее, однако, нужны были средства. Французское правительство (у нас ведь речь идет только о Франции) в 1923 году израсходовало на цели русского образования 800 000 франков. Во-первых, оно оплачивало русских лекторов, которые преподавали русские предметы детям, обучающимся во французских лицеях, — таких лицеев в Париже было в то время четыре. Во-вторых, оно оплачивало русских профессоров, читавших при Сорбонне университетские курсы на русском языке. Правительство учредило около двух сотен стипендий для русских студентов в высших учебных заведениях. И наконец, оно давало субсидии на русскую среднюю школу, знаменитую среди эмигрантских семей русскую гимназию. Французское правительство и муниципалитет давали этой школе примерно три тысячи франков в месяц, остальное добавляли Земгор, филантропы-благотворители и благотворительницы, без которых в эмиграции, да, пожалуй, и в дореволюционной России тоже ни одно доброе дело не делалось. Ведь надо было для начала купить помещение, мебель, оборудование. Инициатором всего выступила сестра

бывшего русского посла в Париже Мария Васильевна Маклакова. А первой благотворительницей — принцесса Монакская Антуанетта. Как видите, количество добрых дел, которое может сделать правитель, никак не пропорционально размерам его государства.

Недавно за чайным столом у дочери знаменитого русского писателя Бориса Зайцева Натальи Борисовны мы вдруг выяснили в застольной неторопливой беседе, что муж Натальи Борисовны Андрей Владимирович Соллогуб был выпускник русской гимназии — самого ее первого выпуска.

— Как же! Как же! — воскликнул Андрей Владимирович. — Отлично помню, как принцесса к нам приезжала в гимназию. Выбрали двух мальчиков, чтобы ее приветствовать, меня и моего приятеля, и сказали, что надо ручку поцеловать у принцессы, даже если она будет в перчатках, все равно положено поцеловать...

Андрей Владимирович рассказывает, что принцесса пожертвовала деньги, а на них был построен в саду длинный барак, и в нем гимназисты завтракали. Немущим на завтраки и на учебники деньги выделял Земгор, и в отчете Земгора отмечается, что если в 1920 году лишь 20% родителей не могли вносить плату за обучение, то к 1923 году таких было уже 70%. «Совершенно очевидно, — говорится в отчете Земгора, — что не может быть самокупающейся русская школа во Франции, где большинство русской эмиграции хотя по своему прошлому и принадлежат к русской интеллигенции, — но в настоящее время являются простыми рабочими на фабриках и заводах, в мастерских и торговых». В отчете говорится также, что горячий завтрак в школе стоит 2 франка 25 сантимов, но это, к сожалению, не всем доступно.

Андрей Владимирович Соллогуб рассказал мне, что было их в первом выпуске гимназии всего восемь человек, из них только две девочки, а мальчики делились пополам: половина — ученики школьного возраста, а вторая половина — уже служившие в Белой армии молодые люди (среди них были два литератора — Смоленский и Одарченко). Андрей Владимирович вспоминает добрым словом директора гимназии Недачина и любимого их преподавателя Павла Павловича Гронского, в прошлом преподавателя Петербургского университета. В свободные от занятий дни — по четвергам — Павел Павлович приглашал

учеников к себе в Медон, они все вместе гуляли по медонскому лесу, беседовали. Павел Павлович преподавал в гимназии историю.

Впоследствии школьный особняк в саду на улице доктора Бланш стал тесен, и на этот раз помощь школе пришла от дочери миллионера Лидии Детердинг. Она купила для русской гимназии дом близ Булонского леса на бульваре Отёй. К тридцатому году около шестидесяти человек стали получать здесь ежегодно аттестаты, которые давали право на поступление в высшие учебные заведения Франции.

Было в Париже и несколько высших учебных заведений для русских. Например, Франко-русский институт, Высшая школа социальных, политических и юридических наук, в которой председателем совета профессоров был Павел Николаевич Милюков, видный историк, лидер кадетской партии и бывший министр иностранных дел Временного правительства. Здесь преподавали крупные профессорские силы Петербурга, Москвы, Берлина, Праги. Любопытно, что в официальном отчете, формулирующем задачи этого учебного заведения, говорилось, что оно «ставит задачей подготовку юношества к общественной деятельности на родине».

Существовали также Коммерческий институт Земгора, замечательный Русский народный университет, где русский язык преподавал известный пушкинист Гофман, а историю — профессор Одинец, где были отделение профессиональных знаний, техническое отделение, музыкальная школа, курс общедоступных знаний, техническое отделение, музыкальная школа, курс общедоступных лекций по русской культуре. Была в Париже русская консерватория, руководимая композитором Черепниним, были заочный Политехнический институт и знаменитый Богословский институт на Сергиевском подворье, о котором речь у нас пойдет особо. Комитет помощи русским учащимся за границей (его называли федоровским по имени М. Федорова) в 30-е годы давал до 300—400 стипендий. Были русские детские дома для осиротевших детей, приюты, интернаты. На все это собирали деньги русские общественники, неутомимые, самоотверженные люди. Не последнюю роль в сборе средств играли благотворительные концерты. Андрей Владимирович Соллогуб вспоминает один из таких концертов в пользу их гим-

назии — пел знаменитый в эмиграции хор Жарова, а потом знаменитейшая эмигрантская исполнительница народных песен Надежда Плевицкая (в то время она еще, вероятно, не была агентом ГПУ).

Русские эмигрантские дети, получив хорошее образование, работали потом в промышленности, в торговле, в науке, в кинематографе. Выпускник школы Андрей Владимирович Соллогуб, например, был директором крупного банка.

Русские дети, которые учились во французских гимназиях, по воскресеньям и четвергам посещали особые русские курсы по истории русской литературы, по географии и истории России, а также Закону Божьему. В отчете Земгора говорится, что курсы эти имели большое значение для борьбы в опасность денационализации русских детей...

Помню, я уходил как-то от Соллогуба и подошел попрощаться внук Андрея Владимировича. Он говорил со мной по-русски, и я с тоской вспомнил при этом мой недавний визит к приятелю, новому эмигранту. Да и про свою доченьку вспомнил тоже — чего греха таить... Это настоящий подвиг — сохранить и передать детям в иноязычной среде свой язык, культуру, традиции... Поверьте — очень трудно. Ведь и Василий Андреич Жуковский, который, готовя немецких принцесс к должности русских императриц, скольким иностранкам русский язык преподавал, а в поздние годы живя в Германии, своих собственных детей так русскому языку обучить и не сумел.

АГЕНТ ГПУ ПОЕТ О РОССИИ

(Надежда Плевицкая)

Если исполнительница народных песен Надежда Плевицкая и не была самой крупной из звезд русского искусства в Париже (не будем забывать, что в межвоенные годы здесь были две первые русские труппы, балет, драма и квартет Кедровых, что здесь блистал Шаляпин), все же это была певица очень известная в эмиграции и настоящая любимица публики. Ее тро-

гательное пение, ее традиционная «душевность» заставляли плакать эмигрантскую аудиторию, особенно когда пела она свою, эмигрантскую песню:

Занесло тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой,
И холодные ветры степные
Панихиды поют над тобой.

Зарубежные рецензенты не жалели эпитетов, когда писали о Плевицкой, да и советские авторы очень рано, уже добрых двадцать лет назад, извлекли ее имя из эмигрантского забвения. Музыковед Нестьев писал, например, что Надежда Плевицкая принадлежит к «классическому наследию русской эстрады». К московскому изданию книги Нестьева в серии «Звезды русской эстрады» были приложены выдержки из двух биографических книжек Плевицкой, вышедших в Париже. Советский искусствовед отмечал, в частности, что «не было личности более романтической, почти легендарной, чем Надежда Васильевна Плевицкая»...

Несмотря на нелады со стилем, эти эпитеты могут быть признаны или точными или сомнительными. Все зависит от того, как вы, читатель, относитесь к романтической профессии террориста или чекиста, к кровавым тайнам знаменитой певицы, кончившей жизнь в тюрьме, к ее мирным и ее фронтовым романам. На мой взгляд, Плевицкая интересна прежде всего как представительница той части эмиграции, которая, утратив в перипетиях войн и революций моральную устойчивость, явила собой идеальную среду для самых разнообразных авантюр, интриг и преступлений.

Всех, кто интересуется детством и карьерой Надежды Плевицкой, можно отослать к ее мемуарам, отрывки из которых вы найдете в книге Нестьева. Первая из этих книг была написана для певицы довольно известным молодым писателем, берлинским приятелем Владимира Набокова Иваном Лукашом, предисловие к ней писал Ремизов, издал книги Рахманинов, а деньги на издание дал Плевицкой ее таинственный друг Марк Эйтингтон (а может, он Этингтон). Таинственными были связи Плевицкой с этим очень богатым человеком, учеником Фрейда, ученым, коммерсантом, другом принцессы Марии Бонопарт и мужем бывшей актрисы МХАТ. Эмигрантские журналы и посегодня, между прочим, спорят о том, был ли Эйтингтон—

Этингон агентом ГПУ, был ли он любовником Плевицкой или просто был бескорыстным меценатом, обожавшим эту неотразимую песню «Занесло тебя снегом, Россия...»

Итак, родилась Плевицкая в Курской губернии — двенадцатый ребенок в семье небогатого крестьянина, последыш. Мать отдала маленькую Дёжку в женский монастырь, на шестнадцатом году Дёжка из монастыря сбежала: хотела поступить в бродячий цирк, потом уехала в Киев и начала петь в хоре. Выступала в кафе-шантане «Аркадия», в киевском «Шато-де-Флёр», наконец, в ресторане на Крестовском острове в Петербурге, где пела в труппе бывшего оперного певца, у которого многому научилась. Пела она и в московском «Яре», да так пела, что плакали в зале и хмельные и трезвые (если случались такие). Пела на Нижегородской ярмарке, где ее заметил Собинов. И вот уже в Ялте замечена была министром Двора бароном Фредериксом, так что чуть позднее пела в гостиной Царско-сельского дворца, перед самим императором. Все ее благославляли на счастливый путь — и Николай II, и Федор Иванович Шаляпин. Все чаще она пела во дворцах и там нашла себе жениха — блестящего великосветского офицера, поручика Шангина, который в 1915 году погиб на фронте. В бурные годы Плевицкая пела перед военным министром царского правительства, потом перед красными бойцами и лично перед всевластным товарищем Шульгой в Одессе. Потом снова оказалась среди белых и вышла замуж за штабс-капитана Левицкого. Чуть позднее влюбилась во временно замещавшего командира знаменитой Корниловской дивизии Пашкевича, вскоре тоже погибшего. Уйдя в изгнание вместе с корниловцами, она вышла замуж за нового командира корниловцев, молодого (на девять лет ее моложе) генерала Скоблина, прославленного героя войны. Посаженным отцом на их свадьбе был другой герой Белой армии — генерал Кутепов.

Для русской армии началась эмигрантская жизнь. Разоруженная армия была преобразована в Русский Общевоинский Союз — РОВС. Оставались воинские порядки, дисциплина, монархические идеи, а на жизнь и солдаты, и полковники зарабатывали за баранкой такси, а то и у станка на заводе Рено. Три тысячи офицеров сели в Париже за баранку такси. Генералу Скоблину, впрочем, не пришлось самому работать —

он сопровождал свою властную жену на гастролях по всему свету, командовал в мирной жизни корниловцами, а также помогал своему бывшему военачальнику Кутепову, который после смерти генерала Врангеля встал во главе всей армии, всего РОВСа, общевойскового союза.

РОВС был организацией монархической. Местоблюстителем царского престола за рубежом объявил себя в то время великий князь Кирилл Владимирович, который и был провозглашен в эмиграции Императором Всероссийским. Однако большинство монархистов, в том числе и весь РОВС, не простив великому князю Кириллу красный бант на его груди в 1917 году, обратились к услугам великого князя Николая Николаевича, жившего на своей вилле в Антибе. Генерал Кутепов, возглавлявший практически всю монархическую эмиграцию, решил обратиться к активной подпольной борьбе против большевизма под руководством великого князя. Врангель не одобрил в свое время этого решения: где подполье, там провокаторы — в этом всякий мог убедиться на примере Азефа и эсеров. И Врангель оказался прав. История подпольной борьбы РОВСа — история совершенно фантастическая, и когда читаешь об этом, создается впечатление, что не только вся эта организация была инфильтрована агентами ОГПУ, но и все инициативы ее боевых операций исходили из Москвы, откуда-то с Лубянской площади. И всегда близ главы РОВСа Кутепова (а потом и Миллера) был, конечно, генерал Скоблин, славный командир корниловцев, герой Белого движения, которому Кутепов доверял безоглядно, несмотря на многие предупреждения, доказательства, тяжбы. Впрочем, разобраться в этих тяжбах было не так легко, ибо в РОВСе, как и во всех эмигрантских организациях, кипели интриги, борьба за власть. Скоблина за глаза называли иногда в злоязычной эмиграции «генералом Плевицким», считая, что он находится по каблуком у своей знаменитой жены.

История организации «Трест» известна советской читающей публике по множеству детективных произведений. Это была великолепно проведенная операция чекистов, на удочку которых попались и сам Кутепов, и прославленный террорист, бывший военный министр Борис Савинков, и хитроумный Шульгин, съездивший по приглашению ГПУ в Россию и написавший нужную органам и ими инспирированную книгу.

В начале 1930 года генерал Кутепов был схвачен на улице в самом центре Парижа и увезен в неизвестном направлении. Некоторые из похитителей Кутепова были скорее всего уже тогда известны французским властям, которые, вероятно, не хотели поднимать шум и ссориться с великой державой. Советская печать, которая извещала время от времени о крупных успехах разведчиков, внесла ясность в это темное дело. 22 сентября 1965 года газета «Красная звезда» писала о заслугах комиссара 2-го ранга государственной безопасности Сергея Васильевича Пузицкого, который «блестяще провел операцию по аресту Кутепова...» Так что здесь тайны нет. Но какова была роль, которую играли в этом похищении Надежда Плевицкая и ее муж Скоблин? Вот где тайна... Что касается Плевицкой, то замечено было: с этого дня она стала частой гостьей у вдовы Кутепова, которой приходила посочувствовать.

Преемником Кутепова в Общевоинском союзе стал его заместитель по РОВС генерал Миллер. Он тоже доверял Скоблину и пренебрегал всеми доказательствами и аргументами, бросающими тень на героя-корниловца. А в сентябре 1937 года был похищен в Париже и генерал Миллер. Отправляясь на свидание с какими-то агентами, он оставил такое письмо своему заместителю: «Свидание устроено по инициативе Скоблина. Может быть, это ловушка, на всякий случай оставляю эту записку». Заместитель Миллера повел себя странно — о записке он вспомнил не сразу после исчезновения Миллера, а привез Скоблина ночью к себе в бюро, дал ему выйти первым и убежать. Плевицкая убежать не успела. Она клялась Христом-Богом, что ничего не знает, и все же она была арестована. Был арестован также богатый архив Скоблина и Плевицкой, из которого стало ясно, какую огромную роль играла эта «фам фаталь» во всех подпольных интригах зарубежья, а также в агентурной игре. Французский исследователь проанализировал алиби, которое супруги тщательно приготовили себя на день похищения Миллера, и нашел в нем двухчасовой пробел. Это и было время похищения Миллера. Как раз в эти часы полицейский комиссар Шовино заметил, что матросы советского судна «Мария Ульянова» в Гавре внесли на борт судна огромный, только что привезенный на грузовике ящик, и теплоход немедленно

ушел. Шовино, поднявший тревогу, был отстранен от дознания. Французы не хотели портить отношения с великой державой. Эксперты обнаружили, что Скоблин и Плевицкая тратили намного больше, чем Плевицкая зарабатывала концертами. Кто давал деньги?

Состоялся шумный процесс. Знаменитый мэтр Риббе, обвинявший Плевицкую, назвал злым гением Скоблина. Плевицкая была осуждена на двадцать лет каторжных работ, Скоблин — приговорен заочно к пожизненной каторге. Однако Скоблина больше никто не видел — где-то он был в это время?

Плевицкая расплатилась за мужа, за всех — за множество своих сотрудников, да и за сильно досадивших французам русских террористов заодно. Некоторые из сотрудников Скоблина, возможно, даже выступали на процессе в качестве свидетелей. Одни из них потом мирно доживали свой век в США под чужими именами. Судьба других сложилась, может быть, еще трагичнее, чем судьба Плевицкой. Вряд ли выжили те, кто бежал к щедрым хозяевам из ГПУ.

В своих записках «Тридцать лет в Сюртэ Насьональ», то бишь во французской госбезопасности, комиссар Белэн рассказывает, как в мае 1940 года его разыскал бородатый русский поп, духовник Плевицкой, сидевший в каторжной тюрьме в Ренне. Плевицкая желала исповедаться перед смертью французскому комиссару. Комиссар поехал в Ренн. Снова клянясь Христом-Богом, Плевицкая рассказала комиссару, что муж ее действительно отвез Миллера в тот день на какую-то виллу Сэн-Клу, где тому сделали укол... Собственно, это было запоздавшее признание. Теперь надо было выяснить подробности, все проверить, найти ее сообщников, но 10 мая 1940 года Франции было не до Плевицкой и русского генерала. Немецкие войска уже шли по ее полям... 5 октября того же года некоторые французские газеты сухо известили о смерти в центральной тюрьме Ренна этой «романтической и легендарной», по словам советского музыковеда, исполнительницы русских народных песен, героини нашумевшего процесса.

А вот недавно автор приложения к газете «Известия» сообщил, ссылаясь на архивы госбезопасности, что действительно Скоблин и его жена были завербованы ГПУ еще в начале тридцатых годов, регулярно получали жалованье в долларах (на их месячный оклад

можно было бы, наверное, целую украинскую деревню от голода спасти, но кому это нужно было?) и имели кодовые клички Фермер и Фермерша.

Судебные репортажи о процессе Плевицкой печатали перед войной все парижские газеты, за ними внимательно следил знаменитый эмигрантский писатель Сирин-Набоков, и первый его американский рассказ, написанный года через три-четыре, довольно точно передает всю историю шпионской пары. Любопытно, что в рассказе у Набокова движущей силой семейного шпионского предприятия является неукротимое тщеславие генерала Скоблина, и эта гипотеза писателя довольно близка к тому, что говорила Плевицкая в предсмертном признании комиссару Белэну.

В целом же это история, если и не романтическая, как утверждает советский музыковед, то все же довольно типичная для той атмосферы шпионажа, страха, взаимной подозрительности и при этом какой-то восторженной доверчивости, которые царили в предвоенном эмигрантском Париже. Есть тут еще одна деталь — деньги. Все эти сложные, хлопотные и отнюдь не невинные услуги эмигранты оказывали своим высокопрофессиональным клиентам не бесплатно. Деньги им были нужны. Одни, как опустившийся наследник купца Третьякова, спились и впали в нужду. Другие, как Плевицкая, привыкли жить на широкую ногу... А шпионаж и атмосфера взаимных подозрений в эмиграции — дело обычное. Еще Герцен писал, что «шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях — их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом».

«ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ...»

(Мать Мария)

Имя поэтессы Скобцовой (в первом браке Кузьминой-Караваевой), принявшей в монашестве имя Мария, — одно из самых славных и самых героических имен Первой русской эмиграции. До второй мировой войны она известна была как поэтесса, как автор очер-

ков и философских статей, как участница собраний у Фондаминского, как человек близкий к молодежному христианскому движению, а в последние годы перед войной как вдохновительница «Православного дела». В войну же она прославилась бесстрашием и самоотверженностью, подлинно христианским своим поведением в лагере и мученическим концом. Не останавливаясь на поэзии и статьях матери Марии, хотелось бы рассказать хоть вкратце о ее служении ближнему.

Надо отметить что одним из самых популярных движений среди эмигрантской молодежи было Христианское движение, или, точнее, Русское христианское студенческое движение, начало которого относится еще к 1921 году и устав которого был принят в 1927 году съездом в Клермоне. Позднее в Движении наметился раскол. Представители старшего поколения в нем, такие как Карташов и Бердяев, преодолевая традиционалистские тенденции среди молодежи, призывали к творческому церковному действию, к участию в посылно правильном социальном устройении. Так наметилось «левое» крыло Движения. Традиционалисты и правые обвиняли левых в социалистических симпатиях, а также хотели отмежеваться от ИМКИ, международной ассоциации молодежных христиан, оказывавшей русской молодежи большую помощь. Правые даже заставляли руководителя ИМКИ оправдываться перед ними, объяснять, что он не имеет ни связи с масонами, ни прочих смертельных грехов. В конце концов, те из участников Движения, которые наиболее остро чувствовали долг совести христианина перед несправедливостями социального устройства, основали свою, независимую от Движения организацию — «Православное дело». Его вдохновительницей была мать Мария. Приняв монашеский постриг, она решила остаться в миру и помогать обездоленным.

Для начала она сняла особняк в переулке близ Монпарнаса и устроила там дешевое русское общежитие, а при нем церковь, где проходили молебны и беседы. Через два года из этого не вмещавшего всех бездомных общежития пришлось перебраться в большой дом на улицу Лурмель. В то время в городе все больше появлялось русских безработных, и мать Мария устроила при общежитии дешевую столовую. Обед стоил там полтора франка — цена ничтожная, и сохранять такую цену можно было только не щадя себя. Мать

Мария с тележкой, иногда с двумя и с помощниками своими, безработными русскими бедолагами, отправлялась на центральный парижский рынок, тот самый, что называли чревом Парижа. Там уже знали эту круглолицую русскую монахиню в очках. Не то знали, что эта поэтесса, интеллектуалка, что она пишет много мудрые эссе... А то, что она монахиня, что она русская и что просит она для голодных. Торговцы отдавали ей к концу базара овощи и фрукты, которые, если их не продашь за утро, все равно выкидывать: обратно возить нет смысла. Нагруженная продуктами мать Мария добиралась до кухни... На чердаке ее дома создана была ночлежка для бедных, а в гараже была церковь. Замечательные там служили священники — отец Лев Жилле, отец Валентин Бакст... В нижнем этаже дома бывали собрания, там читали лекции, проходили литературные вечера. При общежитии были курсы псаломщиков. «Православное дело» устраивало школы, занималось организацией Дома отдыха для русских, выздоравливающих от туберкулеза.

У митрополита Евлогия, возглавлявшего западноевропейскую православную церковь, были к матери Марии свои претензии. Оттого, может, интересно выслушать именно его рассказ:

«Мать Мария в миру поэтесса, журналистка, в прошлом член партии эсеров. Необычная энергия, свободлюбивая широта взглядов, дар инициативы и властность — характерные черты ее натуры. Ни левых политических симпатий, ни демагогической склонности влиять на людей она в монашестве не изжила. Собрания, речи, диспуты, свободное общение с толпой — стихия, в которую она чувствует потребность хоть изредка погружаться, чтоб не увянуть душой в суетной и ответственной административной работе по руководству «Православным делом». Мать Мария приняла постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно. Приняв монашество, она принесла Христу все свои дарования. В числе их — подлинный дар Божий — умение подойти к сбившимся с пути, опустившимся, спившимся людям, не гнушаясь их слабостей и недостатков. Как бы человек ни опустился, он этим мать Марию от себя не отталкивает. Она умеет говорить с такими людьми, искренне их жалеет, любит, становится для них «своим» человеком: она терпит их радостно, без вздохов и укоризны, силится их понять,

но умело, то есть не подчеркивая уровня, с которого они ниспали... сколько душевных трагедий ей поверено! Мать Мария своим подопечным — помощник, советчик и друг. Она заботится не только о ночлеге и пропитании, но и о том, чтоб работу найти, и чтобы с полицией дело уладить... и чтобы визы выхлопотать... Но в матери Марии... все еще бродят старые партийные дрожжи... В «Христианском движении» она активно боролась против националистической идеологии...»

Так говорил митрополит Евлогий. Писатель Владимир Варшавский рассматривает «Православное дело» в перспективе мистического служения «ордена русской интеллигенции». Он приводит слова матери Марии «Всякий возлюбящий мир, всякий отдающий душу свою за других, всякий, готовый ценою отлучения от Христа добиться спасения братьев своих, есть ученик и последователь Христов». С этой точки зрения смотрели на служение Христу и Станкевич, и Герцен, и Белинский. Мочульский писал в сборнике «Православное дело», что все направления русской мысли были явлениями христианского духа. «Если Дух Святой есть любовь к ближнему и милосердие, жажда правды и справедливости, то, верим мы, русская мысль никогда не была виновна в хуле на Духа. Русская интеллигенция, аскетическая и жертвенная, и уйдя от Христа, служила делу Его».

Деятелям «Православного дела» пришлось позднее жизнью своей и кровью доказывать серьезность этого служения. Во время немецкой оккупации мать Мария и ее помощники стали помогать тем, кому в Париже пришлось хуже всего: они прятали у себя евреев. То, что совершали в войну фашисты, мать Мария считала смертным грехом: «Вот это у них, есть тот грех, который, по словам Христа, никогда не простится — отрицание Духа Святого».

В начале февраля 1943 года на улицу Лурмель приехали фашисты во главе с гестаповцем Гофманом. Мать Мария, ее несовершеннолетний сын Юра и ее сотрудники отец Дмитрий Клепинин, Висковский, Пьянов и Казачкин были арестованы.

Вот как рассказывает об аресте присутствовавшая при этом престарелая матушка Кузьминой-Караваевой:

«Приехал Гофман, как всегда с немецким офице-

ром. Долго допрашивал мать Марию, потом позвал меня, а ей приказал собираться (сначала ее обыскивал), потом начал кричать на меня: «Вы дурно воспитали свою дочь, она только жидам помогает!» Я ответила, что это неправда, что для нее «нет эллина и иудея», а есть человек. Что она туберкулезным и сумасшедшим и всяким несчастным помогала. «Если бы вы попали бы в какую беду, она и вам помогла бы». Я знаю много случаев, когда мать Мария помогала людям, причинившим ей зло... На другой день приехал Гофман и сказан: «Вы больше никогда не увидите вашу дочь». Как я узнала от некоторых из бывших с нею в лагерях и в Равенсбруке, мать Мария утешала и чем могла помогала многим...»

В Равенсбруке шла молва об этой удивительной женщине... Она с достоинством переносила все издевательства, говорила, что видит в судьбе свое благословение свыше. 31 марта 1945 года мать Мария была отправлена в печь крематория. Героически погибли в лагере ее юный сын и священник отец Дмитрий Клепинин. В тех же лагерях погибли другие ее сотрудники и ее друг Фондаминский.

Осталось много воспоминаний тех, кто видел ее в лагере. Оставались записи ее последних стихов:

Ослепшие, как много вас!
Прозревшие, как вас осталось мало!

Один из уцелевших сотрудников «Православного дела» предваряет свои воспоминания о погибших соратниках словами из Евангелия:

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее!»

«НИЧЕГО НЕ ВОЗЬМЕТ: НИ ДЕКРЕТ, НИ ШТЫК»

(Кн. С. М. Волконский)

Князь Сергей Михайлович Волконский был одним из самых удивительных людей Первой эмиграции. И притом трудно даже сказать, в чем было его главное профессиональное достижение или главное, чисто человеческое отличие и достоинство. В несравненном ли знании театра, в тонкости вкуса, в благородстве — всяком благородстве — происхождения, характера, деятельности, стиля, в его благодушии и беззлобности? В умении мыслить, прощать, возвышаться над бытом в сферы духа?

До эмиграции, на родине он был помещиком, он был придворным, был директором Императорских театров, а потом лектором и преподавателем ритмики в «Пролеткульте» — с 1918 до 1921 года. В эмиграции он преподавал в парижской русской консерватории дикцию, ритмику и другие предметы. Он, как я уже упомянул, был великий знаток театра. В эмиграции на шестом десятке лет он начал писать — и стал прекрасным писателем. Редким писателем. Вот как говорил Михаил Осоргин о его книге «Быт и бытие»: «Русской изящной литературе еще так мало знакома эта прогулка по краю кратера мысли, — по высотам, с которых — за голубой дымкой дали — еще не исчез быт, а в бездонности вулкана еще не вскрыто бытие...»

Книга его была посвящена Марине Цветаевой, которая еще в Москве уговаривала Волконского вести дневники и писать, вдохновляла его, и в предисловии, обращенном к Марине, Волконский так вспоминает о тех двух пореволюционных годах, когда они виделись в Москве:

«...мы жили *тогда*, мы жили *там*. И страшно было жить, но и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышат женщины-расстрельщицы?.. этот маленький четырнадцатилетний палач, который на площадке лестницы с револьвером поджидал проходящих осужденных и выстрелом в затылок спускал их вниз по ступеням?.. А помните нахальство в папаше, врывающееся

в квартиру?.. Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность «товарищеского» обхождения?.. А помните, когда вошел к Вам грабитель и ужаснулся перед бедностью, в которой вы живете? Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы *взять*, а перед уходом захотел *дать*. Его приход был быт, а уход бытие...»

За десять лет до выхода книги «Быт и бытие», еще в Праге, прочитав книгу князя Волконского «Родина», Марина Цветаева написала о ней очерк, в подзаголовке которого стояла «апология». В этой книге Волконского — очерк его жизни, и в ней уже чувствуется то самое умение подняться над бытом и прощать, которым отмечены и другие его книги. «Через все это,— пишет Цветаева, вспоминая пореволюционные годы — (заполните мысленно пролет от 1860 до 1922 года и не забудьте, что перед вами не обывательская жизнь, а жизнь человека, от рождения поставленного высоко,— чем выше пьедестал, тем шире кругозор!) — и вот через всю эту вражду: князей — к писателю, писателя — к князю, эсеров — к помещику, помещиков к «вольнодумцу», через эти миллионы вражд количества к качеству, ничтожества — к личности — что встает, что пребывает? *Неутомимость любви*».

Цветаева пишет, что книга князя Волконского — «древо высочайшей человечности... Страсть к высотам... ее главенствующая страсть».

Этот человек, ненавидящий официальность и все официальное, два года пробыл директором Театров — на петербургской ярмарке тщеславия и бюрократизма. Цветаеву пленяют дворцовые впечатления князя. Вот придворный ужин. И вдруг, уставшая от условностей придворная молодежь, неожиданно одобренная государем, начинает за столом перебрасываться хлебными шариками. И страшные предчувствия, как буквы на стене на пиру Валтасара, возникают в сознании князя: «Никогда на этих общественных придворных верхах,— пишет он,— чувство беззаботности не заражало меня и никогда чувство жути меня не покидало. *Мой шарик не летел...* И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда сплетались в сознании и беззаботность, и жуткость, и цветы, и корни, и хлебные шарики, и бомбы. И всегда я ощущал, что «сферы» не для меня».

Напомним, что князь Сергей Михайлович Волконский назван был Сергеем в честь своего знаменитого деда-декабриста. О нем и о его жене (Марии Волконской, героине поэмы Некрасова) Сергей Михайлович написал книгу, построенную на семейных преданиях.

Между прочим, директорство и придворная жизнь князя кончились благодаря счастливому внешнему вмешательству довольно скоро. Балерина Кшесинская, в то время любимица Великого Князя Сергея, отказалась в балете надеть фижмы. Директор наложил штраф, Кшесинская пожаловалась Государю, Государь приказал штраф снять, и директор подал в отставку. О фижмах, этих стальных обручах, которые в XVIII веке надевались под платье для придания ему большой пышности, позднее, освобожденный не только от должности, но уже и от имений своих и владений, Волконский писал так: «Фижмы, это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид, нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может...»

После всех актерских на него жалоб, артистических интриг, сплетен, после крушения своей административно-театральной карьеры князь Волконский с прежней нежностью и восторгом пишет об актерах и о лаврах (так и назвал он главу в книге воспоминаний). Эту удивительную незлобивость и верность старой любви отмечал у Волконского еще за год до Цветаевой писатель Марк Алданов. Великий эрудит Алданов писал, что Волконский «бесспорно лучший знаток театра и лучший писатель о театре». «Из всех кого мне доводилось читать», — добавляет Алданов, сам великий книголюб. Алданов с удивлением отмечает, как много видел этот человек на своем веку: с ним разговаривал Достоевский, Тютчев читал при нем свои стихи, он сам давал советы Сальвини, знал Дузэ и Сару Бернар, знаком был со всеми знаменитостями русской сцены.

Потом ему, как и многим интеллигентам, как всем аристократам, да и вообще — как всему русскому населению, выпали тяжкие годы. Но он, снова с удивлением отмечает Алданов, ни на кого не сердится. А ведь он в Москве 1919 года три дня ходил по городу босой, пока знакомый не подарил ему башмаков. А его фамильные бумаги и архив деда-декабриста были конфискованы, а в официальном отчете делегата Комиссии охраны памятников (отметьте, пожалуйста, титул

комиссии) значится, что «отобранные в доме Волконского бумаги израсходованы в уборной уездной Чрезвычайной Комиссии». И вот Алданов констатирует тот факт, что Волконский пишет об этом чрезвычайно хладнокровно и незлобиво. При этом эрудит Алданов тут же вспоминает, что именно таким был в старости его знаменитый дед-декабрист. Сам человек довольно-таки незлобивый, Алданов все же читает эти страницы Волконского с удивлением. Да, такое не слишком часто встречалось в эмигрантской, весьма, если так можно выразиться, боевитой мемуаристике.

Но настоящему анализу ощущения князя Волконского-эмигранта подвергает все же не Алданов, а друг князя Марина Цветаева. По ее мнению, главная идея Волконского в том, «что у большого ничего не возьмешь, что не подведомственны руке человека нерукотворные крепости и недоказуемые уголья Духа, что здесь ничего не возьмет: ни декрет, ни штык. Перстень, кресло карельской березы, портреты бабушек, куртины, десятины — да разве это *я?*! (Не говоря уже о безличных, вне всякого символа, владениях, как сейф и доходный дом). Вот нога, затылок, которым меня приставили к стенке, грудь, в которую наставлены дула, — да разве это опять-таки *я?* что в груди, *под* черепной крышкой — неосязаемо — недоказуемо — вот я, а это разве *штыком* началось и штыком кончится? Почему никто от Революции не спасается внутрь себя, *под веки*, в глубь собственной груди, в свой единственный дом — Душу? Почему все ищут спасения вокруг, от других, тех или этих?» Цветаева находит прямой ответ на этот вопрос на первой страницы «Родины», написанной эмигрантом Волконским: «Она [Родина] будет нереальна, но она будет сильна в своей метафизичности, она будет *вне* нас, но тем сильнее будет в нас, она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания». Дальше Цветаева выделяет у Волконского знаменательные слова: «И если отрешаясь от земных условий...» Это вот «отрешаясь» Цветаева считает ключевым словом и разрешается о нем страстным монологом: «Отрешение без свищущего «ч», с нежным замшённым «ш», — шелест монашеской сандалии о плиты — отрешение: листвы от дерева, дерева от листвы, единственное, законное распадение того, что уже не вместе, отпадение того, что уже не нужно, что

уже перестало быть насущностью, то есть уже стало лишней: шелестение истлевших риз...»

Не за один ее поэтический ритм и аллитерации так долго длил я цветаевскую цитату: здесь вся философия отрешения от несущественного в том, что было, прошло и есть.

Закончить этот краткий рассказ о князе Сергее Михайловиче Волконском хотелось бы тоже словами из цветаевской аполонии. Рассказав о недолгом преподавании Волконского «в так называемом Пролеткульте», о его реакции на свежесть и горячность восприятия одного из его слушателей-рабочих, Цветаева приводит слова этого князя, честно служившего искусству и России, хоть и в «Пролеткульте»: «Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия о них возрадуется». Приведя эти слова, Цветаева восклицает: «Дай Бог! Мое же русское и человеческое сердце, пока будет биться, не устанет радоваться этому простому чуду: человеку — вне века, князю вне княжества, человеку без оговорок: че-ло-ве-ку».

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ СЛАВНОГО МАЛОГО

(Сергей Эфрон)

Впервые потрясающую историю Сергея Яковлевича Эфрона и его семьи я услышал как-то ранней весной в пленительном уголке Восточного Крыма, в Коктебеле, там, где был дом поэта Максимилиана Волошина, а теперь уже дом-музей, а также Дом творчества писателей. Я гостил тогда в Волошинском доме, в том самом, где гостили когда-то и Гумилев, и Марина Цветаева, и Сергей Эфрон, и будущая жена Ромэна Роллана Майя Кудашева, и Вячеслав Иванов, и Алексей Толстой, и Наташа Кедрова, и многие другие, а в ту мартовскую пору, когда я был,— жили там лишь вдова Волошина Марья Степановна да смотритель музея мой приятель Володя Купченко с женой. Володя мне рассказал про семью Эфрона — передаю его рассказ, как запомнил, а если есть тут расхождения с рассказом Марининой дочери Ариадны Эфрон, то ведь

в рассказах Ариадны Сергеевны немало и других умолчаний, особенно когда речь заходит о нежно любимом ею отце. О нем у нас сегодня как раз и пойдет речь, ибо хотя и не был он, может, славным героем Первой эмиграции, и вообще, на мой взгляд, был героем весьма сомнительным, а все же многое в его пути и его судьбе эту самую эмиграцию наглядно представляет.

Итак — начнем издали — Коктебель и семья Эфронов. Макс Волошин познакомился с этой семьей еще где-то за границей, поскольку и сам он часто жил в Париже, откуда обычно прямым ходом устремлялся в свой коктебельский дом, стоявший на пустынном черноморском пляже, знаменитом своими сердоликами, опалами и другими камешками, а также вулканическим массивом, повторяющим ближними к дому очертаниями гор профиль самого Волошина. Эти места, заверяю вас, ни один эмигрант, ни старый, ни новый, не мог и не может забыть — будь то Майя Кудашева, Марина Цветаева, Сергей Эфрон или Василий Аксенов. К 1909 году в семье Эфронов стряслось сразу много страшных бед. Глава семьи был наполовину еврей, жена его Елизавета происходила из старинного дворянского рода Дурново, оба они были народо-вольцы, революционеры. Елизавета попала в тюрьму, ее надо было выручать — потом супруги уехали в Париж, и тут отец Сергея умер от рака, умерла одна из сестер Сергея, заболел туберкулезом брат, покончил с собой другой брат, а потом и мать покончила с собой... Так рассказывает дочь Сергея Эфрона Ариадна. Володя же Купченко рассказывал, что начались все эти смерти и самоубийства с того, что играли братья и сестры народо-вольческой этой семьи (детей было девять) в привычную взрослую игру — в революцию, и те из детей, которые изображали жандармов, стали вешать того братишку, что изображал схваченного ими революционера. Вешали как положено, табуретку из-под него выбили, а потом из петли его вынуть не хватило силенок — так он и задохнулся, пока бегали за помощью. Вот тут и отец с матерью безутешные погибли, а дети пережили страшное потрясение, это можно понять...

У странной гениальной девочки Марины Цветаевой тоже выдался тогда трудный год, будто даже покушалась она на самоубийство. И вот добряк Макс

Волошин решил всех этих искалеченных подростков взять к себе на лето в Коктебель — и Сергея Эфрона с сестрой, и двух сестер Цветаевых — развлечь их, повеселить и, если удастся, — исцелить. Шумный коктебельский богемный табор стал играть в большую семью, пугая мирных греков и болгар вольностью костюмов, приводя в изумление местного пристава, читая стихи, распевая под гитару (Марина тоже умела играть), придумывая всякие смешные игры. А совсем юная Марина влюбилась в еще более юного Сережу Эфрона, еще гимназиста. Почти тотчас они поженились, а вскоре у них родилась дочка. Все бы, может, и неплохо сложилось, потому что купили они дом в Москве, продали его, сняли квартиру, но тут — война. Сережа стал рваться на фронт, а взяли его только медбратом в госпиталь. Позднее он поступил в офицерское училище, но тут революция, и романтический юнкер Сергей Эфрон, конечно, становится на сторону слабых — он за белых, он на Дону, в русской Вандее, в «Лебедином стане», в Добровольческой армии. Марина же в голодной Москве — разруха, гражданская война...

Вторую их дочку Марина отдала в какой-то детский дом, где та и умерла с голодухи, жила вдвоем со старшей дочкой — голодная, бурная жизнь поэтессы в бурные пореволюционные годы. Потом Илья Эренбург отыскал Эфрона где-то в Берлине, связал супругов, и вот Марина отправилась в эмиграцию. Жить стали сперва в Чехословакии, под Прагой. Эфрон учился на юридическом факультете. Так называемая «Русская акция» благосклонного к русской эмиграции президента Томаша Масарика давала русским возможность выжить — Марине же, как поэтессе, была назначена стипендия. Но при этом, конечно, скудность, неудобства жизни, тяжелый загородный быт.

Сергей Эфрон был наделен самыми разнообразными талантами — он и актер, он и режиссер, он и писатель (как-то на вопрос корреспондента Марина Цветаева заявила, что лучшей прозой истекшего года был рассказ ее мужа «Тиф» — а ведь были уже тогда на свете и Бунин, и Куприн, и Ремизов, и Набоков...) При стольких талантах, вечном, неиссякающем его идеализме и бесконечных поисках места в жизни — причем место должно быть достойное и заметное — профессии, которая могла бы помочь прокормить се-

мью он так и не приобрел. К тому же он все время ищет идею: белая идея себя исчерпала, Россия идет куда-то за большевиками, громит у себя церкви, однако она не распалась, не развалилась и, вероятно, строит все же новую жизнь, поскольку становится все сильнее, а не в силе, не в ней ли правота? А рядом Запад — чужой, равнодушный, не наш, ненужный нам, и мы ему не нужны.

В Праге появляется евразийство, идеи которого проповедует блистательный ученый-лингвист князь Трубецкой: Россия не Европа, вовсе и русские не европейцы, проклятье Великому Петру. Русские — это евразийцы, и большевики это поняли, поэтому народ за ними пошел; у России свой путь, евразийский. После отъезда из Праги, в Париже, Эфрон становится одним из редакторов евразийского журнала, и не без влияния сменовеховства, собственных неудач и каких-то загадочных советских успехов все ближе и ближе подходит левое евразийское крыло к оправданию всего, что происходит в Советской России, все тесней становятся его контакты с людьми, презжающими из Советской России, все томительней тоска по оставленной родине, где дела идут наверняка прекрасно и не могут идти иначе, а тот кто говорит, что там нищета, лагеря и всеобщий страх, что там доносительство и подлость, то не верьте — это все клевета ненавистников, завистников и монархистов.

Сергей Эфрон становится членом Союза друзей советской родины, руководит движением за возвращение на родину, встречается с очень важными посланцами Москвы, и все б оно ничего — в конце концов, один любит Москву и новую Россию, другой Вашингтон, третий — Иерусалим, четвертый горюет до сих пор о гибели царской семьи (об этом ведь и Марина Цветаева немало писала), — ничего худого в таком плюрализме не было б, кабы не было у московских посланцев всего одной и той же неизменной пропозиции — ага, значит, ты любишь Родину, хочешь Родине помочь, а стало быть, надо помочь ГПУ — это ведь тоже для Родины, мы и есть Родина. Искупишь свою белогвардейскую вину и вернуться сможешь, да и сейчас получишь кое-что детишкам на молочишко.

А многоталантливый Эфрон за многие годы эмигрантской жизни зарабатывать на жизнь не научился — дочка сидела за гроши в мастерской, пришивала

зайцам уши, жена за сушиные гроши писала аж на трех языках, переводила, куда можно давала стихи, чтения устраивала, — но все это гроши, не ценится такой труд на Западе, а расходов много — на квартиру надо, на отопление надо, на еду, на учебу для сына — ничего бесплатного, да и чешская стипендия с отъездом во Францию и та кончилась. Так что деньги от щедрой советской разведки — они ведь и богатой певице Плевницкой с мужем-генералом нелишними оказались, что уж говорить о неумехе Эфроне, наделенном всеми талантами, кроме одного — трудиться за деньги. Да и положение новое льстит ему, что-то он такое возглавил, какое-то у него таинственное влияние. Ко всему сбылась его мечта — он помогает Родине, есть чем гордиться...

Недавно встретился мне в Париже прежний приятель его сына Дмитрий Сеземан и я, конечно, сразу его спросил — как это было, не стыдно разве? Он рассмеялся: что вы, они же гордились! Еще я спросил, знала ли Марина про все это: большинство цветоедов утверждает, что не могла она этого знать, потому что при всей взаимной любви брак у них был своеобразный, богемный, она пребывала в постоянной экзальтации какой-нибудь новой влюбленности — муж мужем, но увлечена она должна была быть постоянно, и платонически, и эпистолярно, и счастливо, и несчастливо, лучше даже безнадежно — увлекалась без конца. Но и он был человек увлекающийся, так что было у него много своего в жизни — у каждого из них...

Так вот знала она про его дела или не знала? Сеземан в ответ на этот мой вопрос снова усмехнулся и сказал, что, по его мнению, не могла не знать... Да... Совсем грустно все это... И вот уж совсем недавно напечатаны были в московской «Литературной газете» письма дочери Эфрона, из которых выходит, что и она была причастна к этим отцовским делам.

В пору гражданской войны в Испании Эфрон вербовал во Францию людей для отправки к республиканцам — об этом есть воспоминания бывшего чекиста Хенкина, который, завербовавшись через Эфрона в Испанию, попал в самые что ни на есть «специальные подразделения». Теперь в советской печати (скажем, в книге Костикова об эмиграции) появляются и сообщения о том, как шуровали наши спецслужбы в Испа-

нии. А Эфрон, он был как раз по этой части. Многие знали его в Париже и с другой стороны — говорили о нем, какой он славный, обаятельный, талантливый...

Впрочем, многие из-за его новой позиции, как говорили тогда, его большевизанства — от Цветаевых отшатнулись. А у иных были уже вполне серьезные подозрения на его счет. Мне совсем недавно рассказывал один старый эмигрант, у которого иногда в доме бывали Цветаевы, что Эфрон ему сказал как-то: «Вот вы много по делам службы разъезжаете, отчего бы вам не привозить кое-какие сведения, я скажу, какие — надо ведь помочь Родине...» Получив резкую отповедь, Эфрон ушел и больше в этом доме не появлялся.

Вот так Сергей Эфрон прошел весь печальный путь — от юного белого рыцаря до сотрудника советских органов. Конец его тоже был довольно типичным. Мне рассказывала одна пожилая дама в Париже, что приятель ее мужа сказал как-то в сентябре 1937 года: «Как, Михаил Андреич, вы незнакомы с Сережей Эфроном? Много потеряли. Славный малый. Я к вам его приведу в понедельник». А еще и до понедельника стало известно, что зверски убит в Швейцарии советский перебежчик Порецкий — Игнатий Рейс, что Эфрон исчез, что дело расследуется, что Марину Цветаеву вызвали в полицию, где она всю ночь читала Пушкина ошалевшему французскому комиссару — да и что ей еще оставалось? Эфрон добрался до Москвы, поехал отдохнуть в привилегированный санаторий, потом жил на даче НКВД, дожидаясь приезда жены. К тому времени, как она приехала, он все понял, что с ним будет. Рассказывают, он плакал...

Забрали его сразу по приезде жены. Посадили также и дочку его, и сестру Марины. Эфрон разделил судьбу многих из тех, кто уцелел в Испании или просто «слишком много знал». Он был не один такой эмигрант. И соратник его по евразийскому журналу князь Святополк Мирский тоже вернулся и тоже сгинул, и Устрялов, и многие другие идеалисты. Однако, не ставя под сомнение его идеализм, мы не беремся в этом клубке человеческих эмоций, страстей и поворотов судьбы разобрать, где тут чистота идеализма, где амбиции униженного эмигранта, а где еще и жалкий довесок конвертируемой валюты...

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА

(Нансеновский паспорт)

В современном мире, разделенном границами и возглавляемом всемогущими учреждениями, человек, желающий чувствовать себя более-менее уверенно, должен обладать бумагами, подтверждающими законность его земного существования, по меньшей мере паспортом, лучше всего — национальным паспортом. Легко представить себе, что эмигрантов, не имевших полноценных бумаг, отличало особенно острое чувство неуверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, чувство второсортности. Всякий, кому приходилось когда-нибудь пребывать в толпе за барьером, выставляя очередь за визами или бумагами в парижской префектуре на острове Ситэ, без труда поймет ощущение тогдашнего эмигранта. Ощущение это не раз описывали эмигрантские литераторы. Одних оно затрагивало более болезненно, другие относились к своей неприкаянности и полузаконности своего существования с философским спокойствием. В той или иной степени эта бумажная проблема затрагивала всех. Василий Яновский называет в воспоминаниях двух поэтов-парнасцев, у которых была некая неожиданная черта, отличавшая их от всех прочих художников слова, — Анатолия Штейгера и Довида Кнута. Так вот эта черта была — паспорт. У Штейгера швейцарский, а у Кнута румынский. Яновский называет их «наши туристы» — это значит, что счастливые обладатели паспортом могли более или менее свободно перемещаться по Европе, и Яновский пишет о них с той же завистью, с какой еще лет пять назад в каком-нибудь Орджоникидзеабаде или в каком-нибудь Дрездене рассказывали о человеке, который уже два раза посещал свою сестру в Париже. Для остальных эмигрантов, обладателей безнациональных, апатридных, так называемых нансеновских паспортов, подобное передвижение было затруднительным.

Паспорт этот называли по имени знаменитого норвежца, полярного исследователя Фритьофа Нансена — без всякой, впрочем, ассоциации с полярными холодами и злключениями. Просто дело в том, что в результате всех потрясений первой мировой войны, или, как

ее еще называли за ее кровавость, наверно, Великой войны, в мире оказалось огромное количество беженцев — русских, армян, греков, турок. Послевоенной Лиге Наций пришлось незамедлительно решать многочисленные проблемы, связанные с беженством, и для этого был учрежден специальный Комиссариат и пост Верховного Комиссара по делам беженцев, на который был назначен Фритъоф Нансен, ибо он уже занимался делами беженцев в годы войны (кстати, он занимался и помощью голодающим в России в начале двадцатых годов, а потом, в связи с этим, спасением от расстрела членов русского Комитета помощи голодающим). Комиссариат по делам беженцев должен был решить правовые проблемы, что в первую очередь касалось русских беженцев. И это стало особенно важным, когда иностранные державы признали советское правительство. Вот тогда и был выпущен по предложению Нансена нансеновский паспорт для русских, армянских и саарских беженцев. Страны, в которых оседали русские, признавали этот паспорт при условии, что беженец выполнял все требования, предъявляемые к постоянному обитателю страны, платил за паспорт и его возобновление, имел бумаги, подтверждающие, что он эмигрант, а также бумаги, удостоверяющие его личность, — бумаги, бумаги, бумаги...

Эти бумажные дела были истинным проклятьем для большинства эмигрантов. Во Франции, традиционной стране сложных и прочных бюрократических установлений, документ этот называли еще «сертифика д'идантитэ». «Фратернитэ, эгалитэ, карт д'идантитэ!» — не случайно с горечью восклицает Поплавский, описывая в романе «Аполлон Безобразов» гуляющую эмигрантскую компанию. Ибо где бы ни собирались эмигранты, раньше или позже с неизбежностью заходил разговор об этих «карт» и этих «сертифика», определявших самое право на дальнейшее твое существование. О «Карт д'идантитэ», которым предшествовали а) контракт, б) «ави фаворабль», то бишь одобрение министерства труда, в) визы министерства иностранных дел и г, д, е) визиты, визиты в префектуру полиции на остров Ситэ, в зал «Норд-Эст», где сперва дадут «ресеписсе», и так далее и так далее — для русского, еще тогда непривычного к бумагам, визиты эти становились кафкианским кошмаром. И уж совсем трудной становилась жизнь для того обладателя нансеновского

паспорта, который вздумал пересечь границу и посетить мать или брата, живущих в трех часах езды от его нового дома — где-нибудь в Бельгии или Германии. Справочник эмигранта за 1931 год предупреждает, что «к сожалению, получение виз в большинство стран для русских с нансеновскими паспортами *крайне затруднительно*». И дальше читаем: «Вообще ходатайства о визах во всех странах могут иметь успех только при соответствующей поддержке местными жителями, занимающими известное положение или достаточное материально обеспеченными». И вот там же находим безнадежное резюме: «В большинстве случаев ходатайства отклоняются». А дальше длинные списки вопросов, ответов, бумажек, справок...

Понятно, что человек нервный до конца своих дней сохранит ужас перед этой процедурой и самые страшные воспоминания, как сохранил их, например, Владимир Набоков, еще и через тридцать, и через сорок лет писавший (откройте роман «Пнин», например) об этой смехотворной бумажке, нансеновском паспорте, придуманном для эмигрантов к вящей потехе Советов, о «медленном прорастании виз», о кошмаре хождения по учрежденьям. И мы без труда находим реальные истоки и обстоятельства этого набоковского ужаса в воспоминаниях и в письмах. В тридцатые годы одним из источников дохода для сильно нуждающегося Набокова были его чтения, выступления перед русской, французской и бельгийской публикой. Молодая поэтесса и журналистка Зинаида Шаховская, жившая в Брюсселе, бралась организовывать время от времени для лучшего из русских молодых писателей эмиграции подобные выступления у себя в Бельгии. И вот тогда начинался визовой кошмар. Он начинался еще до посещения полиции — начинался с ощущения, что может быть получен отказ, начинался с мысли, что придется просить, с унижения страхом и собственным бессилием. Так что в инстанцию проситель являлся уже во взвинченном состоянии. А чиновник и полицейский, он был готов к этому, он был закален в боях, он всегда умел осадить бесправного нахала. Поэтому, даже заговаривая о предстоящих хлопотах в полиции, будущий проситель приходил в состояние нервозности. Эта нервозность ощущается через толщу десятилетий во многих письмах даже такого молодого, красивого, надменного и талантливое писателя — по-

бедителя, каким был в ту пору Владимир Сирин-Набоков. Вот его письмо Шаховской, написанное в начале 1936 года: «Дорогая Зина, я подал прошение, что, мол, на неделю «афэр литерэр», литературные дела, 9.1.36, но там что-то сомневаются придет ли разрешение на визу вовремя. У меня убогий нансеновский паспорт № 65, выданный в Берлине 25.3.33 и годный до 23.7.36. Легкая паника начинает у меня проползать по хребту: а что не дадут до 22-го или 21-го. Зина, подтолкните!»

Зинаида Алексеевна Шаховская рассказывала мне, что Набоков должен был читать по-русски, а на втором вечере по-французски специально для этого написанный рассказ.

— Для ускорения визы,— рассказывала Зинаида Алексеевна, которая живет сегодня в Париже близ авеню Терн и вполне бодрa и благожелательна,— я обратилась за помощью к моему приятелю, депутату-социалисту и председателю Бельгийского ПЕН-клуба. Так что, разрешение на визу было дано 21 января 1936 года.

В общем, прав эмигрантский справочник, процитированный мной выше,— получение визы дело «крайне затруднительное», и если нет у вас подруги-княжны, а у нее приятеля-депутата, вполне могут вам отказать.

Уже в первом романе Набокова эта тема бессилия перед миром бумажек, справок и виз звучит поистине трагически. Вы, может быть, помните живущего в берлинском русском пансионе старого поэта Антона Сергеевича Подтягина из романа «Машенька», который как на последний свой шанс выжить уповает на отъезд в Париж, «где живет его племянница и где очень дешево длинные хрустящие булки и красное вино». Но чтоб поехать туда, нужна виза, а этого осилить старый поэт не может. Молодой Ганин берется помочь старику, и вот они отправляются в «громадное багровое здание центрального полицейского управления, бредут по его серым коридорам, стоят в очереди, сдают паспорт, потом переходят к другому столу — «опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыхание, и наконец за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом». Они едут обратно в трамвае, и в своем счастливом возбуждении по дороге в консульство поэт забывает на трамвайной лавке и паспорт, и все прочие бесценные бумаги. Ничтожная оплошность вырастает до размеров понятной всякому

человеку XX века драмы. Подтягин не находит в себе сил затевать все сначала — сбитый с ног тяжелым сердечным приступом, он говорит безнадежно: «Судьбы не миновать. Не уехать мне отсюда...» «Вот... без паспорта» — таковы последние слова умирающего поэта.

Мне рассказывал один старый эмигрант, зять знаменитого русского писателя, и сам тоже достигший во Франции довольно высокого положения, что когда он после окончания «странной войны» вернулся из рядов французской армии, уже в лейтенантском чине, и пошел в префектуру обновлять свою «карт д'идантитэ», то полицейский чиновник, уловив его напряженное отчаяние, закричал: «Да что вы, в конце концов? Я же вам еще ничего не сказал». Этот же пожилой эмигрант поведал мне старую эмигрантскую историю, скорей всего легенду — о том, как знаменитый боевой генерал пошел в префектуру полиции за карточкой и там стоял навтыжку перед префектурным сержантом, проявлявшим власть, до тех пор, пока случайно не вошел в залу знающий его участковый полицейский и не заорал подобострастно: «Здравия желаю, ваш превосходительство!» А потом — сержанту: «Да ты что, чурбан. Это ж генерал!» Вот тогда пришла очередь сержанту встать во фронт. Думается, что это все же легенда, сочиненная кем-нибудь из униженных *émigré*, ибо что префектурному сержанту до чужих беспаспортных генералов?

Конечно, после войны многие парижские россияне, особенно из тех, кто воевали против немцев, получили наконец французские паспорта, натурализовались — но лет уже им было немало, у них давно были французские дети и французские внуки. Что до возможности натурализации в счастливые межвоенные годы, о которых у нас с вами по преимуществу и идет речь, то тот же полезный справочник эмигранта за 1931 год сообщает, что можно, конечно, подать прошение о натурализации, но сделать это может иностранец, проживающий уже три года непрерывно на французской территории, и надо для этого подготовить следующие документы: 1) паспорт, национальный или нансеновский, 2) копию сертификата дэ домисиль, выданную домовладельцем и заверенную комиссаром полиций, 3) квитанцию об уплате налогов и бордэро дэ ситюасьон, выдаваемую казначеем по прямым налогом, 4)

документы об отбытии воинской повинности, 5) карт д'идантитэ не просроченную, 6) экстрэ д'имматрикулярсьон, 7) метрическое свидетельство о рождении или выдаваемый мировым судьей акт дэ ноторьете, 8) рабочее свидетельство, заверенное комиссаром полиции, 9) русские должны представить еще свидетельство о национальности, выдаваемое организацией беженцев на 7 рю Генего.

Это все для начала, подавайте, а там видно будет. Скорее всего, ничего не будет...

Предвижу вопрос — легче ли сегодня? И хоть это уже выходит за рамки нашей вполне академической темы, напомню лишь, что XX век еще не кончился и что один из американских романов Василия Аксенова так и называется — «Бумажный пейзаж».

КУДЕСНИКИ НА ЧУЖБИНЕ

(Русские художники во Франции)

Революция, гражданская война, разруха и тяжкая атмосфера крепнущей диктатуры вызвали массовый исход русских художников. В эмиграции оказались Рерих, Билибин, Шагал, Кандинский, Шухаев, Александр Бенуа, Яковлев, Сомов, Добужинский, Гончарова, Ларионов и многие-многие другие. Некоторое время оставались еще в России представители художественного авангарда, но потом и они поняли, что нужно уезжать. Тем же, кто остался, пришлось очень тяжело.

Мне довелось читать воспоминания старшей дочери Инессы Арманд об импровизированном ночном визите Ленина в художественный институт на Мясницкой, в так называемый ВХУТЕМАС. Вождь неожиданно решил навестить учившуюся в этом институте младшую дочь покойной Инессы, женщины, к которой, как вы знаете, вождь был не вполне равнодушен. Все, что он застал там в эту позднюю пору, Ленину не понравилось — ни полночные дискуссии, ни стихи Маяковского, ни авангардное искусство. Как простодушно сообщает мемуаристка, он обещал непременно поговорить с этим авангардистом

Луначарским и навести в искусстве порядок. Может быть, даже жесткий порядок. Самое поразительное, что он не забыл, он поговорил. Однако жесткий порядок еще тогда не навели — навели его чуть позднее. Так что оставшемуся в России Фальку, например, пришлось куда труднее, чем уехавшему Шагалу или, скажем, Сутину. Но уехать пришлось многим...

В «Записках художника» Лукомского можно найти рассказ о том, как выбирался из России Билибин, чьи иллюстрации и сегодня всюду продаются в магазинах «Березка»: «Билибин бежал из Новороссийска, спал на полу в каких-то канцеляриях, в вагонах, затем попал в английскую эвакуацию, был «опущен» с толпою беженцев на самое дно трюма парохода, отплывавшего неизвестно куда. Далее Босфор, Мраморное море, острова Архипелага, остров Кипр, Египет, карантин за чертою града Александрии, концентрационный лагерь в Тель-Эль-Кебуре, затерявшийся в песках пустыни, и, наконец, в Каире в прекрасной мастерской, где, сообщал он, работаю... работа есть, но данег дают мало... Плата за все ужасно мизерная, еле-еле хватает на жизнь. Моей любимой работы — книжной — нет вовсе...» Позднее Билибин, как известно, перебрался в Париж.

В 1924 году через Берлин добрался в Париж ученик Репина Малявин. «Дышать в Советской России было нечем, свободной живописи места там не было», — рассказывает он. Выбравшись с большим трудом из России, через Финляндию прибыл в Париж и профессор Академии художеств Шухаев, строго академический художник, талантливый педагог. Шухаев вывез неомраченные воспоминания об Академии и о своем учителе Кардовском, который в Мюнхене когда-то добыл для учеников тайны старых итальянских мастеров. Сам Шухаев звал учиться у мастеров Ренессанса. Еще в России, в последнем, вышедшем вскоре после революции номере «Аполлона» Шухаев изложил свою мечту о «цехе Святого Луки» — цехе, где художники начинали бы как ученики-подмастерья, помогающие мастеру трудиться «под покровительством Святого Луки» (любопытно, что идеи этой статьи нашли, на мой взгляд, отражение в позднем романе Набокова — неужели через сорок лет Набоков еще помнил тот старый номер «Аполлона»?). Вокруг Шухаева и его

соученика по классу Кардовского — Яковлева — стала собираться молодежь, и уже в 1926 году в Париже были выставлены работы двух десятков учеников этого ателье, чисто академического по характеру.

Возникло в Париже и другое очень интересное художественное учебное заведение, обязанное своим рождением приезду из Москвы знаменитого педагога и знатока русских народных промыслов, директора Строгановского училища Николая Васильевича Глобы. Тридцать лет процветало в Москве это училище под руководством Глобы (его назначил на этот пост сам Витте). Училище прогремело в 1900 году на Всемирной выставке в Париже, где получило множество наград. Теперь Глоба оказался в Париже эмигрантом. По приезду он сумел организовать Художественно-промышленный институт, куда пригласил для преподавания Билибина, Добужинского и других крупных мастеров. Дело пошло, выставки их снова гремели, восторгов было много, но через пять лет институт этот за недостатком средств все же закрылся.

Большую группу в Париже составляли выехавшие из России художники «Мира искусства», которые объединились и открыли летом 1921 года свою выставку в галерее «Ля Бозси». Конечно, «Мир искусства» начинал в Париже не на голом месте, здесь и до революции была уже выставка, организованная Дягилевым, многие из этих художников делали для парижских его спектаклей декорации и костюмы. И вот эти художники объединились теперь под председательством князя Шервашидзе, пригласив и других эмигрантов. Выставлялись у них Бакст, Григорьев, Судейкин, Сорин, Лукомский, Шухаев, Стеллецкий, Яковлев, Ларионов, Гончарова. Выставлены были также работы Рериха, Анисфельда, произведения Бенуа, Сомова и Кустодиева из частных коллекций, которые удалось вывезти. Французская критика тепло приняла выставку, отмечала русский характер этой живописи, ее столь привлекательный «славизм». В том же году те же в основном художники были выставлены в Осеннем Салоне, в особой комнате, которую критик Андрей Левинсон назвал Салоном Изгнанников. Вторая выставка «Мира искусства» состоялась в 1927 году, и в ней, кроме уже названных выше, принимали участие истинные основоположники «Мира искусства», такие как Константин Коровин (он выехал из России в 1921 году, причем

налегке, с пустыми руками, а ведь он за десятилетия творчества создал декорации более чем к 940 операм и балетам, двадцать три года преподавал в Московской школе Живописи, Ваяния и Зодчества, где его учениками были Машков, Судейкин и многие другие), Билибин, Добужинский, Остроумова-Лебедева, Миллиоти и только что эмигрировавший Лансере. В связи с этой русской выставкой критика писала, что художники эти всегда были обращены к Западу, всегда связаны были с Парижем, и что они довольно естественно вписались в художественную жизнь Парижа. В то же время они не забывали, эти художники, о своих русских корнях, о Востоке, благодаря чему им удалось внести во французское искусство свою «русскую ноту». Как отмечал в монографии искусствовед Вальдемар Жорж, «русский гений сделал в современное искусство вклад огромной ценности и огромного размаха». Критик задавался тут же вопросом: «Искусство русское, а не раздваивается ли оно между греческим Востоком и латинским Западом?» Комментируя этот вопрос Жоржа, эмигрантская художница Татьяна Муравьева-Логинава говорила: «Оно двухполюсно, русское искусство, как старый символ империи двуглавый орел, у которого одна голова глядит на Восток, а другая на Запад». И французские и русские критики отмечали высокое мастерство русских художников-эмигрантов, их универсализм, сближающий их с русским XVIII веком, их просвещенный диллетантизм, их проникновение в национальную традицию.

В эти годы русские художники много выставляются, много и успешно работают в театре, в знаменитых дягилевских постановках, во французском кино. Их талантливость и своеобразие, их вклад в мировую культуру были давно уже признаны и во Франции, и в Европе, тем не менее большая выставка 1928 года в Брюсселе, где русские художники вдруг выступили все вместе, произвела на публику и на знатоков неожиданно большое впечатление. «Я не преувеличиваю,— писал об этой выставке Сергей Маковский,— это настоящее событие для нас, эмиграции. Успех выставки, действительно большой, здесь как бы совпадает с победой более общей: с зарубежным торжеством всей художественной нашей культуры...»

Перечислив множество славных имен, Маковский заключает: «Значительная часть всех этих художников

собралась в изгнании и продолжает успешно работать: там, в России, работать они не могли».

Русские художники в эмиграции — тема, вероятно, не менее обширная, чем, скажем, русская литература в изгнании, и я, конечно, не буду пытаться здесь объять необъятное. Все же упомяну еще о двух-трех художниках и их выставках. В 1933 году в галерее Шарпантье в Париже открылась большая выставка Александра Яковлева, которую Бенуа назвал «настоящим событием, не только художественного, но и общекультурного значения». «В этих туманных даях,— писал Бенуа о пейзажах Яковлева,— в этих насупленных вершинах, в этом каменном просторе живет душа, слышится музыка, та музыка, которая через тысячи превращений воспитала очарование Бородина, Мусоргского и Римского...»

А за два года до этой выставки Яковлев совершил девятимесячный пробег по Африке с экспедицией фирмы «Ситроэн» и создал удивившее парижскую публику синтетическое полотно, отобразившее этот пробег. В центре полотна сохранился для потомства и сам Александр Яковлев, который умер в эмиграции чуть позже, в 1938-м. В том же самом году скончался в Париже и другой замечательный художник-эмигрант — Борис Григорьев. Под впечатлением гражданской войны и революции Григорьев создал поразительное и страшное монументальное произведение «Расея». Вот что писал о нем Александр Бенуа: «Из всех русских художников того времени один лишь Григорьев сумел выразить, во что обернулась «Ля сэнт Рюси», Святая Русь, управляемая сыновьями и внуками Петра Верховенского, чего не поняли до него убаюканные национальной поэзией и музыкой... писатели и художники, считавшиеся знатоками русской действительности. Они не замечали того, что *готовилось* и что *действительно* жило в огромной массе русских людей: рабская покорность и накопившееся озлобление, наследие поколений, выросших в нужде и алкоголе! Художник подметил и запечатлел то самое, что действительно живет в огромной массе русских людей... Как же было не исполниться чувством некоего почитания к художнику столь проникновенного ясновидения». Идея, которую кратко и упрощенно излагает здесь Александр Бенуа, присутствовала во многих литературных произведениях эмиграции, но

у Бориса Григорьева она впервые, наверное, была выражена в живописи...

Следует упомянуть еще одного эмигранта, приехавшего в Париж из России довольно поздно, — лучшего нашего художника по фарфору и замечательного книжного графика Сергея Чехонина. В 1918 году он был одним из руководителей отдела изобразительных искусств в Наркомате просвещения и являлся художественным руководителем фарфорового завода. И все же пришлось уехать. Парижские восемь лет его жизни были наполнены трудами — он работал для Национальной фарфоровой мануфактуры в Севре, для театра «Летучая мышь» Балиева, для русского балета. В последние дни жизни он испытывал в Швейцарии свою новую машину для многоцветной печати на материи. Там, в швейцарском городке близ Базеля он и умер в разгаре трудов — этот, по словам Маковского, непревзойденный кудесник.

Так расшвыряла Россия своих кудесников по свету...

НЕ ГРЕЮЩЕЕ СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

(Парижская школа русских художников)

Однажды, возвращаясь в прохладный осенний денек после одинокой прогулки по прелестному парижскому парку Монсури, я забрел на улицу д'Аркёй и вдруг увидел лихо расписанный забор, надпись на котором возвещала об открытии выставки «Клош-арт 85». Название показалось мне остроумным: «клошар» — это легендарный, но грязный парижский бродяга, нищий-алкоголик. А в новом искусстве были поп-арт, оп-арт, отчего не быть и клош-арту.

Я толкнул створку расписанных ворот и увидел большой, судя по всему заброшенный дом. Я вошел, стал бродить по коридорам, увидел полоску света под дверь, постучал, и мне ответили, к моему изумлению, по-русски: «Войдите». Я вошел, увидел художника в очках, который что-то тачал на лавке в углу. В другом углу сиротски горела электроплитка,

а близ нее на полу, на газете, стояла пустая чашка, лежали нож, кусок батона и шматок сыра... Художника звали Николай. Он объяснил мне, что парижские художники — несколько русских, голландцев, англичан и французов — самовольно захватили это пустовавшее здание заброшенной фабрички, где в сторожке издавна жил лишь старик-клошар, и теперь устраивают тут выставки. Комнат здесь много, в некоторых художники устроили себе мастерские. Среди них были и русские, не имевшие мастерской, а ему, Николаю, и жить тоже негде, потому что он всего года два назад самовольно покинул минскую туристическую группу, зацепился в Париже, но пока вот еще на бобах — ничего пока не продается, живет надеждами.

— Тут у вас неплохо, — сказал я не слишком убежденно.

— Да, конечно. Только вот мэрия собирается нас выгонять — будут ломать эту фабричку и строить жилой дом. Мы ведь скваттеры...

Я подумал, что их, конечно, в конце концов выгонят, потому что квартиры в этом районе стоят уже не сотни тысяч франков, а миллионы, да и в старину этот район близ парка высоко ценился, недаром обе квартиры Ленина были тут поблизости: оторвавшись от трудов, можно пойти погулять по парку, посидеть в кафе над озером...

Странная эта встреча заставила меня задуматься о судьбе молодого художника в городе, где художников чуть не полтора ста тысяч. В частности, о судьбе молодых художников Первой эмиграции. Не тех, кто подобно мирискусникам или даже Шаршуну были и раньше знакомы с Парижем и знакомы Парижу, но тем, кто начинал здесь совсем молодыми. Мне раньше казалось, что художнику здесь все-таки легче, чем, скажем, литератору — художник все же создает нечто осязаемое, реальное, что может являться предметом обстановки, а рукопись на стенку не повесишь. Теперь я поделился этими своими соображениями с Зинаидой Алексеевной Шаховской, у которой муж принадлежал к художникам так называемой Парижской школы. Зинаида Алексеевна подтвердила, что да, им всем, этим художникам, пришлось очень трудно, даже тем, у кого рано появились поклонники-ценители, даже их первому гению, Николаю де Сталю. Признание пришло к ним ко всем или перед смертью, или — еще чаще —

после смерти. Для них тоже слава была холодным, не греющим солнцем мертвых... Что касается мужа самой Зинаиды Алексеевны Шаховской, художника Станислава Малевского, то он впервые показал свои работы только после четверти века творчества. Он и принадлежал к русской Парижской школе, которая прославлена именами Николая де Сталля, графа Андрея Ланского, Анны Старицкой, Ивана Пуни, а также Терешковича, Полякова, Челищева и Дмитриенко. Самым крупным представителем этой школы был Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн, чья поэтика, по мнению Жана Маркадэ и других искусствоведов, «открыла новые неизведанные возможности, обогатив мировое искусство XX века». Его загадочная смерть на вершине только что нахлынувшей мировой славы стала легендой среди живописцев. Родился Николай де Сталь в 1914 году в Сибири, двух лет отроду был приписан ко Двору, а после 1917-го уехал в Польшу вместе с матерью-музыкантшей и отцом-офицером. Родители вскоре умерли, мальчик был усыновлен и отослан в Париж, где блестяще окончил частную иезуитскую школу, а двадцати лет так же блестяще Королевскую академию изящных искусств в Брюсселе. Им овладела страсть к странствиям, он открывает для себя французскую живопись, приемный отец посылает его в Марокко. Благодетель его напрасно ждал первых работ Николая, обижался на него, упрекал юношу в бездельи. Николай отвечал, что жизнь его будет бурным странствием, но корабль его еще не построен: «Медленно, часть за частью его строю. Мне понадобилось шесть месяцев в Африке, чтобы понять, в чем именно заключается живопись... Быть художником это не значит рассчитывать, а жить как дерево, не ускоряя брожения сока, ждать наступления лета, но для этого нужно терпение и еще раз терпение». Эта переписка привела к разрыву, и почти до конца жизни Николай де Сталь испытывал нужду. После Африки он встречает юную художницу Жанну Гийу, которая становится его подругой. Он общается на время к кубизму, знакомится с Корбюзье, с Браком, с Соней и Робером Делоне. По возвращении в Париж он выставляется вместе с Кандинским и другими в галерее Жанны Бюше. Еще в войну Жанна Бюше выставляла в двух шагах от немецкой комендатуры живописцев, которых оккупанты квалифицировали как представителей «де-

генеративного» искусства. (Поразительно, как сходны реакции тоталитарных наставников искусства на все, что им чуждо или непонятно. Ведь и Никита Сергеевич Хрущев, впервые увидев картины наших современных художников в московском Манеже, тоже, если помните, не задумываясь вынес сходный приговор, сформулировав его, впрочем, по-простецки, по-уличному. «Пидорасы!» — сказал он...)

В эти годы Де Сталь знакомится с графом Андреем Ланским, оказавшим на него определенное влияние и познакомившим его с меценатом-промышленником Жаном Борэ. Несмотря на всех меценатов, на выставку в галерее Жанны Бюше в 1945 году, нужда еще держит художника за горло, и 18 апреля 45-го он посылает записку к коллекционеру: «Жан, завтра отключают воду и газ... у меня нет ни копейки. Дайте две тысячи до понедельника...» В это время де Сталь обращается к абстрактной живописи и вскоре приходит к нему слава. Однако после всех лишений он испытывает неуверенность в себе. Он пишет, что добивается непрерывного обновления, и говорит о вызвышенной хрупкости своей живописи «под видимым неистовством и постоянной игрой силовых линий». Только в 1953 году Де Сталю удалось подписать выгодный контракт с нью-йоркским галерейщиком, и он сообщил другу Ланскому: «Все зашевелилось, моя живопись начинает превращаться в крупное денежное предприятие, какая мерзость, но что поделаешь... Я миллионер!» Миллионером он, впрочем, так и не стал, жить ему оставалось недолго, да и вообще миллионерами становятся, как правило, не художники, а те, кто торгует их картинами.

С 1954 года Де Сталь пишет с натуры совершенные и смелые по композиции картины, а его «Порт Антиб», датированный 1955-м, считают шедевром современной живописи. В том же году одуревший от бессонницы и снотворного Николай Де Сталь шагнул, возможно в полусне, в открытое окно в Антибе и разбился насмерть. Неизвестно, было ли это самоубийством... Об этом человеке рассказывают легенды — о том, как он предлагал свое полотно за бутылку, рассказывают о его голосе, о его внешности. «Художники, которых мне приходилось видеть, — пишет его французский коллега, — они все были небольшого роста, а этот был гигант; у них никогда не было такого низкого голоса,

как у Николая, голос его заполнял комнату, приводил в дрожь стены и опускался до басов, терявшихся где-то в неведомом регистре инфра-звуков».

Последняя незаконченная картина Де Сталя висит в холле Музея современного искусства в Париже...

Не менее яркой фигурой парижской школы художников был и друг Де Сталя граф Андрей Михайлович Ланской. Когда произошла революция, ему было пятнадцать лет, он успел только год проучиться в частной гимназии и год в Пажеском корпусе. По замечанию одного из художественных критиков, Ланской в своем живописном творении воспроизводит образ новой природы. «Как Бог создал человека по своему образу и подобию, так и художник отражает в картине образ и подобие своего внутреннего мира», — говорил Ланской. Для него не было противоречия между фигуративной и абстрактной живописью, ибо, по словам Ланского, «не то, что входит в глаз художника, обогащает картину, а то, что выходит из-под его кисти». Он учился у Сергея Судейкина, испытал влияние Михаила Ларионова, но только в сороковые годы на полотнах Ланского, по словам Маркадэ, появился особый «мистический свет, исходящий из недр изначального хаоса, прошедший через призму духовности». Он создавал также гобелены, он иллюстрировал книги, создал замечательные иллюстрации к «Запискам сумасшедшего» Гоголя. Он очень любил Велемира Хлебникова и ощущал некое родство с ним. Приятель его вспоминает: «Надо было слышать Ланского, читающего:

И черный рак на белом блюде
Поймал колосья синей ржи».

Заметной фигурой среди художников Парижской школы была Анна Старицкая, унаследовавшая многие из достижений этой школы. Талант Старицкой проявился в ее коллажах, в произведениях оригинальных, невиданных форм, в ее книжных иллюстрациях, в композиции букв, строк, литер, фрагментов стихов и старинных текстов. Она читала с пристрастием к старинным книгам, к колдовским «заговорам», выпустила на хлопчатобумажной ткани пятнадцать экземпляров «Заговора Оборотня» и один экземпляр «Книги Знахарей». Очень была самобытная художница.

Станислав Малевич, прошедший через академический и абстрактный периоды, снова вернулся к фигура-

тивной, но своей, особой, на границе абстракции живописи, к тому, что он называл «преображенной реальностью». Член Французской Академии Эрве Базэн писал о нем, что художник переварил абстракцию и теперь «ему хочется удовлетворить зрачок, мозг. Он создал целый мир холмов, обрывов, городов, увиденных с птичьего полета и преобразенных светом».

В 1957 году умер еще один художник, принадлежащий к Парижской школе (иногда их называли также парижские русские),— Иван Пуни. Вскоре после смерти его состоялась выставка Пуни, и знаменитый французский критик писал в связи с этим в «Фигаро», что Пуни один «из художников... которым легко войти в ту идеальную область, где все — живопись, свет и тонкое искусство». Другой критик, Максимилиан Готье, говорил, что несомненной является глубокая и драгоценная оригинальность Ивана Пуни.

За рамками нашего рассказа остались еще несколько мастеров этого удивительного созвездия русских художников, которые прославились после войны как Парижская школа, или Парижские русские.

КОГДА ОТШУМЕЛО ГУЛЯЙ ПОЛЕ...

(Нестор Махно)

На 87-м участке парижского кладбища Пер-Лашез, того самого, куда советских туристов всегда возили для возложения венков на могилу товарища Жака Дюкло, случайный русский посетитель может увидеть на могильном камне полузабытое имя, вызывающее в памяти неясные образы из детства — из книг и фильмов: Нестор Махно. А еще чуть подалее еще одно, вовсе забытое,— Волин.

Нестор Махно. Батька Махно... Еще живо поколение, помнящее, как няньки пугали этим именем не в меру расшалившихся детей. Более позднее, наше поколение помнит советские фильмы о гражданской войне, где непременно присутствовали экзотические бандиты, их фантастические попойки, кровавые расправы, а также сам батька Махно, длинноволосый,

с безумным взглядом, в кругу собутыльников, поющих что-нибудь вроде:

Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить...

Совершенно для нас мифическая фигура. И вдруг — такая вот вполне прозаическая могилка на участке 87 парижского кладбища, что в XX округе этого мирного города. Да разве он бывал здесь?

Мне вспоминается, что почти так же удивился романист Алданов, когда на каких-то довоенных похоронах в Париже приятель-журналист вдруг сказал ему:

— Вон идет батька Махно, хотите я вас познакомлю?

Еще б этого было не хотеть любопытному Алданову! Однако во время процедуры знакомства возникли немалые трудности. Щепетильный Алданов (неплохо знавший к тому же историю гражданской войны в России) просто не мог заставить себя подать руку батьке Махно. Может, ему чудились на ней пятна несмываемой крови.

Так что уже для Алданова этот бледный маленький человечек, скромно живший где-то неподалеку от него в Париже, был фигурой мифической. Впечатление это не рассеивается сегодня при чтении очерков и воспоминаний о Махно, напечатанных в старых эмигрантских журналах. Прежде всего потому, что они настолько противоречат друг другу, что временами непонятно, об одном ли человеке идет речь. Впечатление это только усиливается, когда открываешь издания «Группы русских анархистов в Германии», выпустивших книгу Петра Аршинова о Махно, или издания «Комитета Н. Махно», выпустившего трехтомник самого батьки Махно, который называется «Под ударами контрреволюции». Хотя кое-что при чтении все же проясняется, особенно если разделять ту точку зрения, что «стиль — это человек». Заглянем в начало второго тома воспоминаний Махно, отредактированного, как тут сказано, для большей грамотности его бывшим председателем реввоенсовета Волиным. Тут рассказано, как батька узнал, что организованная им еврейская рота предпочла ему австрийцев, и как он страдает по этому поводу:

«Я прилег, положив голову на колени одного из

красногвардейцев, и бессознательно выкрикивал: «Нет, нет, я этой изменнической роли шовинистов не забуду! Может быть и стыдно революционеру анархисту питать в себе мысли о мести, но они поселились во мне, и я сделаю для них для дальнейшей своей революционной деятельности необходимые выводы»...

Тут многое можно разглядеть, в этих строчках,— истеричность, руку, которая сразу тянется к шашке. А что это за рота революционеров, которая сбежала от Махно несмотря на его многочисленные утверждения, что он-то и был на Украине в ту пору главный борец против антисемитизма и погромов? Что ж, он-то, может, и был борец, но ведь была у него вольница, которая знала, что главное для анархиста — полная инициатива трудящихся, вольность и «грабь награбленное». Война этих людей уже приохотила к крови... Что касается его мыслей о мести и убийства, то вот вам еще из первоисточника: «Я допускаю мечь, и жестокою мечь, только по отношению к тем, кто является виновником строя, не могущего обойтись без тюрем». По поводу беглых своих союзников батяка говорит, что их всех надо было убить в певый же день, теперь что-то настроения нет. Итак, убивать можно и нужно, недопустимы только закон, тюрьма и прочие приметы правового государства: идеи славные!

Нестор Иванович Махно родился на Украине в селе Гуляй Поле в 1884 году, в бедной крестьянской семье. Рассказывают, что он был с детства молчалив, замкнут, мстителен. Учился мало, но позднее как будто прошел курс в каком-то училище и даже сдал экзамен на сельского учителя. Встретился с анархистами, работал некоторое время учителем близ Мариуполя, потом был сослан в родное село под надзор полиции за агитацию. Говорят, что он пользовался большим влиянием, умел подчинять себе молодежь, что уже тогда его парни совершали налеты на погребца, но с полицией он умел ладить. То есть был хитер, дипломат. Потом пришла революция 1905 года, и Махно на чем-то попался. Один автор пишет, что он совершил со своей бандой палет на бердянское казначейство, другой, что он убил безобидного пристава на базаре. Может, было и то, и другое. Анархист Волин сообщает нам довольно туманно, что Махно «долго и упорно боролся с царско-помещичьим строем и все-таки был схвачен сатрапами этого строя и судим». Борьба с сатрапами

явно носила характер террористический. Существуют направления анархизма, которые проповедуют мирные средства построения безгосударственного общества. Ни Махно, ни Волин, ни Аршинов к этим направлениям анархизма не принадлежали. Рабочий Петр Аршинов в 1919 году взорвал полицейский участок, а позднее застрелил начальника военных мастерских. Считалось, что полицейских, армейских офицеров, буржуев и прочих «сатрапов» следует убивать, как собак.

Махно был судим, сослан в Акатуй, пытался бежать, был снова наказан, а в 1917 году выпущен по всеобщей амнистии и вернулся в родное село, где сразу стал фигурой революционно-романтической. Он был выбран председателем волостного исполкома и встал во главе вооруженного отряда. По утверждению мемуаристов, он совершал налеты на поезда и стал грозой Новороссии. При этом он проявил военные таланты. Он умел совершать неожиданные эффективные налеты. Авторитет его рос, крестьяне шли за ним, шли к нему. Шли к нему все, кто был недоволен оккупантами — австрийцами и немцами, кто был недоволен гетманом, недоволен Добровольческой армией, белыми, не научившимися считаться с крестьянской массой. Позднее к Махно пришли также русские офицеры, уволенные гетманом. Махно умел прислушиваться к настроению крестьян, он щедро расплачивался с ними за продовольствие, за отбираемых лошадей и выступал в роли такого украинского Робин Гуда. Если прибавить к этому военную удачу, победы, его неуловимость и дар влияния на толпу, станет понятно то поклонение отцу и благодетелю, которое и принесло ему эту кличку «батька»; то бишь отец.

Высокие теории Махно предоставил приехавшим к нему анархистам, Волина он сделал председателем реввоенсовета, а сам скакал на коне, искусно стрелял из пулемета и успешно лавировал между разнообразными силами, поочередно терзавшими (или «освобождавшими») в то время несчастную Украину. В промежутках между боями Махно, если верить мемуаристам, вместе со своей вольницей, наряженной в живописные одежды и опоясанной для шика пулеметными лентами, предавался кутежам и расправам. Рассказывают, что он вырезал как-то целый австрийский отряд, а с захваченными в плен офицерами двое суток проиграл в карты. После чего и офицеров расстрелял тоже.

В плане, так сказать, мирного строительства были организованы близ Гуляй Поля три коммуны, ибо анархистская теория предусматривала создание федерации коммун. Выяснить, способны ли существовать такие коммуны, не было времени. Опыт был накоплен Махно главным образом военный. Воевал он чаще всего против белых, вступая в союз с большевиками и помогая большевистским военачальникам — то Дыбенко, то Антонову. Красные использовали его по необходимости, понимая, что раньше или позже им придется от него отделаться. В 1918 году Махно совершил больше сотни удачных налетов, а в конце года захватил Екатеринослав. Один из мемуаристов вспоминает о первых днях после вступления махновцев в город: «Это был такой разгром цветущего города с пятидневным грабежом, которого до того еще не видел ко всему, казалось, привыкший Юг России даже в дни нашествия красного Муравьева». Анархист Аршинов в предисловии к своей книжке о Махно предупреждает, что «все сказки о бандитизме, антисемитизме с появлением этой книги должны сойти на нет». Но прочитав эту книгу, что по-русски, что по-французски, не чувствуешь особой неоправдоподобности бесчисленных рассказов о бандитизме махновцев. Да и сам Аршинов, описывая, например, конфликт Махно с атаманом Григорьевым, невольно проливает свет на нравы, царившие в пятидесятитысячной армии батьки Махно. Летом 1919 года Махно пригласил атамана Григорьева на съезд, где ошибки Григорьева были подвергнуты критике товарищей-анархистов, обвинивших его «в погромах и других действиях». «Последний, — пишет Аршинов, — увидел, что дело принимает для него страшный конец. Он схватился за оружие. Но было поздно. Семен Каретник — ближайший помощник Махно — несколькими выстрелами из кольта сбил его с ног, а подбежавший Махно с возгласом «Смерть атаману» тут же дострелил его». Некоторые мемуаристы сообщают, что Махно завидовал успехам Григорьева, но даже если это не так, сценка, нарисованная Аршиновым, весьма выразительна.

Командование Красной Армии сперва давало Махно военных специалистов, но вскоре убедилось, что до конца Махно подчиняться им не будет. Тогда Махно пришлось отбиваться уже и от Красной Армии. Он был разбит, оттеснен к границе, ушел в Румынию,

потом в Польшу и угодил в варшавскую тюрьму. Там он, якобы, заявил посетившему его русскому журналисту, что еще вернется на Украину и «будут моря крови... кровь, как вода в Днепре». Так что возвращение его вряд ли сулило что-нибудь доброе.

Но он не вернулся. Он оказался в мирном Париже. Его с пиететом, даже с восторгом встретили здесь местные анархисты. Они искренне ценили в нем героя, впервые принесшего реальные, военные победы их столь немолодой уже теории. Многие умиленно говорили о его чистоте и наивности. Среди анархистов этих было много прекрасных идеалистов, немало догматических прогрессивных евреев. Может, отчасти этим объясняются такие типичные для Махно тех лет высказывания: «Никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархо-махновцы». Вообще Махно встревожен был тогда своей дурной славой среди русской эмиграции, он искал кто бы написал книгу о нем. В его собственной книге — в основном описания военных операций, но есть там живые встречи, разговоры. Например, рассказ о встрече со стареньким Кропоткиным или о встрече со Свердловым, который привел его к Ленину. Ленин понравился анархисту — вообще Махно было лестно общаться «с богами». Вот небольшой отрывок из этой главы:

«— А разве анархисты когда-либо признавали свою беспочвенность в жизни настоящего? Они об этом никогда и не думают, — подхватил Ленин.

На все это я сказал Ленину и Свердлову, что я полуграмотный крестьянин и о такой запутанной мысли об анархистах, какую товарищ Ленин сейчас мне выражал, спорить не умею...

И тут, видя, что я немного разнервничался, Ленин старался отцовски успокаивать меня, с утонченным мастерством переводя разговор на другую тему».

Вспоминается в связи с этой беседой наблюдение историка Михаила Геллера: «Крестьянство шло за анархистом-коммунистом Махно. Но это море восстаний не казалось Ленину достаточным основанием для отказа от немедленного строительства коммунизма и не представляло серьезной опасности для власти».

Полуграмотный оратор, батька Махно, по мнению теоретиков анархизма, напоминал самого Демосфена революции — Троцкого. Да и Махно явно ценил

этого рода красноречие. Поэтому, попав в Москву, он, по его признанию, «поспешил направиться на митинг Л. Троцкого, которым как оратор увлекался не только я... он этого заслуживал. Он умел говорить, и им можно было увлекаться. Правда, этому много помогало особо острое в смысле боевизма партии большевиков время». Если этот крошечный шедевр и не даст нам портрета красноречивого Троцкого, то, может быть, добавит хоть штришок к портрету самого батьки Махно.

СТРАННИЧЕСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ЧЕЛОВЕКУ...

(Преосвященный владыка Иоанн)

Характерным для Первой русской эмиграции явлением было обращение к православной религии, мощное возрождение религиозного чувства как среди интеллигенции, так и вообще в широких массах эмигрантов. Этому способствовали и тоска по родине, и обострение национального чувства в иноязычной, инородной среде, и мысль о том, что страшные события, приведшие в изгнание, были вызваны, в частности, тем, что люди забыли Бога. К тому же двери в чужую, окружавшую их жизнь, были для эмигрантов закрыты, открытой оставалась дверь храма. И люди шли в храм.

Середина двадцатых годов, по выражению одного из молодых деятелей русской зарубежной церкви, стала «религиозной весной русской эмиграции». «Это было лучшим ответом русской эмиграции на все, что происходило в это время с церковью в России,— писал этот молодой священник.— Церковь для русских изгнанников переставала быть чем-то внешним, напоминающим лишь прошлое. Церковь... становилась смыслом и целью всего, центром бытия. Изгнанникам русским Господь давал крылья, показывал им небесную родину». Священника, написавшего эти слова, звали отцом Иоанном. Ему было двадцать семь лет, он совсем недавно ушел из мира, где его называли

князем Шаховским. Это был князь Дмитрий Алексеевич Шаховской. Как и его сверстникам, на его долю выпало немало испытаний, хотя поначалу жизнь складывалась так безмятежно — хорошая семья, имение в Тульской области, школа в Царском Селе и Александровский Царскосельский лицей, где еще со времен Пушкина царила поэзия. Впрочем, по воспоминаниям самого отца Иоанна, по лицу в те смятенные годы уже ходил антиприветственный стихотворный и прозаический самиздат. Идиллия детства рано подошла к концу, и юного Дмитрия ждали испытания. Сперва — развод родителей, потом происшедшее почти что на его глазах зверское убийство отчима террористом: эпидемия ненависти, предсказанная Достоевским, вскормленная кровью никому не нужной войны, уже тогда вышла из повиновения. А потом революция, арест матери, которой грозил расстрел, скитания по России, недолгая служба в Добровольческой армии, где подростку довелось увидеть ад и кровь войны. В ростовском госпитале Дмитрий отметил свое шестнадцатилетие. И снова скитания, недолгая служба во Флоте и вот — эмиграция: Принцессы Острова, Константинополь, наконец, Париж. Там молодой Шаховской начал учиться в Школе политических наук, а позднее он уехал в Бельгию, в старинный Лувенский университет, где изучал экономику.

В тихом Лувене юный Шаховской пристрастился к стихам. В 1923-м выходит первый, а уже в 1924-м второй сборник его стихов, довольно благожелательно встреченных критикой. В 1924 году, получив материальную поддержку от товарища, Дмитрий Шаховской начинает издавать свой собственный журнал, название которого — «Благонамеренный» — было явно навеяно строкой из «Онегина». К участию в журнале Дмитрий Шаховской привлек; кроме молодежи, и маститых русских писателей — у него печатались Ходасевич, Цветаева, другие. Очень любопытна опубликованная в книге «Биография юности» переписка молодого редактора с такими светилами, как Бунин, Степун, Мочульский, Ходасевич, Ремизов, Алданов, Муратов, Зайцев, Георгий Иванов... Иванов, кстати, написал Шаховскому довольно-таки надменное письмо, выговаривая молодому редактору за то, что он посмел не взять стихи Одоевцевой. И надо сказать, что молодой поэт и редактор ответил старшему с огромным чув-

ством достоинства. Но самой интересной была переписка Шаховского с Мариной Цветаевой. Знаменитые двадцать писем Цветаевой к молодому, красивому поэту и редактору давно преданы гласности, но на последнем из этих писем следует остановиться хотя бы в связи с комментариями отца Иоанна. Дело в том, что тогда же, по признанию отца Иоанна, одновременно с его полуучебой в университете, полулитературствованием, полусозерцанием шел в нем другой процесс — процесс очищения сознания, процесс покаяния. Менялся в нем «внутренний», «сокровенный» человек. Весной 1926 года Дмитрий Шаховской написал своему духовнику, что жизнь в Европе становится для него духовно трудна и он просит благословить его на отъезд в Африку, в Конго. Владыка Вениамин не дал Дмитрию благословения на Африку и написал ему: «Ваш путь: монашество и Духовная Академия — служение Церкви». Дмитрий Шаховской встретил эти слова духовника с полным приятием.

Весть о том, что молодой, красивый и талантливый поэт, редактор «Благонамеренного» решил постричься в иночество, удивила многих. Цветаева написала своему другу горячее письмо: «Мне жаль Вас терять — не из жизни, я сама — вне, из третьего царства — не земли, не неба — из моей тридевятой страны, откуда все стихи». Отец Иоанн заметил позднее по поводу этого письма Марины: «Строки эти ее значительны. И думаю, остро биографичны. Вижу их раскрытие в финале «Мастера и Маргариты»: не небо, не ад, а какое-то другое, третье (неясное) место в вечности для людей. Конечно, такого места нет, но Цветаева и М. Булгаков хотят, чтобы оно было, место, лишенное божественного света, но соответственное любви земной и земному человеческому творчеству... теперь я от этого уходил... из всего «третьего царства». А Марина оказалась ему верна до конца своих дней. И царство это ее не пощадило и растерзало. Потому что вообще его нет, этого *третьего царства* в мире духа. Терциум нон датур» *.

Дмитрий Шаховской был пострижен на Афоне и принял имя Иоанн в честь Иоанна Богослова. Он, с детства развивавший в себе «чувство России» и «русскости», не хотел теперь, чтоб его звали прежним

* Третьего не дано (*лат.*).

именем. Вот как он писал об этом позднее: «Вступив на иноческий путь, я ощутил в себе сильное отталкивание от всего временного, «тленного», «родового», узко «националистического». Я так насмотрелся этого узкого, бездуховного национализма, что впал в крайность, меня коробило от одного упоминания, что я «Шаховской». (А когда к этому добавляли и мой титул, для меня это было непереносимо.) Духовная реальность Царства Божия, в которую я вступил... чувствовалась мною гораздо более интенсивно, чем все титулы мира сего, казавшиеся мне и жалкими и претенциозными».

Объясняя этот свой юный максимализм и не раскаяваясь в нем, отец Иоанн говорит, что человек не должен духовно себя утверждать ни в своих предках, ни в потомках, ибо высшей стороной своей человек открыт миру духа и истины, «бессмертному спасению в высшем бытии».

Недолгое время отец Иоанн учился в Свято-Сергиевской духовной академии, потом был отозван в Югославию, рукоположен в иеромонахи и начал священническую деятельность, не прерывая ни писательских, ни издательских трудов. Только теперь это было изданием духовной литературы, и все книги и стихи его отныне были тоже духовной литературой. В 1932 году отец Иоанн становится настоятелем берлинского храма Святого Владимира и благочинным русских приходов в Германии. Трудные годы выпадают на долю молодого священника. Приход Гитлера, режим тоталитарного страха, война... Гитлеровскими властями была признана только «карловацкая» православная церковь (то самое реакционно-мракобесное, политизированное ответвление зарубежной церкви, которое в такой чести сегодня у нашей «Литературной России»). Приход о. Иоанна подчинялся митрополиту Евлогию. Гестапо допытывается у подозрительного русского священника, как он относится к евреям, ибо расизм — это новый символ веры, последнее достижение фашистского прогресса. «Не могу относиться иначе, чем Церковь, священником которой я состою,— отвечает отец Иоанн.— Для нас не должно быть ни еврея, ни эллина...»

В Германии появляются русские, угнанные на работы («осты»). Власти запрещают отцу Иоанну впускать их в церковь. «Когда двери церкви открыты, в них может войти всякий»,— отвечает он спокойно. Если

б только гитлеровцы узнали, что за утешением к отцу Иоанну приходят тайком и евреи, ему бы не сдобровать. Впрочем, и без того гонения на него усиливаются. В гестапо поступает донос о «неарийском», якобы, с примесью еврейской крови происхождении отца Иоанна. Это его, Дмитрия-то Шаховского, чей род записан в Государев Родословец, чье имя внесено в Бархатную книгу. Воистину унижительно доказывать расистам, что ты не русский, не еврей, не цыган, не китаец, не грек... Но в конце концов он был «очищен от обвинения», признан «арийцем»: он выжил. Он никогда не рассказывал об унижительном этом дознании, да и не думала тогда Европа, что когда-нибудь повторится расистский ее позор. Как ни прискорбно, оптимистические эти ожидания не сбылись. Совсем недавно советский писатель Солоухин счел важным повторить в новой своей книге то самое страшное, с расистской точки зрения, обвинение, сообщив читающей русской публике, что владыко Иоанн, князь Дмитрий Шаховской, дескать, «полуеврейского» происхождения. Бог ему судья, Солоухину...

После войны архимандрит Иоанн, уже будучи, впрочем, епископом, становится деканом Свято-Владимирской духовной академии в США, а потом — архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским. С 1954 по 1968 год он был также членом Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей и одним из виднейших деятелей экуменического движения. Он много пишет, издает духовные книги. Их у него восемнадцать. Пока вышло только семь томов его избранных трудов, но их гораздо больше. Как миссионер он объездил весь свет — и не был только на родине. Но слово его проникло в Россию — с 1948 года на протяжении сорока лет он еженедельно беседовал с соотечественниками по «Голосу Америки», тысяча пятьсот бесед! У него появились в России друзья, ученики. Когда приоткрылся «железный занавес», они стали посещать его. Он был открыт для всех. Он протягивал руку всякому, кто пытался искать Бога. Для него не было государств, партий, политики. Еще совсем молодым написал он, что «задачи Церкви столь же возвышаются над государственными задачами, сколь небо над деревом», и звал «не поработаться политикой». Потому и домысел того же Солоухина, что владыко Иоанн принадлежал «к монархической...

ветви русской... церкви», а также писательская ирония по поводу того, что владыка был «персона... для советских людей рукопожатная», — бьют мимо цели.

Владыка Иоанн считал, что подозрительность и политическая бдительность не пристали священнослужителю... И он пожимал всякую протянутую ему руку, веря, что зло в человеке может быть побеждено. В этом смысле показателен случай, происшедший в Соединенных Штатах в 1953 году, когда в связи со смертью старого эсера Владимира Михайловича Зензинова нью-йоркская монархическая газета «Россия» разразилась неистовой бранью в адрес покойного: «Пусть будет проклят день и час, когда появились на русской земле все эти взбесившиеся барчуки-декабристы... Пусть будет проклята утроба матерей, выносивших вас, и сосцы, вскормившие всех этих безумцев». Я привожу эти проклятья, ибо они довольно типичны для эмигрантского стиля, для незатухающей ненависти «зубров» к либералам и «левым». Владыка Иоанн Сан-Францисский счел необходимым ответить на этот взрыв ненависти в «Новом русском слове», что вызвало, в свою очередь, новый приступ ярости черносотенной прессы. Вот что он написал тогда: «Я никогда не принадлежал ни к «левым» ни к «правым», и сейчас тем более, как пастырь, не принадлежу ни к тем ни к другим, и мне одинаково дорога всякая душа человека, как бы ни называла она себя в этом мире... «Левизна» и «правизна» имеют для пастыря не тот смысл... как в политике, а тот, который раскрывается в евангельском образе Божьего суда над человечеством... На левой стороне стоят все, не понимающие своей виновности и ответственности перед Богом, а на правой стороне — все, кто не подозревает о своей перед Богом праведности».

Напоминая, что покойный Зензинов пытался всю жизнь служить «высшему добру» и отдавал жизнь за ближних, владыка Иоанн пишет: «Я верю, что таких людей, «верных в малом», Всемогущий Творец... узнает и признает за своих... Но это все тайны веры, тайны Будущего Века...»

Поэзия не ушла из его жизни. Он продолжал писать стихи и выпустил еще десять сборников под псевдонимом Странник. В книге «Биография юности» у отца Иоанна есть несколько слов о странствиях: «...нигде я не чувствовал землю более, чем *странническим* чув-

ством. Это чувство одно из крепких чувств и связей мира. Во всяком человеке есть мимолетность. Она составляет его легкость и мудрость, которая нужна ему среди всех феноменов его преходящего существования. *Странничество* соответствует человеку».

Земное странствие владыки Иоанна завершилось совсем недавно в американском городе Санта Барбара. В этом человеке совмещались те самые два выражения веры, о необходимости которых он сам писал, — «мягкость в человеческих отношениях и твердость в убеждениях веры». Он прожил счастливую жизнь и так говорил об этом: «Может, за одну... быстроту моего отклика на Его зов Господь словно на руках понес и пронес меня, немощного и неумелого, по всем трудностям иноческой и пастырской жизни и даровал мне свободу от всяких колебаний на этом пути, оставив лишь в моей душе одно недоумение о необъяснимости Его милостей».

ЭРУДИТ И ДЖЕНТЛЬМЕН

(*М. А. Алданов*)

Всякий раз, когда я прихожу поработать в какой-нибудь из великолепных старинных залов парижской Библиотек Насьональ, мне вспоминается этот наш соотечественник — исторический писатель Марк Алданов. Очутившись в Париже в составе какой-то делегации в 1919 году, он пришел вот сюда, в библиотеку, и стал самым завзятым ее посетителем. Думаю, здесь он и был счастлив. А значит был вот такой счастливый, ну, пусть даже не счастливый, а вполне удачливый русский эмигрант. Здесь вот он сидел допозна, перерывая груды книг и документов, потому что хотел быть предельно точным, честным историком.

Он был химик по образованию, и химик дельный, знающий. В Париже у него вышло множество специальных статей и книг по химии, с мудреными названиями, вроде «Актинохимии», с мудреными формулами. Но именно здесь, в Париже, а может, именно в залах этой вот Библиотек Насьональ, Алданов стал

историческим романистом и эссеистом. Тогда, в 1919-м, он начал работать над первым своим романом — про Наполеона и остров Святой Елены. В школьной тетрадке Наполеона была детская запись, которая оказалась пророческой — «Святая Елена, маленький остров». Пророческой для Наполеона и пророческой для русского романиста. Алданов с робостью и добросовестностью писал этот свой первый роман, который позднее стал заключительной книгой его тетралогии «Мыслитель».

Он ждал провала, он был тогда начинающий писатель: в России у него вышли только очерки о Толстом и Роллане, а тут вот — все же первый роман. Этот его еще довольно робкий роман имел успех, и Алданов сразу пишет новый роман, на мой взгляд, один из лучших своих романов — «Девятое термидора». Пишет с добросовестностью, с точностью, со страхом Божиим. В новом романе уже больше свободы, здесь у него выдуманный персонаж, некто Шталь, который гуляет потом по его тетралогии, лицо второстепенное, свидетель событий. Алданов не позволяет себе кляквы, никаких раздольных выдумок в стиле сермяжного Пикуля — он бережно обращается с историей. Помните, у него есть эпизод заседания в Конвенте — решающий момент в судьбе Робеспьера? Шталь видел все до этого момента, потом он задремал — вполне естественно, казалось бы, сколько можно слушать речи. Когда герой проснулся — все было кончено. Задремал герой Алданова не случайно: историки так и не сошлись в описании этого момента, и эрудит Алданов не берет на душу лишнего.

Знал Алданов очень много — особенно о предмете, о котором брался писать. Знал исторические здания Парижа и Рима, переулки, закоулки, знал, где что происходило и когда — от этого блеск его ассоциаций. Если он оказался с друзьями на площади Данфер-Рошро, у памятника маршалу Нею, это Алданов, а не живущий здесь всю жизнь француз припомнит, что Ней был расстрелян именно на этом месте. Если он пишет о ненависти князя Чарторыйского к русским, он вспомнит, что Чарторыйский-то был незаконнорожденный сын фельдмаршала, князя Репнина — и так далее и так далее... Он знает и «малую историю», большие и малые истины. Эрудиции его поражаются современники, над ним не посмеивался даже Мереж-

ковский, почтительно к нему обращавшийся на заседаниях своей «Зеленой лампы» — за справочкой, как к энциклопедии, — это эрудит-то Мережковский.

«Девятое термидора» имело огромный успех у русских читателей. Алданов стал самым любимым, самым читаемым писателем среди эмигрантов. Его ценят и простые читатели и эстеты, о нем положительно отзывается Сирин-Набоков, а Бунин, открывая книжку «Современных записок», ищет прежде всего Алданова, потом разрезает и читает, немедленно. Бунин спросил у Бахраха как-то вечером в Грасе: «Вот вы бы не дали, небось, Нобелевской премии Алданову? А я бы непременно дал». Бунин говорил, что под алдановской характеристикой Александра II сам Толстой подписался бы. А Бунин, как и Алданов, был восторженным почитателем Толстого. Они часами говорили вдвоем о Толстом...

«Девятое термидора» выходит по-французски и приводит в ярость французских читателей: это памфлет на Великую революцию! Но Алданов только что пережил русскую революцию, видел все это вблизи — то, чего не видели и представить себе не могли лучшие из французских историков. Он как-то сказал приятелю-журналисту: «Не так уж велик был средний уровень, умственный и моральный, людей 1793 года. Русские исторические деятели, не только самые крупные, как Суворов, Пален или Безбородко, но и многие другие стояли в этом отношении выше...» А русскую историю Марк Алданов-Ландау не только знал, но и любил самоотверженно. Этим он напоминает скончавшегося недавно русского, или, как поет Долина, «российского историка» Натана Эйдельмана. Поражает работоспособность Алданова — два с половиной десятка романов, рецензии, поденная газетная работа, и библиотеки, архивы, поиски, интервью, встречи с теми, кто что-то нужное видел, кто еще помнит, с теми, кто знает, — он был жаден до этих встреч, как неистовый газетный репортер. И при этом у мягкого, мухи не обидевшего в жизни джентльмена Алданова — совершенно железная логика и железная бескомпромиссность. Я много читал и слышал об этом от старых эмигрантов, друзей Алданова. Вот Бунин и Алданов видят в парижском кафе заезжего московского гостя, бывшего своего друга, обаятельного и безнравственного Алексея Толстого. Бунин, не выдержав, идет

в объятия трижды охаянного им Алешки. Алданов не дрогнул, не встал из-за стола.

Работал он исступленно, тридцать лет создавал свою серию романов — от Французской революции до наших дней. И никогда не просил помощи у меценатов — зарабатывал сам. А литература приносила и сегодня приносит гроши. Он не голодал, конечно, но жил этот знаменитейший из эмигрантских беллетристов и журналистов скудно. Зато для других он не стеснялся просить. Просил всегда для молодых — из Литературного фонда, с болью сердечной смотрел на их нищету. Собирал деньги на билет до Америки Набокову-Сиринову, множество раз собирал для Бунина... Он не участвовал в эмигрантских склоках, в дразгах, был мягок, на удивление аристократичен. Зато был фанатиком исправлений, точности — до исступления работал над языком, над историей. Он был кладезем мыслей и цитат. Кто-то заметил однажды, что в одном только разговоре из романа «Живи как хочешь» герой Алданова цитирует Екклезиаста, Сократа, Бергсона, Луизу Мишель, Наполеона, генерала Скобелева, Вирджинию Вульф, Данте, Линкольна и еще и еще...

В его романах, этой огромной «человеческой комедии» на материале истории, среди прочих идей можно выделить блестяще прослеженную роль случая и случайности, ибо и сама «история человечества... повседневная борьба со случаем». Что было бы с Францией, если бы не перевернулась коляска Фуше? А случился ли бы Октябрьский переворот, если б не Ленин? Но ведь и само появление Ленина в Петрограде было случайностью. Если б на месте Лидендорфа оказался генерал подальновиднее, он мог бы не пропустить Ленина через Германию. И на основании пяти пунктов (таких ли уж непреложных?), изложенных Лениным на совещании в квартире Суханова, могло ведь и не быть принято решение о восстании... Тема непредвиденности событий проглядывает и в одной из самых странных книг Алданова — в диалоге «Ульмская ночь».

Алданов считал совершенно необходимым для романиста понять другого и воздать должное персонажу, который находится от него по ту сторону баррикады. Этим объясняется, как он описывал Ленина. Узнав, что многие новые эмигранты находят его Ленина слишком чуждым, Алданов с горечью писал Андрею Седых: «Мне незачем говорить, что я его не-

навижу, как ненавидел всю жизнь,— нисколько не меньше. Того же, что он был выдающийся человек, никогда не отрицал. И разумеется, не я один,— говорю только о крайних антибольшевиках, таких же, как мы с вами...»

На мой взгляд, еще более интересны, чем романы Алданова, его исторические эссе, очерки, портреты. Там тоже — огромная эрудиция, умение выбрать неожиданную, ошеломляющую деталь, фразу, эпизод. Вот прекрасный очерк о дюке Ришелье, знаменитом строителе Одессы, французском аристократе и патриоте, который во время войны против французов призвал жителей Новороссийского края «явить себя истинными россиянами». Или вот слова виновника процесса Дрейфуса Графа Эстергази: «У меня в жизни было 22 дуэли, две из-за собак и ни одной из-за женщин». За этой фразой — характер. Да и собственные афоризмы и характеристики Алданова запоминаются. Вот это, например, про Троцкого: «Великий артист для невзыскательной публики, Иванов-Козельский русской революции». Или о Леоне Блюме: «Блюм в социалистическом мире — профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица».

Когда-то Алданов выписал из Шекспира: «История — нелепая сказка, рассказанная дураком». Сам он был зачарован этой сказкой. При этом, конечно, сказка, рассказанная дураком, повергала его в грусть.

Удачливый сын эмиграции, он был человек грустный. Вечно ожидал провала или критического разноса, сдавая в печать новую книгу. Ожидал нищеты, голодной смерти — о смерти он вообще думал часто. И то сказать, эпоха заготовила его современникам немало тягостных испытаний: одно изгнание, второе, торжество охлократии, варварства, смерти. Судя по многим замечаниям, Алданов страдал от той же ностальгии, что и его друзья Бунин, Осоргин... Считается, что Алданов был скептик. По предположению одного из критиков, скептицизм был его позой. Однако, отмечает тот же критик, своеобразная писательская поза тоже немало стоит: Гумилев заплатил за нее жизнью. Критик этот как главную черту Алданова определяет его любовь к русской истории: «Прошлое России он знал и любил, как дай Бог всякому записному патриоту. И это мне представляется признаком истинной любви...» «На редкость обаятельный был

человек...» — сказала мне об Алданове дружившая с ним Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина. Разговор наш происходил в парижской Тургеневской библиотеке. Той самой библиотеке, в которой Алданов был усерднейшим читателем и, согласно библиотечной статистике, самым читаемым писателем.

МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ ЗА БАРАНКОЙ ТАКСИ

(Кн. Ю. А. Ширинский-Шихматов)

Среди деятелей Первой русской эмиграции князь Юрий Алексеевич Ширинский-Шихматов выделялся ярким характером, причудливым поворотом своей судьбы, активностью на разнообразных стезях деятельности и трагизмом кончины.

Потомок по прямой линии самого что ни на есть Чингисхана, князь Ширинский-Шихматов вышел из верхнего слоя русской аристократии. Отец его был обер-прокурор Святейшего Синода и стоял на крайне правых позициях. Это он любил говаривать в Государственном совете, что правее его — только стенка. Первая война застала молодого Юрия Ширинского-Шихматова кавалергардом. Вот как пишет об этом в мемуарах его младший приятель Василий Яновский: «Кавалергард, он воевал еще в «той» великой войне, когда рыцарские поединки не были совершенным исключением. Участвовал в глубоких разведках и кавалерийских рейдах... Быт, с которым Юрия Александровича связывали кровные узы, напоминал период, непосредственно прилегавший к „Анне Карениной“».

Яновский вспоминает, что в кабинете князя висели два портрета: первой его жены и любимой, прославленной породистой суки, победительницы собачьих выставок. У князя была даже своя теория выведения породистых собак. Кроме того, князь, конечно, великолепно разбирался в лошадях. Он помнит до тонкости все, что писали о лошадях русские писатели. В частности, он уверял Яновского, что у Толстого неправильно (с этой лошадиной точки зрения) описана атака

кавалергардов под Аустерлицем, что Толстой якобы перепутал масть лошадей первого эскадрона.

В эмиграции князь Ширинский-Шихматов начинал политическую деятельность как ярый монархист. Но прожить одним монархизмом в эмиграции нельзя было — князю пришлось сесть за баранку такси. Тем более, появилась семья: князь Ширинский-Шихматов женился ни больше ни меньше как на вдове Бориса Савинкова и воспитывал его сына. Евгения Ивановна Савинкова была революционерка, брат ее когда-то спас из крепости ее будущего мужа, знаменитого боевика-эсера. Да она и сама привозила динамит в Финляндию. В такую вот среду попал монархист князь Юрий Алексеевич. И такая ему досталась работенка. Конечно, он не остался только работягой-таксистом: на стоянках он жадно читал в полумраке — читал произведения русских славянофилов, читал Бердяева и прочих. И чтение, и пролетарское его положение, и чуждое окружение, и эмигрантская неполноценность, и нахождение в самом низу социальной лестницы, и тоска по родине — все это не могло не повлиять на него (как, вероятно, и на самого Бердяева). Бердяев выпустил в ту пору свое «Новое средневековье», книгу, оказавшую на эмиграцию не меньшее влияние, чем, скажем, его «Философия неравенства». Вслед за Леонтьевым, восклицавшим: «О, ненавистное равенство! О треклятый прогресс!», Бердяев с ненавистью писал о демократии, о конституционализме, о гуманистической морали. Нужно радоваться, писал Бердяев, отмиранию демократии, тем более, что в русских условиях — это не более, чем утопия. Правовой строй в России, право и свобода гражданина в русских условиях — это все, по мнению Бердяева, неправдоподобные утопии. Бердяев утверждал, что коммунизму нельзя противопоставлять гуманистические и либерально-демократические идеи, а только иерархию, только органическую соборность. А главное, доказывал Бердяев, в недемократических обществах может быть больше свободы, чем в демократических. Так что и зарождающийся фашизм неплох — хотя бы тем неплох, что направлен «против бессодержательного либерализма». И даже большевистская «сатанократия» и та лучше, чем демократия. Вот как он пишет, Бердяев: «Русский народ как народ апокалиптический не может осуществлять срединного гуманистического царства...

Если нет братства во Христе, то пусть будет товарищество в антихристе». Эти утверждения Бердяева имели огромное влияние на эмигрантские движения младороссов и солидаристов (будущий НТС). И те и другие прошли искушения немецкого фашизма и советского патриотизма.

Князь Ширинский-Шихматов тоже убежденно писал об «иудаизации Запада», о Золотом Тельце Израиля: весь набор этих симпатичных идей можно найти в те годы в его национал-большевизме, или, как он сам стал называть его,— национал-максимализме. Надежда у него теперь была не на возврат монархии, а на «углубление революции», надежда на националистические элементы внутри России, на армию и комсомол, на подсознательных национал-большевиков. Эти идеи князь высказывал в сборниках «Утверждения», которые издавал на свои «извозчицкие» заработки.

Причины возникновения этих взглядов прослеживаются в одном из изданий Ширинского-Шихматова — гектографированном журнале «Завтра», где один из его последователей пишет: «Мы теперь на собственном опыте знаем, что «право на свободный труд» сводится к праву одних эксплуатировать труд других, к праву этих других свободно умирать с голоду». Если к перечисленным здесь идеям добавить веру в мессианскую роль России, Третьего Рима, радость по поводу сохранения большевиками границ империи, глубокое удовлетворение ростом антисемитизма в Советской России,— то в общих чертах перед нами окажется набор идей, присутствовавших не только в национал-максимализме, но и в выступлениях вождя младороссов Казим-Бека, и в заявлениях «Национального союза русской молодежи», который позднее стал называться Национально-Трудовой Союз (НТС), единственной политической организации эмиграции, дожившей до наших дней. Конечно, эти партии даже до войны не дошли неизменными. Но в начале тридцатых они пылко разоблачали демократические свободы (благо демократические свободы Франции позволяли им это делать), с энтузиазмом похваливали «плеяду борцов за новый социальный порядок и прочный социальный мир», во главе которой шли Гитлер, Муссолини, Салазар, Освальд Мосли и другие светлые личности, смело боровшиеся против либерализма и демократии. В те годы князь Ширинский-Шихматов хва-

стал, что он еще в 1917 году изобрел национал-социализм. И надо признать: Гитлер и впрямь не был таким уж новатором. О щедро черпал из русского опыта, социалистического опыта, соединенного с русским же черносотенным опытом.

Однако, чем ближе был фашизм к власти, тем прозрачнее становились его цели, искусно прикрываемые разговорами о еврейском капитале. И когда в июле 1933 года по инициативе Ширинского-Шихматова собрался первый съезд представителей всех русских «национал-максималистов», «утвержденцев», «националистов-христиан», «четвертороссов» и попросту национал-социалистов (такие были среди эмигрантов тоже) и принят был ими устав Объединения пореволюционных течений, то там, вопреки ожиданиям, уже не было ничего ни про Золотой Телец Израиля, ни про еврейский капитал, ни про комсомол и советскую армию. Там было про христианскую этику как основу правосознания и права, про христианскую правду как социальную правду, про смысл Революции как порыв к творчеству новых форм жизни. Там были лозунги, отстаивающие свободу выборов, собраний и союзов, признание частной инициативы, требование прекращения насильственной коллективизации деревни, раскрепощения творчества от ига социального заказа. А с годами все дальше уходили русские эмигранты от соблазна черных и коричневых рубашек. Все чаще слышались признания младороссов о том, что их «доктрина России» близка «издревле русской мечте: устройства всех людей в правде и братской любви».

Когда же настоящий фашист Гитлер захватил Чехословакию, вождь младороссов Казим-Бек, чьи ребята подражали раньше фашистскому ритуалу, во всеулышанье заявил: немцам надо знать, что «симпатия русских патриотов будет на стороне Великобритании и Франции», они будут бороться с Германией «во имя русской правды». А когда немецкие фашисты объявили войну Франции, Казим-Бек послал телеграмму Даладьё с заявлением: он и все члены младоросской партии отдают себя в полное распоряжение французского правительства для борьбы против Германии. Газета младороссов писала тогда: «Страшная мораль пангерманизма, облеченная ныне в форму коричневого большевизма «пролетарской» германской нации, угрожает всем духовным ценностям человечества». Так кончился роман правых русских с национал-фашизмом.

Что до князя Юрия Алексеевича Ширинского-Шихматова, то Яновский вспоминает: в августе 1940 года, когда немцы уже были в Париже, князь Ширинский-Шихматов навестил в больнице Порт-Руаяль жену Яновского, которая только что родила дочку. «В беседе с женой,— пишет Яновский,— Ширинский-Шихматов... вскользь упомянул, что ищет удобного случая, чтобы надеть на рукав желтую [еврейскую] повязку».

Позднее кто-то донес на князя фашистам, и он попал в лагерь. Рассказывают, что в лагере князь Юрий Алексеевич Ширинский-Шихматов заступился за какого-то заключенного и был насмерть забит эсесовцами.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЬСТВА

(Русский мир Парижа)

По подсчетам префектуры, в Париже и департаменте Сены было в начале двадцатых годов 135 000 русских (согласно докладу доктора Фритьофа Нансена, выходило, впрочем, в два с лишним раза больше). Мы говорили уже о парижских писателях и актерах, священниках и богословах, однако большинству интеллигентов пришлось все же, забросив прежние профессии, встать к станку или сесть за баранку автомобиля, и главную массу русских свободных рук поглотила во Франции промышленность. На автозаводе Рено, к примеру, работало к середине двадцатых годов уже около трех тысяч русских, на Ситроэне — около тысячи... Складывались целые русские кварталы, русские округа Парижа, замкнутый русский мир со своей, как говорят ныне люди серьезные, инфраструктурой.

Местами наиболее плотного расселения русской колонии в Париже были XV округ на левом берегу Сены и XVI — на правом: в Пасси, или, как говорили попростецки, в Пассях и в Бийянкуре, близ завода Рено и Булонского леса (бийянкурский быт с его русскими пролетариями, ресторанами, уличными ссорами описан в рассказах и мемуарах Нины Берберовой). Жили,

впрочем, русские и в других частях города, скажем, в пролетарском ХХ (там, к примеру, на рю Рувэ у Черновых жила сразу по приезде в Париж Цветаева). Были еще ближние юго-западные пригороды, густо населенные русскими, вроде Ванва, Кламара или Медона.

Несколько лет тому назад я как-то пошел навестить скучающего в одиночестве во дворе дома 66 по бульвару Экзельманс каменного Макса Волошина и обнаружил, что в одной из двух вилл во дворе живут старые русские эмигранты. Они, впрочем, не знали, чье это бородатое изваяние с незапамятных времен стоит в нише рядом с их виллой, но зато показали мне две русские церквушки поблизости, одну в квартире на первом этаже дома по бульвару Экзельманс, а вторую на боковой улочке. Явившись туда в воскресенье к обеду, я увидел, что в хоре поет моя старая знакомая Наталья Константиновна Кедрова, та, что пела когда-то в ресторане «Лидо», родилась в Аничковом дворце, а девочкой гостила у Макса Волошина в Коктебеле. Она представила меня здесь же князю Голицыну, тому самому, которому принадлежал дом, что близ станций Малые Вязёмы и Голицыно под Москвой. Так вот большинство прихожан в церкви в то утро были из ближних мест русского расселения...

Сравнительно все же небольшая русская колония (не превышающая численностью какую-нибудь турецкую или португальскую) сумела создать в тогдашнем Париже свой собственный микрокосм, о котором я и попытаюсь рассказать хоть вкратце.

Мы все знаем, конечно, что не хлебом единым жив человек, но начну я все-таки с хлеба насущного. Получив получку где-нибудь в кассе завода Рено или газеты «Последние новости», человек хотел прежде всего купить хлеба, желательно даже ржаного, которого, кстати, сегодня в Париже с огнем не сыщешь. Тогда он здесь был. На улице де Розье, заселенной сегодня североафриканскими евреями — сефардами, в доме 14 в те времена был магазин «Москóвич-сын», награжденный в 1929 году парижской золотой медалью за свой ржаной хлеб и прочие русские изделия. Итак, хлеб есть. Теперь что-нибудь на закуску. И выпивку тоже. Это надо у Суханова на рю д'Отей, там и колбасы, и кулебяки, и кондитерские изделия. Там же, кстати, расположены были другие знаменитые магазины, потому что много русских жили тогда в XVI округе, близ

Отёй. На бульваре Мюрат был тоже отличный гастрономический магазин, и на рю Провэнс; в XV округе еще славился магазин Стамболи; близ бульвара Порт-Руайяль и тюрьмы Сантэ еще один русский винно-гастрономический магазин, а близ метро Трокадеро и на рю де ля Помп, в XVI, сразу две русские кондитерские. И, конечно, еще в XV — на Лекурб, на Конвансьон и на Вожирар... Насытился рабочий человек, теперь надо прохуdivшуюся обувь сменить: тоже к своему пойдет русскому торговцу — вон в XV на рю Сан-Шарль обувной магазин «Орел», а то можно и в мастерскую к Максу. Тут же неподалеку купишь готовую одежду — на авеню Феликс Фор у Я. Джигита «за умеренную цену и в рассрочку», или у Пинчевского на рю Перро — там и новое продают, и подержанное. А можно, если хотите, заказать — русских портных в Париже пруд пруди. Вот, пожалуйста, объявление: «Портной Вишкантан, как и раньше в России, шьет изящно, аккуратно, по последней моде и на исключительно выгодных условиях. Просим убедиться». Приодевшись, можно пойти в кино «Пакс» на рю Виктоар (если, конечно, еще деньги остались) — там «лучшие русские фильмы — „Деревня греха“, „Буря над Азией“, „Волга в огне“ и „Тройка“».

А в воскресенье с утра надо непременно в церковь — в каждом районе своя, по всем проулкам XV округа. Моя-то любимая и сегодня там же, на рю Лекурб, Серафима Саровского, укротно спрятана в тиши двора: когда строили ее — два больших дерева росли во дворе, жалко было рубить, оставили, вокруг них крышу сделали, и теперь тянутся к небу через церковь два ствола, а над крышею шумит листвою крона. Рю Лекурб — в сердце старого русского района, выходишь на улицу — так и ждешь услышать русскую речь, но, увы, больше не слышно...

Общественная жизнь эмигрантского русского Парижа отличалась огромной активностью. Не фабриканты патоки бежали за границу, как презрительно сказал товарищ Маяковский, а люди общественно активные и бескорыстные, люди с позабытым уже у нас импульсом общественного служения. И первой их задачей была просветительская и благотворительная деятельность. Размах этой деятельности сегодня удивляет. Вот краткий список благотворительных учреждений эмигрантского Парижа: Российское общество

красного Креста с Комитетом помощи детям, Комитетом помощи туберкулезным, Комитетом помощи больным и выздоравливающим, Комитетом попечения о сестрах милосердия. Затем Земско-городской комитет (Земгор), основанный в Париже в начале 1921 года, чтобы помогать детям русских эмигрантов. Земгор содержал или субсидировал 65 детских учреждений, где было две с половиной тысячи детей — в правлении его состояли и Авксентьев, и Руднев, и князь Владимир Оболенский, и Демидов, и Вырубов, и Переверзев... Существовал Комитет по устройству дня русской культуры во Франции под председательством бывшего русского посла Маклакова. Одним из важнейших общественно-религиозных движений было Русское христианское студенческое движение со всеми его филиалами. Были Комитет помощи писателям и ученым во Франции, Комитет помощи голодающим, Комитет помощи нуждающемуся населению в России и беженцам во Франции под председательством княгини Голицыной, Всероссийский земский союз и Общество помощи больным и нуждающимся русским студентам, Общество взаимопомощи русских женщин, общество «Самопомощь»...

Сохранялись в эмиграции прежние политические партии России, но возникла и новая организация — Русский национальный комитет, организация надпартийная, где в президиуме были и богослов Карташов, и журналист Бурцев, и Петр Струве, и князь Долгоруков. Существовало также Республиканско-демократическое объединение. Однако больше всего было, наверное, в Париже военных русских объединений — Русский общевоинский союз (РОВС) со всеми его корпусами и дивизиями, союзами офицеров, георгиевских кавалеров, гвардейцев, офицеров генштаба, Фонд спасения родины, Зарубежный союз инвалидов, Кадетское объединение, Юнкерское объединение, Военно-морской исторический кружок. Существовали в Париже многочисленные земляческие объединения: Совет Дона, Кубани и Терека, Казачий союз, Обще-Калмыцкая станица, Кубанская станица с кассой взаимопомощи и своим хором, Московское, Харьковское, Одесское, Крымское, Северное землячества, Караимское общество. Было множество профессиональных объединений — адвокатские, врачебные, инженерные, торгово-промышленные, объединения горнопромышленников

и воспитанников Александровского лицея, русских шоферов, смолянок, университетских женщин, интеллигентных тружеников и так далее, и так далее.

Существовали спортивные организации, объединения ремесленников, Общество друзей студентов-евреев.

Все эти организации помогали в нужде, в болезни, в беде. А врач нужен — тоже своего русского зовут, скажем, доктора Зёрнова или доктора Аитова. И адвокаты были свои, русские, и в русской среде известно, кто из них самый знающий, и самый честный, и кто возьмет по совести, а то и вовсе не возьмет ничего с бедняка-земляка. И аптекари были тоже свои, русские, и окулисты, и мебельщики, и белошвейки, и массажисты... А если вас тревожит будущее, то вот — ясновидящая мадам Щербатоф, рядом с метро Данфер-Рошро: «прошлое, настоящее и будущее, психоанализ и советы».

Насыщенность общественной и культурной жизни эмиграции поражает читателя, перебирающего старые парижские афиши, программы, газетные объявления. Читая недавно книгу ректора Богословского института в Париже о. А. Князева, я наткнулся на любопытное соображение. Автор пишет, что, может, оттого, что люди не собирались тут устраиваться надолго, культурная жизнь эмиграции отличалась особенной интенсивностью. Может, и так. Вот ведь новые эмигранты в Америке — книг больше почти не покупают: люди надолго устраиваются, нужна мебель... А тогда... Но вернемся к нашим афишам.

Январь 1930 года — возьмем один только день, 9 января. В Сорбонне Левинсон начинает чтение курса «Личность и труды Достоевского». В литературном объединении «Кочевье» на очередном вечере Марк Слоним читает доклад «Советская литература в 1929 году» — было еще что читать в 29-м году. А в Тургеневском обществе публичная лекция профессора Сперанского «Современная преступность». В Большом Салоне правого берега собрание членов «Русского очага» — доклад инженера Войновского-Кригера «Роль и значение русской эмиграции». А вот еще один вечер, мартовский, того же года. Религиозно-философская академия. Открытое заседание. Известный богослов Ильин читает доклад на тему «О демоническом в искусстве». После доклада прения. В тот же вечер —

собрание русских адвокатов. Доклад профессора Сперанского «Проблема смертной казни»: религиозно-философская сторона вопроса; апология палача прежде и теперь; смертная казнь и революция; трагедия Временного правительства; самосуд и высшая мера социальной защиты; террор правый и террор левый. Тургеневское общество.

Если хотите чего полегче, то вот, в тот же вечер: Интимный театр Д. Н. Кировой. Повторяется «Ревность».

Концерт-утренник писательницы княгини О. Бебутовой.

А в воскресенье два утренника:

В Юношеском клубе Саша Черный читает апокрифы Лескова

в ознаменование 35-й годовщины со дня смерти писателя.

В Тургеневской библиотеке — рассказы для детей: «Рики-тики-тави» Киплинга.

И так ведь каждый день: то диспуты, в которых участвуют и Куприн, и Цветаева, и Бунин, и Мочульский, и Газданов; то чтения, то концерты...

Не зря, наверное, многие из молодых изгнанников так дорожили парижским серым небом, с такой тоской вспоминали потом в новом американском благополучии свою полуголодную парижскую юность...

ТЕМИРЯЗЕВ, КОТОРЫЙ АННЕНКОВ

(Юрий Анненков)

Эту удивительную историю рассказала мне моя парижская приятельница, которая была свидетельницей этого происшествия и лично знала героя нашей заметки. В 1927 году в литературном еженедельнике «Звено», который издавали некоторое время в Париже Милюков и Винавер, появился рассказик, присланный на конкурс «Звена» и подписанный каким-то странным английским девизом. Рассказ назывался «Любовь Сеньки Пупсика»: очень симпатичный рассказ анонимного автора — про любовь и фантастическую судьбу

жулика в послереволюционные годы. А еще через год в престижных «Современных записках», лучшем «толстом» журнале эмиграции и, пожалуй, одном из двух-трех лучших журналов в истории всей русской журналистики (а сдается мне, что «толстых» журналов, подобных парижским «Современным запискам» или московскому «Новому миру», и вообще больше не было на свете), — так вот, в № 37 журнала «Современные записки» за 1928 год появился еще один рассказ, явно принадлежащий перу того же автора. Однако рассказ теперь уже под фамилией Темирязов — явно псевдоним. Прислан был рассказ таинственным путем, через какую-то даму по фамилии Горгулова и сразу напечатан. Какая-то мистификация...

Надо сказать, что литературные мистификации были нередки в талантливом Русском Зарубежье. Профессор Сорбонны Никита Струве считает, например, такой мистификацией подпись «М. Агеев» под известной книгой «Роман с кокаином», вышедшей в те же годы. Автором «Романа с кокаином», по мнению профессора Струве, был не кто иной, как Владимир Набоков-Сиринов, обожавший всякого рода мистификации и мечтавший однажды утереть нос самонадеянной эмигрантской критике. Так это или не так в отношении Агеева, но доподлинно известно, что Набоков напечатал однажды свои стихи под фамилией Шишков, а потом, утерев-таки нос врагу-критику, еще напечатал и рассказ про несуществующего поэта Шишкова.

Так вот, многие были заинтригованы появлением рассказа Темирязова «Домик на 5-й Рождественской» и появлением на литературном горизонте нового, таинственного и совершенно профессионального автора. Более других был заинтригован писатель Михаил Осоргин, ревностно и даже ревниво относившийся к молодой литературе, много помогавший молодым и ведавший изданием «Молодые писатели». Так что можете представить себе, каково было удивление и возбуждение Осоргина, когда на его имя пришел вдруг пакет от того же самого таинственного Темирязова через ту же госпожу, а в пакете — роман. Да еще какой роман! Ну, рассказ-другой, написанный рукой профессионала, стихотворение — это еще куда ни шло, но чтоб великолепный роман!.. Тема была та же, послереволюционная Россия, и стиль тот же — но рука, какая рука! Осоргин написал через госпожу Горгулову пи-

сымо автору и потребовал, чтоб автор явился на свидание. Мол, приходите хоть в плаще и маске, но приходите — только тогда я стану заниматься романом, предложу его издательству «Петрополис», в противном же случае — не согласен... Автор понял, что шутки с Осоргиным плохи, и явился — без маски и плаща. Осоргин смотрел на него с таким недоумением, что посетитель стал бормотать:

— Ну да, это я, Михаил Андреич, вы что же, не узнаете меня, я Юрий Анненков. Ну да, и Борис Темиразев тоже я... Вы же меня узнали...

— Узнать-то узнал, но...

— Михаил Андреевич, знаете, был даже как-то уязвлен этим,— рассказывала мне вдова писателя Осоргина Татьяна Алексеевна.

— Чем же именно?

— Ну как-то, знаете... Чтоб одному человеку столько дано талантов... Ведь это, подумайте,— Юрий Анненков...

Я задумался. А ведь и правда, обидно это как-то нашему брату литератору, когда художник так вот пишет. А с другой стороны — есть и нам чем гордиться. Хотя бы нашим обилием талантов...

Удивление Осоргина можно понять. К 1928 году Анненков был уже очень известным художником. Он участвовал в выставках «Мира искусств» еще в пору бурного расцвета русского искусства в начале века, а его книжные иллюстрации привлекли внимание знатоков в 1916 году. Дореволюционная театральная публика отметила его декорации к спектаклям Станиславского, Мейерхольда, Евреинова и других знаменитейших режиссеров, а после революции он и сам осуществил экспериментальную постановку пьесы Толстого, где драма у него сочеталась с эстрадой и цирком. В 1920 году Анненкову была поручена постановка массового зрелища под открытым небом. В зрелище этом участвовали тысячи исполнителей, и называлось оно «Взятие Зимнего дворца». В Москве Анненков писал живописные портреты деятелей революции и членов правительства. И при этом он наблюдал, все замечал, чтоб потом описать прозой. Портретист он, кстати, был замечательный и создал целую галерею портретов русских и зарубежных писателей — Пастернака, Ахматовой, Кузмина, Замятина, Есенина, Зощенко, Блока, Маяковского, Верхарна, Ходасевича,

Бабеля... Портрет Андре Жида считается одним из его шедевров.

Живописец Анненков был известен как художник-кубист, как художник-абстракционист. Написано о нем немало...

Потомок знаменитого мемуариста, он и сам оставил замечательные мемуары, вышедшие в Москве. Со временем выйдет там и его «Повесть о пустяках», так заинтриговавшая когда-то Михаила Осоргина. И вот тогда к Петербургу Гоголя, Достоевского, Белого, Набокова прибавится в нашей литературе Петербург таинственного Бориса Темирязева (он же Юрий Анненков), и читатель наш сможет оценить по заслугам еще одного русского прозаика. Пока же этого еще не случилось, прислушайтесь к интонации этого художника и прозаика:

«...Над Петербургом плывет туман. Петербургский туман похож на лондонский, как канцелярия Акакия Акакиевича на контору Скруджа. Туман порождает чудесные вещи. Дух Морлея был лоскутом городского тумана над старомодным серым цилиндром. Нос коллежского асессора Ковалева, в треуголке с плюмажем, разгуливал по Невскому проспекту и даже заходил в магазин Юнкера. Множество замечательных происшествий случалось почти ежедневно — действие тумана не подлежало сомнению. Нынче чудес не бывает, но туман остался таким же. Его хлопья, лоскутья, серо-желтые призраки — заволакивают город, медленно изгибаясь, меняя очертания, становясь все плотнее и непроницаемее. Город плывет, покачиваясь, пустой, холодный, беззвучный. Плывет воспоминание о городе, пропавшем в тумане».

ЗАКОНОДАТЕЛЬ МИРОВОЙ МОДЫ

(С. П. Дягилев)

В отличной мемуарной книжке композитора Николая Набокова, приходившегося двоюродным братом всемирно известному писателю, есть одно любопытное воспоминание. Играя на виолончели в струнном семейном оркестре (до первой мировой войны в России было и такое!) у своих дальних родственников Дягилевых, маленький Ника Набоков то и дело слышал разговоры о брате хозяина дома Сергее Павловиче и однажды не выдержал, спросил — чем он так прославился, этот человек — играет ли он, сочиняет ли гениальную музыку, пишет ли гениальные картины? Получив отрицательный ответ на все вопросы, мальчик выразил недоумение, отчего ж этот человек так знаменит, всемирно знаменит, раз он не умеет ни играть, ни сочинять. Что же он сделал? И только через много-много лет композитор Николай Набоков, чья «Ода» поставлена была у Дягилева в Париже, сумел убедиться, подобно многим, что этот таинственный, уже в годы его детства «заграничный» Дягилев — и впрямь человек гениальный.

Набоков говорит об «уникальности и сложности» этого гения. Так говорили о Дягилеве и другие знаменитые артисты, которым хоть раз пришлось иметь с ним дело. «Молодым человеком,— писала о нем балерина Карсавина,— он уже обладал тем чувством совершенства, которое является, бесспорно, достоянием гения...» Знаменитый Вацлав Нижинский тоже утверждал, что Дягилев был «гений, самый великий организатор, искатель и открыватель талантов, наделенный душой художника и манерами знатного вельможи, единственный всесторонне талантливый человек, которого я мог бы сравнить с Леонардо да Винчи». Дойдя до этого высшего предела оценок, даваемых Дягилеву современниками, оглянемся теперь на его жизнь.

Родился Сергей Павлович Дягилев в Новгородской губернии, в знаменитом аракчеевском имении Грузины. Там стоял тогда полк, где служил его отец, веселый, блестящий молодой кавалергард. Семья была богатая и очень музыкальная — сам Дягилев с детских лет мечтал стать то певцом, то музыкантом, то

композитором. Восемнадцать лет уехал он из провинции в Петербург, а потом с кузеном своим Дмитрием Философовым отправился в путешествие по Европе, по возвращении же поступил на юридический факультет в университет, но занимался больше всего музыкой, композицией. Римский-Корсаков предупредил его, впрочем, что композитор из него не получится. Но Дягилев с увлечением продолжал заниматься всеми искусствами, а за художественным развитием его следили такие наставники, как Дмитрий Философов и Алесандр Бенуа. И вот в 1898 году молодой Дягилев подписывает со знаменитыми покровителями искусств княгиней Тенишевой и богачом Саввой Мамонтовым контракт на издание журнала. 10 ноября того же 1898 года выходит в свет первый номер журнала «Мир искусства», пожалуй, первого русского художественного журнала, да еще какого журнала!

«Мир искусства» — это событие, это эпоха в художественной жизни России. Этот журнал, свободный от гнета академизма, объединял художников, предоставлял им возможность выразить свои идеи, открывал русской интеллигенции свое и зарубежное искусство. Журнал этот и выставки «Мира искусства» до 1904 года играли в России огромную роль. Когда журнал закрылся, Дягилев организовал замечательную выставку русских портретов. С этой выставки, по словам Грабаря, началась у нас в России новая эра изучения русского и европейского искусства конца XVIII и начала XIX века. Молодой Дягилев служил в это время чиновником для особых поручений в управлении Императорских театров, где, натываясь на всякого рода препоны, имел возможность убедиться в неповоротливости бюрократической машины.

В 1906 году Дягилев отправляется завоевывать для русского искусства Европу и мир. В том же самом 1906-м в Осеннем салоне в Париже он показал французам русских художников — целое созвездие, в центре которого были художники из его «Мира искусства». Французы увидели Бенуа и Бакста, Рериха и Сомова, Врубеля и Серова, Добужинского и Коровина, Судейкина, Ларионова, Якунчикову и многих других. Еще через год в Париже состоялись организованные Дягилевым «Исторические русские концерты», где дирижировали оркестром Римский-Корсаков, Рахманинов и Глазунов, где звучала музыка Бородина, Мусоргс-

кого, Чайковского... Кто знал в то время русскую музыку в Париже? Шутник Николай Набоков высказывает предположение, что с русской музыкой был знаком один молодой Клод Дебюсси, который только что вернулся из России, где был гувернером у подруги Чайковского госпожи фон Мек и откуда привез ноты «Бориса Годунова». Теперь же эта музыка зазвучала в Париже. Это Дягилев, писала позднее Айседора Дункан, дал почувствовать европейцам, что «страна, об искусстве которой большинство знает очень мало, скрывает целый храм эстетических радостей, в котором каждая деталь исполнена смысла и красоты».

Следующий год становится истинным триумфом Дягилева и русских в Париже, в первую очередь триумфом Шаляпина, Мусоргского и художника Головина. 6 мая 1908 года состоялась постановка «Бориса Годунова», и это было событие не меньшее, чем постановка чеховской «Чайки» или пьесы «Эрнани» в Париже. Нечего говорить, что не только парижская публика еще не видела такой постановки, но ее и русская публика еще не видела. Опираясь на достижения русского театра, освобожденный от чиновничьего надзора Дягилев и его талантливые соратники удивили мир. Бенуа писал, что парижане увидели театр таким, каким он должен быть. С этой весны и начались «русские сезоны» в Париже. На следующий год — новый триумф дягилевских балетов — «Шахерезады», потом «Жар-Птицы», «Лебединого озера», позднее «Жизели» и оперы «Князь Игорь».

Это были не просто удачные или даже сверхудачные заграничные гастроли русских мастеров, это была эстетическая революция, всколыхнувшая западное искусство, возродившая почти умерший балет в Европе, а потом породившая его в Америке. Революция, преобразившая театр. Совершенство вокально-драматической формы в сочетании с пластикой актеров, слитность музыки и декораций, удивительные костюмы — этого в те годы, не было на Западе. Не только замечательные исполнители и современная музыка способствовали успеху этих спектаклей, но и замечательные художники, работавшие над спектаклями. Сергей Лифарь считает даже, что живопись в балетах Дягилева на первом месте, музыка на втором, а хореография только на третьем. Декорации Головина, Бакста, Рериха привели в восторг Париж и Европу. Балет стал

у Дягилева драматическим представлением, музыкальной драмой, а в исполнении Нижинским роли Петрушки балет поднялся, и может, впервые, до остропсихологического гротеска. Открытием Дягилева был и Стравинский, написавший по его заказу «Жар-Птицу». Стравинский вообще много писал для Дягилева.

Русский балет стал эпохой в жизни западного искусства. Один из членов Французской Академии признался как-то, что его жизнь делится на две части: до и после русских балетов. «Русские сезоны» окрашивали в свой тон парижскую жизнь тех лет. Это Дягилев задавал тон в Париже, от него шла мода, — всякая, в том числе и мода на одежду, ибо законодатели парижской моды следовали теперь за «русской модой» Дягилева. А он не останавливался никогда. У него был нюх на новое и поистине бунтарский темперамент. Повторений он не терпел.

После двух или трех сезонов своим человеком у него в труппе становится поэт и художник, великий теоретик художественного бунта Жан Кокто. «Жан, удиви меня!» — говорил Дягилев, и бунтарь Кокто ниспровергал то, что еще вчера казалось открытием. Своим в труппе становится и Пабло Пикассо. После знаменитого хореографа Фокина балеты у Дягилева начал ставить Мясин. К нему приходят новые композиторы, такие, как Дебюсси, Пуленк, Сати, Орик, настоящие модернисты, приходят и новые художники — Михаил Ларионов, Руо, Балла. С Дягилевым сотрудничают Миро, Макс Эрнст, Брак, Утрилло, литераторы Андре Жид, д'Аннунцио, Аполлинер, Валери. Дягилев увлекается кубизмом, сюрреализмом, конструктивизмом, неоклассицизмом, футуризмом. Но, как прежде, он ставит классику и по-прежнему испытывает неистребимую любовь к родному искусству, к русской истории и русскому пейзажу. Конечно же, он был русский патриот, нежно влюбленный в Россию. И при этом он был космополит. Не какой-то там безродный (ибо род его матери шел от императрицы Елизаветы и Петра) или, как еще говорили на милицейский манер, — «беспачпортный», а самый настоящий космополит и интернационалист (хотя, конечно, не вполне пролетарский). Корнями он уходил и в русское и в мировое искусство, потому-то и был так велик его вклад и в то и в другое искусство.

Но как обходился Дягилев без Управления теат-

рами, без Министерства культуры — при столь огромном его постановочном размахе? У него был свой «штаб», творческое ядро, в которое входили такие люди, как Бенуа, Бакст, Фокин и Николай Черепнин, как критики искусства Нувель и Светлов, но не было в нем, увы, ни одного чиновника. Только личности, таланты, эрудиты, и в со-дружестве их царила атмосфера со-творчества. .

Конечно, легко предположить, что у смелого экспериментатора Дягилева были и в Париже не одни только триумфы, были скандалы, провалы — тогда, когда он опережал время, опережал публику. Нынче все, что он делал, это уже классика...

Хотя Дягилев уехал из России за одиннадцать лет до революции, он все-таки был типичный эмигрант, да и русские гении, которые с ним сотрудничали, тоже были эмигранты. Может, поэтому поколения, рожденные в России после революции, так мало слышали о нем. Когда исполнилось четверть века со дня его смерти, весь мир отмечал эту дату, кроме России.

Любопытно, что у Дягилева и психология была типично эмигрантская. Он тянулся к приезжим из России — к Маяковскому, Якулову, Эренбургу. Хотел устроить в Париже общий сезон с Мейерхольдом, а в году 27-даже собирался вернуться.

После блестящего сезона 1929 года Дягилев вдруг охладел к театру и балету. Он увлекся собиранием книг и рукописей, приобретя по случаю у дочери Пушкина несколько пушкинских писем. В ту пору его снова потянуло к классике, к Моцарту, Вагнеру... В том же 1929 году он умер в Венеции и был похоронен на одном из венецианских островов.

О нем очень много говорили и особенно много писали те, кто работал с ним, дружил, ссорился... Стравинский отмечал его поразительную выдержку и упорство, его высокую культуру, его «необыкновенный дар распознавать все, что свежо и ново и, не вдаваясь в рассуждения, увлекаться этой новизной». Для тех, кто знал ценнейшие его качества и его преданность искусству, несущественными оказывались его маска сноба, его яростная несдержанность, его диктаторские замашки, эгоизм, скандальность его интимной жизни. Эти люди не вникали в его дипломатическую игру с меценатами и богатыми снобами. Все знали, как нелегко было, сводя концы с концами,

отстаивать высокое искусство в трудное время, сберечь артистов...

Когда-то француз Петипа вдохнул в русский балет новую струю. Балет Дягилева воздал сторицей и Франции и всему мировому искусству.

Иногда, спеша по делам, я пробегая через площадь Дягилева близ парижского метро Оперá и думаю, что будет когда-нибудь площадь с таким именем в Москве, в Петербурге, а может, и в Новгороде тоже, ибо, как писал Сергей Лифарь, «весь мировой балет первой половины XX века есть создание балетных сил русской эмиграции». Ну, а ведь дягилевский-то вклад в мировую и русскую культуру выходит и за рамки балета, за рамки театра.

ЭТОТ ЧЕЛОВЕЧНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК

(И. И. Фондаминский)

Можно без преувеличения сказать, что Илья Исавич Бунаков-Фондаминский был один из самых известных деятелей в эмиграции и — позволим себе тавтологию — один из самых деятельных в ней. В то же время он один из наименее известных в сегодняшней России деятелей эмиграции.

Эмигранты, упоминавшие в своих мемуарах Фондаминского (а их много, так как он ухитрился принять участие в судьбе несметного множества эмигрантов из самых разнообразных, зачастую враждующих между собой групп), отмечали исходившее от этого человека некое сияние. Это наблюдение находим даже у столь скупого на признание чьей-нибудь доброты Владимира Набокова-Сирина: «Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением».

И при этом Фондаминский не выделялся сам каким-либо заметным талантом в том фантастическом созвездии талантов, какое являла собой Первая русская эмиграция, хотя и был он довольно способный историк. «Никаких «памятников» после него не осталось,— писал Владимир Варшавский,— но после его

гибели моральный и творческий уровень эмигрантской жизни трагически понизился». Рассказывая о своем и своих молодых монпарнасских друзей первом знакомстве с Фондаминским, этот писатель вспоминал: «Многие из нас до знакомства с Фондаминским никогда не видели вблизи «живого» эсера. Я скоро почувствовал, что еще никогда такого человека не видел! Я знал людей более умных, чем он, более талантливых, более тонких, более замечательных во всех отношениях, но в первый раз в жизни передо мной был кто-то, кто ничего для себя не хотел. Достигнув той степени религиозной серьезности, когда человек находит силы жить и действовать в своей вере и может уже обойтись без людской похвалы и без поддержки и принуждения со стороны общества, он жил для других, для человеческого и Божьего дела. Именно в этом, мне кажется, была тайна его необычайного творческого дара.»

Тут сказано много. Во-первых, упомянуто эсеровское прошлое Фондаминского. Всех, кто им интересуется, могу отослать к мемуарам друзей Фондаминского — Вишняка, Зензинова, других. Он был в молодости революционер, эсер-боевик, подвижник и путаник фантастической эпохи. Был приговорен еще царским правительством к смертной казни, а потом и советским тоже. Дважды избежал казни, а в третий раз пошел на нее почти добровольно. Во-вторых, здесь отмечена его религиозная серьезность. В нем мало, конечно, оставалось в поздние годы от марксизма и материализма, но верность русской революционной идее в нем жила всегда. Георгий Федотов писал, что позитивизм и материализм оставались чуждыми душе Фондаминского, жившей отголосками Нагорной проповеди. «В науке любви,— говорил Федотов в статье, посвященной Фондаминскому,— безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться у современных христиан. Остался также и народнический «кенозис», та форма социальной аскезы, которой русская интеллигенция сближается с традицией русских святых». Эпитет «безбожная», употребленный здесь, все же, пожалуй, неприменим к Фондаминскому.

Вера Николаевна Бунина после бесед с Фондаминским в Грасе удивленно записывала в дневник, что Илис (так его звали в доме у его друга Бунина) все-таки очень верующий человек. В приведенном выше отрывке

из воспоминаний Владимира Варшавского сказано (и не без удивления), что был Фондаминский в своей деятельности совершенно бескорыстен. Пытаясь понять это явление, другой монпарнасец — Яновский — писал, что просто Фондаминский ни в чем не нуждался, и поэтому он единственный ничего для себя не искал в своей фантастически бурной деятельности. Что до Набокова, то он отказывается даже понимать, зачем, скажем, Фондаминскому и жене его Амалии Осиповне нужно было устраивать авторские вечера, хлопотать о его, Набокова, пьесе, держать его у себя дома, собирать для него деньги. Ибо сам Набоков понимал лишь служение своему Дару, кровожадному божеству литературного совершенства. Фондаминский же служил сразу и людям, и Богу, и России, и обществу, и Ордену интеллигенции, и терпимости, и прогрессу, и свободе. Он, вероятно, единственный из бывших эсеров умел сохранять совершенно беспартийную терпимость. Рассчитывая на это, его ввели в число редакторов «Современных записок», лучшего журнала эмиграции, и Фондаминский оправдал надежды. Он пробивал через левый редакционный заслон авторов правых взглядов, если чувствовал (даже, может, не понимал толком и не принимал, а чувствовал), что это пойдет на пользу литературе, обществу, журналу. Тот, кому попадался в руки хоть один, наугад, номер этого журнала, поймет, что с этой даже заслугой Фондаминский мог бы войти в историю Первой эмиграции и русской журналистики. В одном номере этого журнала вы могли найти прозу Бунина, Зайцева, Набокова, Алданова, Берберовой, Ремизова, стихи Ходасевича, Цветаевой, Иванова, Бальмонта, статьи Степуна, Бицилли, Ходасевича, Вейдле, Булгакова, Милюкова и еще, и еще, и еще.

Интеллигенция, особенно левая, особенно революционная, хотя бы в прошлом, особенно либеральная, хотя бы и умеренно либеральная, была окружена в эмиграции кольцом ненависти. Считалось, что именно интеллигенты виноваты во всех русских бедах. Это они навлекли на страну проклятие большевизма и, что еще страшней, — февральской революции и бессильного либерализма. В этой атмосфере упреков и ненависти Фондаминский сохранил верность мистическому вдохновению Ордена русской интеллигенции, возрождение которого было его мечтой и делом его жизни. В первом номере основанного им вместе с Федотовым

и Степуном «Нового Града» Фондаминский писал: «Надо воскресить... Орден воинов-монахов... готовых на подвиг и жертвы для освобождения России. И надо, чтобы новые рыцари, как их отцы и деды, шли в народ — жить его жизнью, страдать его страданиями и, освещая души людей светом истины, уводить их за собой от власти».

Если, мучимый ностальгией, Фондаминский (так же, как мать Мария, как Милюков, как митрополит Евлогий, как Цветаева, как Ширинский-Шихматов, как столь многие в эмиграции) не избежал слабости к новой России, к стране, то отношение его к новой власти вполне очевидно из приведенных слов. Яновский живописует в мемуарах поразительную сцену. Бывший монархист, а в ту пору уже национал-максималист Ширинский-Шихматов является в дом Фондаминского с новой идеей: в России, измученной пятилетками, очередная голодная катастрофа, надо собрать деньги, купить продукты и отправить пароход в помощь Ленинграду. Это князь Ширинский-Шихматов предлагает, который на свой таксистский заработок кормит семью и издает журнал. И вот все они — мать Мария, Фондаминский, младороссы — обсуждают этот очередной самоотверженный прожект. А вот еще одна поразительная сцена. Фондаминский опекает какую-то советскую женщину. Это жена бывшего советского нотабля, посла Раскольниковова, которого то ли «свои» выбросили в окно после его измены Сталину, то ли он сам выбросился. «Беременная вдова,— пишет Яновский,— с удивлением присутствовала на нескольких наших собраниях... Фондаминский, святая душа, приютил ее на время у себя на квартире. Она... прислушивалась к нашим импровизациям и, я теперь понимаю, все решала: провокаторы мы или сумасшедшие...» Если бы Яновский познакомился с воспоминаниями Вишняка, он нашел бы там еще более поразительную сцену. Вишняк и Фондаминский убегают от большевиков на волжском пароходе. Является командующий Волжской флотилии Раскольников (тогда еще муж знаменитой Ларисы Рейснер) и, увидев Фондаминского, приказывает устроить проверку документов... Дальше — эпизод из приключенческого романа, ибо жизни этого добряка и эсера хватило бы на пяток приключенческих романов...

В 1931 году Фондаминский, Степун и Федотов

основали течение (и издание) «Новый град». Основатели течения видели выход из тупика в творческом сращении трех идей — христианской идеи абсолютной истины, гуманистически-просвещенской идеи политической свободы и социалистической идеи социально-экономической справедливости. Нечего и говорить, что при тогдашней ненависти к демократии и либерализму и при подозрительном отношении социалистов к религии новоградцы стали мишенью нападок и слева и справа. Но Фондаминский в отличие от многих своих врагов и соратников, замыкавшихся каждый в своем кругу, готов был идти «в эмигрантский народ» (таково было его выражение), он пытается сплотить всех в эмиграции, кто готов расти, подниматься на бóльшую духовную высоту. С проповедью своих идей он выступал всюду, где его согласны были выслушать: и в кружках Христианского студенческого движения, и в Пореволюционном клубе, и у младороссов, и в Союзе дворян, и в многочисленных кружках тех потерянных русских неонацистов, которые с приближением истинной фашистской угрозы оказались самыми бесстрашными антифашистами.

Фондаминского тревожила судьба бездомной монпарнасской молодежи. Вряд ли он понимал поэзию «парижской ноты», вряд ли мог принять ее апокалиптические настроения, ее агностицизм, мистику буддийского непротивления. Однако он знал, что там молодые русские, там гибнущие таланты — их надо спасать, надо им дать действие. Он создает «Круг», журнал и кружок, дает молодым приют, заботится об издании их произведений... Трудно сказать, пропали ли даром его усилия. Известно, во всяком случае, что именно из окружения Фондаминского вышли два героя эмигрантского Сопротивления — мать Мария и Борис Вильде. Оба героически погибли от рук нацистов. Сам Фондаминский выбрал ту же смерть христианского мученика. Крестился он в лагере Компьен, хотя в православную церковь ходил уже давно. Он был в начале войны в свободной зоне, но вернулся в Париж и с головой ушел в так хорошо знакомые ему подпольные дела. Уже арестованному нацистами, ему предлагали бежать из тюремной больницы. Он не счел возможным оставить других умирать. Федотов, говоря о добровольной жертвенной смерти Фондаминского, отмечал,

что смерть эта придала крещеному еврею и бывшему эсеру Фондаминскому сходство с древнерусскими страстотерпцами. «Отказ защищать свою жизнь,— пишет Федотов,— «яко ангел непорочен, прямо стригущему его безгласен» — есть русское выражение Кенотического подражания Христу. В непротивленчестве своем бывший революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником — думал ли он об этом? — первого русского святого, князя Бориса».

«Его мученическая смерть,— писал о Фондаминском Владимир Варшавский,— была актом никогда не исчезающей духовной реальности, актом, увеличившим на земле жизнь и добро... Когда ужас перед происходящим в мире уничтожением живых существ с особенной силой давит душу, память о его жизни, о его мученической смерти спасает от отчаяния, воскрешая веру в человеческий образ и в человеческое дело. Сужу не только по себе — мне говорили об этом другие, кто его знал».

Добавлю, что и я слышал об этом от тех, кто знал Илью Фондаминского-Бунакова.

ИКОНА, БЛАГОЧЕСТИЕ, КРАСОТА...

(В. П. Рябушинский)

Гуляя однажды среди современных вилл и дач близ станции Куаньер за Версалем, я набрел на старый низкий деревянный заборчик с православным крестом на калитке. Калитка была приоткрыта, я вошел и очутился в запущенном саду на краю оврага. Виднелась небольшая церквушка, а за ней — снова деревья. Это и был Святодуховский скит, о котором мне уже приходилось читать... Среди деревьев я обнаружил крошечные деревянные домики, скорей даже будки, соединенные между собою трубой водяного отопления. В окнах можно было разглядеть бледные лица иноков, склоненные над работой. Иноки писали иконы. Те из них, с кем мне удалось разговориться,— да, кажется, и остальные тоже — были французы. Они называли имя своего учителя — инока Григория, похороненного под

абсидой небольшой церкви, которая видна была у входа. Об инокописце Григории, в миру Григории Ивановиче Круге, мне доводилось слышать, я читал его книгу о почитании икон в церкви и о значении священных образов русской иконописи, о главных русских иконах и нерукотворном лике Христа, в основе которого — восчеловечение Божие. О Веселом юноше Григории Круге из времен ее юности вспоминала как-то при мне певица Наташа Кедрова...

Инок Григорий скончался во время тихой беседы в 1969 году, и знаменитая французская газета «Ля Круа» писала тогда, что умер последний настоящий иконописец, для которого икона была молитвой и сам акт иконописания был актом молитвы... Может, эти слова, которые я вычитал когда-то в предисловии к книге Григория Круга, помешали мне сейчас слишком уж приставать с расспросами к погруженным в свой труд молодым иконописцам в тесных хижинах Святодуховского скита под Версалем...

Технику инокописи Григорий Круг изучал у знаменитого Федорова, старосты русской иконописной артели при обществе «Икона». Среди живописцев «Иконы», кроме Федорова и Круга, были такие значительные иконописцы, как княжна Львова и супруга архитектора Альберта Бенуа, расписавшая прекрасную церковь на русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа под Парижем.

Общество «Икона» создано было Владимиром Павловичем Рябушинским в 1927 году, он же был его бессменным председателем на протяжении четверти века, после чего передал бразды правления Исцеленову. Интерес к старым русским иконам безмерно вырос в России в начале века и особенно после 1905 года. О иконе тогда много писали, появились серьезные собиратели и исследователи иконы. Таким был, в частности, брат Владимира Павловича Рябушинского, Степан Павлович. Потом для русской церкви и для русской иконы наступили роковые годы и десятилетия. Церкви подвергались разграблению, иконы гибли, закрывались иконописные мастерские. Кое-какие центры чудом уцелели, но уже в ином качестве. Речь идет о промысле ростовской финифти и о Палехе, где стали писать цветочки, сказочные сюжеты, портреты вождей.

Но в эмиграции страстные поклонники и знатоки русской иконы во главе с Рябушинским создали об-

щество «Икона», чтобы не дать оборваться начавшемуся возрождению.

Владимир Павлович происходил из богатейшего старообрядческого купеческого рода Рябушинских. Проходя в Москве близ Никитской площади, обратите внимание на дом близ церкви Вознесения, той, в которой венчался Пушкин. Это особняк начала века в стиле «модерн» — тот самый, в котором после триумфального и трагического возвращения в Москву на широкую ногу разместился Максим Горький — вместе с семейством, челядью, наружным и внутренним наблюдением (а рядом, во дворе, — и другой талантливый нувориш, писатель Алексей Толстой). В этом особняке и жили до революции Рябушинские.

То, что Владимир Павлович Рябушинский принадлежал к старообрядческому роду, немаловажно. Разбогатевшие старообрядцы сыграли огромную роль в новой истории России. Все эти Рябушинские, Мамонтовы, Щукины проявляли не только трудолюбие и торгово-промышленные таланты, — они еще блюли традиционное благочестие, покровительствовали искусству, собирали богатейшие коллекции произведений искусства и библиотеки, давали деньги на науку, а также щедро жертвовали (может, памятуя о веках гонений на старообрядцев) на революционное движение (тут, конечно, первым вспоминается Мамонтов, известный благодетель большевистской партии). Нынче эти рассказы о предприимчивости, благочестии, трудолюбии и талантах русских старообрядцев — это все легенды прошлого. И все же — обратите внимание на мастериц, продающих и сегодня на оскудевших московских рынках расписные пасхальные яички, матрешек, копилки-грибки: они ведь тоже из старообрядческих сел — из Полхова-Майдана, из Крутца. Отправившись в поездку по местам, где уцелели русские промыслы, вы непременно попадете в старообрядческие села — и в Заволжье, и по берегам северных рек, и в Холмогорах, и в Палехе... Это там сохранились резьба по кости, роспись, лепка из глины, резьба по дереву... В старообрядческих семьях передавалось в поколениях глубочайшее почитание старинной книги и старинной иконы. Вот в этой атмосфере вырос и будущий эмигрант Владимир Павлович Рябушинский.

Для него икона была не только опорой религиозного чувства, но еще и источником оптимизма, веры

в народные силы. В то время, как у многих эмигрантов все происшедшее в 1917 году, в годы гражданской войны, военного коммунизма, пятилеток и семилеток, особенно у монархистов, у правых, подорвало всякую веру в русский народ (каких только уничижительных эпитетов не прилагали к этому народу графоманы типа монархиста Федора Винберга), для Рябушинского главной всегда оставалась вера в здравый смысл русского мужика, в его терпеливость, выносливость и сметливость. И корнем этой веры была для него привязанность русского народа к основам древнего русского благочестия. Древнее русское православие пронизывало, по убеждению Рябушинского, весь быт, да и самую экономику старой России. Недаром же такую роль сыграли в этой экономике благочестивые старообрядцы.

Вы скажете, что тут немало от интеллигентского русского идеализма. Что ж, возразить мне нечего: Владимир Павлович Рябушинский был истинный русский интеллигент, выпускник Гейдельбергского университета.

В многочисленных статьях, напечатанных Рябушинским в эмигрантских журналах и газетах, — страстная защита русской иконы как высокого искусства, обоснование ее преимуществ перед теми милovidными, сладостно приятными поделками на религиозные сюжеты, которыми полны лавочки, окружающие и сегодня прекрасную парижскую площадь Сэн-Сюльпис и которые получили вследствие этого расхожее название «ар Сэн-Сюльпис», искусство Святого Сюльпития, или Святого Сульпиция. Святой, как вы поняли, не имеет отношения к этим поделкам, а прекрасная площадь с фонтаном — только косвенное. В послевоенную пору, уже в пятидесятые годы Рябушинский с удовлетворением отмечал рост авторитета русской иконы в просвещенном французском обществе. То, что я рассказывал в начале о Святодуховском ските, да и многие другие факты служат свидетельством известной популярности православия в кругах французской интеллигенции.

Мне же лично приходилось видеть православные русские иконы во многих столичных и провинциальных католических храмах как Франции, так и Италии. В знаменитой парижской церкви Сэн-Северэн отец Шнейдер часто собирает паству перед иконой Богоро-

лица Умиление, чтобы там произнести самую важную часть проповеди.

Говоря в своих статьях о кризисе западного религиозного искусства, Рябушинский указывал как на его источник на глубокий кризис веры, который переживает религиозный Запад. Отсюда и поиски многих людей Запада, которые Рябушинский описывал так: «Религиозность запада ищет освободиться от той обмирщенности подавления духа плотью и ума рассудком, достигших апогея в конце XIX века. Начался же этот процесс уже в XIII веке».

Рябушинский сочувственно цитирует французских религиозных писателей и искусствоведов, говоривших, что Христа не должно писать ни сверхчеловеком, ни прекрасным телом греческим героем, ни добрым милым товарищем, ни нежным другом. Христос, Символ Веры, есть Сын Божий — Истинный Бог. Рябушинский находит у этих писателей (таких, как Декер, Деву) мысли, созвучные своим собственным — о том, что упадок религиозного искусства связан с понижением христианского духа в западном мире. Именно с этих позиций Рябушинский использует высказывания упомянутых выше французских авторов о жеманности и слащавости, введенных в религиозное искусство Рафаэлем, о мускулистых мужиках и плотных женщинах с религиозных полотен Рубенса, о тонах Рембрандта, не соответствующих религиозному настроению сюжета, и наконец, о XIX веке, об Энгре. Это и есть та религиозная живопись, о которой Деву писал: «Христос, как его видел маленький мещанин века Вольтера через оптику Рафаэля; не будем удивляться, что мы находимся у крайних пределов академичности».

Разъясняя эти критические выпады Деву и, в частности, его слова о том, что «мы поклоняемся не Красоте, а Христу», Рябушинский пишет:

«Существует иерархия красоты: на низу лестницы — пригೋе, хорошенькое, миленькое, — потом идет, красивое, прекрасное — всем этим можно восхищаться, но, конечно, все это все-таки от царства плоти и души, но не духа. Идем выше по лестнице — вступаем в область возвышенного — горы, снежные вершины; и еще дальше — звездное небо, бесконечность разверзается перед нами — предверье духа — небо над нами и нравственный закон внутри нас.

Много грехов простятся Канту за его слова: «Все

это Красота, и дальше, выше и выше, вступаем в область неисповедимого».

Дионисий Ареопагит пишет: «Если речь идет о сверхсущественном, прекрасном, его называют также Красотой...» Очевидно это и есть Христос-Бог».

Читая эти поздние слова Рябушинского, так и видишь одну из последних его фотографий: бородатый, слепой старик убеждает в чем-то собеседников с темпераментным жестом. На столе, среди чужих бумаг — его палка слепца. После пылкой речи он, вспоминая о допущенных им резких фразах или критических выпадах, всегда глубоко кланялся, извиняясь перед теми, кого, может, ненароком обидел...

«КОНЕЧНО, ОН БЫЛ ПОСТАВЛЕН РУССКИМИ...»

(Русские эмигранты и французское кино)

Помню, что в молодости, в пору своего отчаянного увлечения кинематографом — я брался в Москве за гроши, а то и вовсе бесплатно синхронно переводить зарубежные фильмы, чтоб только увидеть побольше фильмов на просмотрах,— помню, еще в ту пору я обратил внимание, как много русских фамилий встречается в титрах американских и французских кинолент. Я еще не знал тогда, что и многие из фамилий, звучавших вполне иностранно, тоже имели русскую основу и были попросту псевдонимами, что какой-нибудь Тати, Моги, Соника Бо — это были Татищев, Могилевский и Соня Кавуновская, и что всех нас пленившая когда-то Марина Влади это Екатерина Владимировна Полякова-Байдарова. Одним из моих кинематографических богов был в ту пору знаменитый Жан Ренуар, но каково же было мое удивление, когда я прочел в воспоминаниях Ренуара, что его обратил к кинематографу фильм, поставленный русскими, фильм Волкова и Мозжухина «Пылающий костер». Вот как Ренуар вспоминал о просмотре этого фильма:

«Однажды в кинотеатре «Колизей» я увидел «Пылающий костер»... Зал вопил, шикал, свистел, шокиро-

ванный этим зрелищем, столь непохожим на обычную киношную жвачку.

Я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, поставленный во Франции. Конечно, он был поставлен русскими, но все же он был поставлен в Монтрёй, во французской атмосфере, в нашем климате; и этот фильм шел в хорошем кинотеатре, он не имел успеха, но все же он шел.

Я решил забросить свой промысел керамиста и делать кино».

Как верно отметил Ренуар, это был французский фильм, а не русский, хотя ставили его русские, играли в нем русские, русскими были и продюсер, и гримеры, и художники-декораторы, и сценарист. Если дягилевский балет во Франции считался по-прежнему русским балетом, кино, которое делали русские кинематографисты-эмигранты, было уже в ту пору, в начале двадцатых годов, или немецким, или американским, или французским. Русские эмигрантские мастера, даже те из них, кто долго и упорно сохранял свое место, свою индивидуальность, особость, порой даже остранинность (как, скажем, Кирсанов, или Тати), в конце концов все же растворялись в национальных кинематографах приютивших их стран. Они помнили о своем происхождении, они черпали силы в русском искусстве, но они были уже французские режиссеры, французские сценаристы, композиторы, художники — и Робер Оссейн, и Роже Вадим, и Аршавир Шахатуни, и Соника Бо, и Жозеф Кессель...

Самым блестящим периодом русской кинематографической эмиграции во Франции был, вероятно, период 20-х годов, эпоха немого кино. Известный французский киновед Жорж Садуль писал о выдающейся группе русских кинематографистов-эмигрантов, что она принесла во Францию последние достижения дореволюционного (левый Садуль называет его царистским) кинематографа, «формальные поиски, предвосхищавшие немецкий экспрессионизм и совпадавшие с французским экспрессионизмом». Судя по воспоминаниям Ренуара, русские мастера скорей всего предвосхищали и французский экспрессионизм тоже. В специальном номере «Синэма» от 15 июня 1923 года, целиком посвященном его и Волкова «Пылающему костру», Иван Мозжухин заявлял: «Кино не может ограничиться простым пересказом драматургии, хотя

бы и отлично выполненным. Необходимо обновленное воздействие на публику, какой бы она ни была, изысканной или обычной, малограмотной или высокоинтеллектуальной... Вот почему я хотел окутать повествование в моем фильме атмосферой фантазии... Начиная от интересной формы, я ухожу дальше, вглубь...»

Вместе с Александром Волковым Мозжухин, кроме «Пылающего костра», поставил «Дитя карнавала» и другие фильмы. Александр Волков снял (с тем же Мозжухиным в главной роли) имевший большой успех во Франции фильм «Кин, или Беспутство и гений» по роману Дюма-отца, фильмы «Белый дьявол» по «Кавказскому пленнику» и «Казанова». О «Кине» французская критика писала, что это фильм выдающейся кинематографической напряженности и что он должен войти во все антологии немого искусства.

Говоря о немом кино в Париже, надо непременно назвать Дмитрия Кирсанова, одного из интереснейших французских режиссеров. Он приехал во Францию двадцатилетним брать уроки виолончели в Парижской консерватории, а потом начал снимать фильмы и снял их добрых два десятка. Это было не массовое, а так называемое некоммерческое, или, как еще говорят, независимое кино. Дмитрия Кирсанова французские критики называют гением независимого кино. Это был совершенно своеобразный режиссер, который отказывался не только от зарождавшихся звуковых опытов, но и от титров тоже — он считал, что движение, игра могут выразить все. Знаменитыми стали его «Ирония судьбы», «Менильмонтан» и, наконец, истинный шедевр «субъективного» кино — высоко ценимый знатоками фильм «Осенние туманы». Во всех своих фильмах он снимал актрису Надю Сибирскую, свою жену, но в этом как раз, согласитесь, он был наименее оригинален.

Из русских режиссеров, снимавших в Париже, следует назвать, вероятно, и Якова Протазанова, поставившего в эмиграции один фильм и вернувшегося потом в Россию, затем Николая Евреинова, поставившего два фильма, Федора Оцепа, снявшего «Живой труп» и «Братьев Карамазовых», Рубена Мамульяна, поставившего «Воскресенье» по Толстому, фильм «Доктор Джэкил и м-р Хайд» по Стивенсону и много других экранизаций. Были еще режиссеры Леонид Моги (Мо-

гилевский), Вячеслав Туржанский, Александр Грановский, Владимир Стрижевский, Николай Римский, Анатолий Литвак, Бэлла Рейн, Георгий Лампэн, поставивший «Идиота» по Достоевскому с Жераром Филиппом в главной роли, были Познер, Маликов, Колин... Они поставили многие десятки фильмов, знаменитых или прошедших незамеченными, но все же включенных в энциклопедию французского и мирового киноискусства.

Следует напомнить о Сонике Бо, Софье Кавуновской, которая, работая во Франции, стала всемирно признанным мастером детского кино и организовала в 1933 году клуб «Сандрийон» («Золушка») — для создания и демонстрации детских фильмов; о Владиславе Старевиче и Александре Алексееве, ставших крупнейшими французскими мультипликаторами. Однако, оставив на время режиссеров и художников, поговорим о малознакомой русскому зрителю профессии продюсера.

Я начал с кинорежиссеров, ибо режиссер — это хозяин и творец фильма, ему, впрочем, достается обычно и львиная доля славы. Но начинается-то фильм не с режиссера. Начинается он на Западе с продюсера. Это не просто заимодавец и бизнесмен, который ссужает деньги режиссеру. Это зачастую такой же ценитель, энтузиаст, рискованный игрок и вдохновитель шедевра, каким был, скажем, Дягилев в балете. В Париже были и свои русские продюсеры. Сперва Сергей Еромольев и Александр Каменка, предоставившие возможность Протазанову, Волкову, Мозжухину, Туржанскому, Стрижевскому осуществлять свои постановки, а потом — и Ренэ Клэру, и Ренуару, и Фейдэру. Еромольев вскоре уехал в Германию, а Каменка возглавил студию «Альбатрос», где работали многие русские кинематографические гении. Русский продюсер Осип Берхольдц вместе с Эдуардом Жидом, братом знаменитого писателя, основал фирму «Жибэ», с которой сотрудничали Ренуар, Отан-Лара, Кайятт, Жак Деми, Роже Вадим, Клод Шаброль, Жан-Поль ле Шануа. Был еще русский продюсер Саша Гордин, у которого снимали Марсель Карне и Камю и у которого Оффюльс сделал свой знаменитый «Круг», получивший пять международных наград.

Из русских операторов наиболее известны были Георгий Зайдлер, Леонид Азар, работавший сперва со

своим братом, режиссером Грановским, а позднее с Марселем Карне и Луи Маллем; затем — Михаил Кольбер, снимавший у Робера Оссейна, у Любича, Седмака, Отана-Лара, Ренэ Клэра, и, наконец, брат знаменитого Дзиги Вертова Борис Кауфман, снимавший с Жаном Виго и Абелем Гансом, а позднее, в Америке, с Сидни Люметом и Седмаком.

Для французского кинематографа в эмиграции писали сценарии такие русские литераторы, как Евгений Замятин, Питер Устинов, Жозеф Кессель, Яков Кампанец. Знаменитыми композиторами кино стали в эмиграции Дмитрий Темкин и Михаил Левин-Мишле.

Еще ощутимее во французском кино был вклад русских художников. Они вписали очень значительную страницу в историю французского кинематографа. И речь идет не только о замечательных русских художниках-декораторах, которые в европейское кино внесли струю, пожалуй, столь же яркую, как и в европейский балет. Речь идет также о костюмерах, о гримерах. Откройте любой французский словарь кино, и сразу — на букву «а» — вы увидите: Акоп Аракельян, французский гример, ученик великого Шахатуни, создал поразительное лицо чудовища для Жана Марэ в фильме «Красавица и чудище». Был одним из творцов Брижит Бардо (о другом творце Брижит Бардо, тоже русском, мы поговорим здесь особо), так как она имела первый успех в его гриме. Аракельян работал у Карне и Отана-Лара, у Абея Ганса и Ренэ Клэра, у Седмака и Роже Вадима. А упомянутый выше учитель Аракельяна «великий Аршавир Шахатуни» был не только величайшим французским гримером, он был еще и сценаристом, и актером.

Кроме упомянутых мной двух русских гримеров, следует назвать и других — Сергея Глебова, Бориса Карабанова, Игоря Келдыша, Константина Сафонова... В титрах самых знаменитых французских фильмов вы найдете их имена.

Еще весомее был вклад русских декораторов. У Абея Ганса, Кайятта, Ренуара, Пабста, Де Сантиса, Дакэна, Ренэ Клэра, Седмака и еще многих великих режиссеров мира работали декораторами парижане Андрей Андреев и Юрий Анненков, Андрей Бакст и Лев Барсак, Александр Бенуа и Георгий Бакевич, Мстислав Добужинский и Петр Шильдкнехт, Евгений

Лурье и Иван Лошаков. Истинными мастерами кино-трюков были художники Николай Вильке, чей предок строил колокольню Ивана Великого в Московском Кремле, и Павел Минин, внучатый племянник Карла Брюллова. Даже самые ленивые и нелюбопытные киношники, которых не интересовало, скажем, кто это так блистательно оформил фильмы Волкова, Саши Гитри или Евреинова, все же знали имя Константина Бруни, ибо вдобавок к своим знаменитым кинотворениям Бруни расписал бар на студии «Сэн-Морис» под Парижем, где звезды мирового кино коротали время у стойки. Универсальный эмигрантский гений Юрий Анненков (он ведь был еще и живописец, и портретист, и эссеист, и мемуарист, и романист) организовал в Синдикате технарей французского кинематографа новую секцию — Секцию создателей костюма: после Анненкова термин «создатель костюма» стал официальным и вполне профессиональным. Тот же Анненков написал книгу о театральных костюмах и о режиссере Максе Оффюльсе. Заговорив о костюмах, следует упомянуть знаменитые мастерские кинокостюмов, принадлежавшие таким русским мастерам, как Екатерина Бибко, Мария Громцева, Варвара и Ирина Каринские, Лидия Добужинская, Мария Молоткова и еще, и еще...

Есть знаменитые французские режиссеры, в чьих именах не сразу узнаешь их русское эмигрантское происхождение. Скажем, Роже Вадим. Его называют Пигмалионом кинозвезд. Это он открыл прекрасную Брижит Бардо (и был, конечно, ее мужем); он открыл и прекрасную Катрин Денев. Его фильм «И сотворил Бог женщину», по мнению критики, на два года предвосхитил французскую «новую волну». Его настоящая фамилия Племянников. Вадим Племянников. А удивительный, тончайший комедиограф Жак Тати? Он Татищев, тоже русский, хотя уже с примесью голландской, итальянской и французской крови. Но какому, скажите, из русских талантов мешала когда-нибудь примесь чужеземной крови — не Пушкину же, не Жуковскому, не Лермонтову, не Фету, не Пастернаку, не Блоку, не Набокову... Уж не говоря об Эйзенштейне, об Окуджаве, об Иоселиани, о Вертове, о Калатозове, о Ромме, о Мотыле...

РУССКИЙ ШАРМ И РОКОЧУЩЕЕ «Р»

(Русские звезды экрана)

В замечательной книге эмигрантского писателя Владимира Набокова «Другие берега» есть такая сцена из времен гражданской войны: юный Набоков видит в горах близ Ялты, как непослушный конь тащит через заросли актера, загримированного под горца, а на помощь ему спешат, продираясь вслед, настоящие горцы-татары. Не только парадоксальной встречей настоящих горцев с загримированным актером и не только пристрастием Набокова к кинематографу объясняется присутствие этой сцены в книге разборчивого мемуариста. Нет сомнения, что на Набокова произвела впечатление случайная его встреча с самим Мозжухиным. Ибо Мозжухин был, пожалуй, первым мужиной-премьером мирового кино, его первой звездой. «Хаджи-Мурат», съемки которого видел Набоков, вышел уже в Париже, куда перебрались с Юга России и режиссеры, и продюсеры, и «немые» звезды русского кино. Уже в 20-м при поддержке фирмы Пате Иван Мозжухин и другие создают в предместье Парижа знаменитую «Русскую школу Монтрёй», оказавшую немалое влияние на французский кинематограф. Мозжухин снимался довольно много — и в фильмах, в которых он был сопостановщиком Александра Волкова, и в собственных фильмах Волкова, и в фильмах других режиссеров — в «Буре», в «Кине», в «Мишеле Строгове» Туржанского. Конечно, когда кинематограф, этот «великий немой», заговорил, наконец,— это было драматическое событие для Мозжухина и для других замечательных русских актеров. Надо было им тоже заговорить на чужих языках, и желательно без акцента; или перейти на положение бессловесных статистов. И то и другое было легче для молодых, а великому Мозжухину было уже под сорок... Умер Иван Ильич Мозжухин пятидесяти лет отроду в предместье Парижа Нейи-сюр-Сэн.

Мне кажется, что при нынешнем международном характере кинематографа и при новой технике озвучивания все эти проблемы акцента и произношения отошли на второй план, хотя французская киноэнциклопедия в статье о Лиле Кедровой еще говорит, что эту

актрису приглашали на роли, в которых требовалось «рокочущее русское „р“». Любители кино, впрочем, знают Лилло Кедрову скорее по фильмам, где никакого русского акцента не требуется — по фильмам Хичкока, Бардема, Беккера и Романа Полянского. Помню, как я впервые увидел эту замечательную актрису в фильме Какояниса. Это было в Варшаве, в конце 1967-го. Мы гуляли с польским приятелем по центру Варшавы и увидели толпу перед кинотеатром. Там шел — уже второй месяц — «Грек Зорба», но билетов было не достать. Приятель, увидев мое огорченное лицо, без труда отыскал билетного спекулянта, «конника», и мы оказались в темноте зала. Когда на экране появилась умирающая старая мадам, деревенская проститутка, приятель мой прошептал: «Какая великолепная актриса, настоящая француженка». Вот тебе и «рокочущее русское „р“».

Позднее, в Медоне под Парижем, я познакомился с певицей Наташей Кедровой и узнал, что я видел в Варшаве, а потом и еще везде, где только шел «Зорба», — ее сестру, узнал, что родители их были во Франции музыкантами — известный на всю Европу квартет Кедровых, а родились сестры в Аничковом царском дворце в Петербурге, потому что дед их был регентом хора в дворцовой церкви...

Среди наиболее знаменитых эмигрантских актеров кино в середине 20-х годов был ученик Мейерхольда Валерий Инкижинов, еще дома, в России, сыгравший у Пудовкина в «Буре над Азией», а в эмиграции снимавшийся в «Безрадостной улице» у Пабста (фильм этот прославил Грету Гарбо), снимавшийся у Кристиана Жака, у Фрица Ланга, у Конрада Вейдта.

Из звезд 20-х годов надо назвать Наталью Лисенко, которая выехала из России вместе с труппой Сергея Ермольева и снималась по большей части в знаменитых фильмах своего мужа Александра Волкова и Ивана Мозжухина, потом в «Льве моголов» Волкова и Эпштейна вместе с Мозжухиным, а также в нескольких фильмах Туржанского.

Среди тогдашних русских киноактрис — две бывшие балерины. Одна из них, Сандра Милованова, была ученицей прославленной Анны Павловой. Став кинозвездой, она снялась в двух фильмах Протазанова и в «Призраке Мулен-Руж» Ренэ Клэра. Вторая балерина, партнерша Лифаря Людмила Черина, актриса,

как писали критики, «ледяной красоты», снялась у Кристиана Жака, а также в знаменитом «Спартаке» и в «Любовниках из Теруэля».

В ранних французских фильмах гремели Вера Корэн (Корецкая), Наталья Натье, Вера и Татьяна Павловы, Алла Назимова, которую французская критика ставила в один ряд с Гретой Гарбо и Лилиан Гиш, Тамара Шеина, знаменитая Ниночка из фильма Любича, Варвара Анненкова, Наталья Алексеева, Стелла Арбенина, Ольга Гзовская, Надя Сибирская. Из мужчин прославились Георгий Питоев и его сын Саша Питоев; актер МХАТа Поликарп Павлов, снявшийся у Волкова, у Абеля Ганса и у Беккера; артист Камерного театра Владимир Соколов, который снялся у Пабста, Ренуара, Седмака. Очень знаменит был Миша Ауэр, который снимался у Ренэ Клэра, Отто Преминжера, в «Господине Аркадине» Орсона Уэллеса и еще, и еще. Много снимался во Франции, а потом и в Италии Яков Серназ, которого можно увидеть в «Сладкой жизни» Феллини и в фильмах Николая Рэя. Григорий Хмара снялся со своей знаменитой (тогдашней, конечно) женой — Астой Нильсон в «Обрыве» по Гончарову, потом в «Раскольникове» и позднее, уже без жены, во множестве французских фильмов, два из которых были про цыганскую жизнь, другие же про обычную, кинематографическую, какая только и бывает что в кино. Снимался он; в частности, и у Ренуара в фильме «Елена и ее мужчины».

Иван Десни (он же Десницкий) снимался у Марселя Карнэ, у Антониони, у Дэвида Лина, у Астриюка, у Пабста, у Диснея и у многих других режиссеров.

Незабываемый, по свидетельству Анненкова, мхатовский Хлестаков Михаил Чехов тоже снялся во множестве фильмов, как и Ольга Чехова. В «Альфавиле» Жан-Люка Годара снимался Аким Тамиров, которому доводилось сниматься также у Де Сики в Италии, у Питера Устинова в Англии и у Орсона Уэллеса в Америке, где он получил за свою жизнь немало престижных «Оскаров». Сам Питер Устинов, и актер, и режиссер, и драматург, снимался во Франции у Клузо, в Англии у Фрэда Циннемана, а в Америке у Кубрика и получил там за роль Спартака «Оскара». Но больше всего Устинов снимал самого себя в собственных фильмах. Тут мы, впрочем, уже подошли к нашему времени, ибо Питер Устинов наш современник, он

общался с Набоковым, когда жил с ним в одном отеле в Швейцарии, а совсем недавно он был гостем Чингиза Айтматова на озере Иссык-Куль.

К близким временам относятся такие русско-французские актеры (бывшие к тому же и знаменитыми режиссерами), как Роже Вадим и Робер Оссейн. Роже Вадим, он же Вадим Племянников, снялся у Жана Кокто, а Робер Оссейн, кроме того, что снимался в своих фильмах, снялся также у Роже Вадима, у Кристиана Жака, у Отана Лара, у Астриюка.

Бывшая жена Робера Оссейна, более известная современному советскому читателю и зрителю как вдова Владимира Высоцкого и как автор популярной книги о нем, Марина Влади происходит из русской семьи Поляковых-Байдаровых. Одна из ее сестер, Татьяна, по экрану Одиль Версуа, снималась у Робера Оссейна, у Филиппа Брока, у Гаво. Другая сестра снимала документальные фильмы. Сама Марина Влади сначала танцевала, а в 1949 году снялась с сестрой в фильме «Летняя гроза». Критика сразу отметила ее «славянский шарм», «шарм слав», и еще через пять лет она снялась у Кайятта в фильме «До потопа», после чего игра ее была отмечена премией. Важным этапом в жизни актрисы была встреча с Робером Оссейном. Советский же зритель моего поколения, а также младшие и старшие мои современники были совершенно очарованы этой актрисой в главной роли фильма Мишле «Колдунья», о чем среди прочего свидетельствуют последующая женитьба на этой актрисе одного из самых популярных актеров и бардов современной России Владимира Высоцкого, а также некоторые страницы романа Василия Аксенова «Ожог». Аксенов имеет там, впрочем, претензии к актрисе по поводу ее романа с французской компартией, но это, во-первых, выходит уже за рамки нашей темы, во-вторых, причины этого романа довольно трогательно объяснены самой Мариной Влади в книге о ее муже, а в-третьих, французская актриса в конце концов могла и не иметь к какой бы то ни было компартии того тягостного счета, какой набегает за жизнь у русского писателя. После разрыва с Робером Оссейном Марина Влади снималась у Дэллануа, у Марко Феррери, у Годара, у Юткевича, у Месароша, и критика по-прежнему отмечала ее ботичеллевскую красоту и грацию, а в последнее время к похвалам кинокритики присоединились похвалы критики

литературной, которая всюду восхищается первым романом, написанным Мариной Влади, и, даже при самом скептическом отношении к объективности французской критики, следует признать, что Марина Влади, она же Марина-Катерина Полякова-Байдарова достойно продолжает удивительную традицию русских кинозвезд во Франции.

Прежде чем закончить об актерах, хочется вспомнить еще об одном человеке, хоть он и не здешний... Недавно я видел в парижском метро огромную афишу нового фильма — «Королевская шлюха». И там вторым или третьим в списке актеров шел Федор Шляпин. Боже, это же Федор Федорович, сын Федора Ивановича Шляпина! — подумал я. Когда я впервые попал в Рим, я позвонил ему, и он сразу приехал на вокзал — огромный, симпатичный, носатый, очень похожий на отца... Он возил меня, незнакомого русского, по городу и возился со мной — только потому, что я был из Москвы, из России; он показывал мне древнеримские термы, которые так хорошо знает, и рассказывал об актерской жизни: все, как обычно — сперва было много работы на студии «Чинечита», потом работы совсем не стало. «Он снова снимается, слава Богу, — подумал я, увидев афишу, — сколько же ему? Наверное, уже за семьдесят, раз он до войны еще писал сценарий вместе с Мережковским, раз еще помнит Горького... Надо что ли пойти посмотреть эту «Шлюху», пардон, «Королевскую, конечно, шлюху», но ведь и цена на билеты в кино здесь поистине королевская...»

НА ВСЮ Б ЕВРОПУ ХВАТИЛО...

(Вольная печать Русского Зарубежья)

Сегодня уже нет сомнения в том, что Первая русская эмиграция была явлением уникальным, до той поры, пожалуй, неслыханным. Конечно, не сам факт изгнания, бегства, рассеяния был поразительным — такое уже бывало в истории. Поразительным был уровень, духовный потенциал Первой эмиграции, проявившийся в самых различных областях эмигрантской

духовной жизни — в области религии, в искусстве, в литературе, в науке, в общественной и политической жизни, в идейных исканиях. И одним из самых удивительных свидетельств этого уровня и потенциала были, на мой взгляд, периодические издания русской эмиграции. Сколько их! Откуда? Почему? Можно найти немало здравых объяснений этому: люди эти столько пережили — им хотелось высказаться самим, найти объяснение тому, что случилось; люди оказались в иноязычном и чуждом окружении — им хотелось услышать голос соотечественников; люди эти оказались в странах, где свобода печати была уже давно завоевана, а ведь известно вдобавок, что русский народ пишущий и, главное, читающий. Все это так — и все же... Все же поразительно! Взглянем на цифры. Старая русская эмиграция, еще та, по-настоящему Первая, что была до 1917 года, тоже издавала свои газеты и журналы, и не один только герценовский «Колокол» был или, скажем, женеvская «Правда» — их тоже было изрядно, этих газет и журналов — чуть не три сотни на протяжении шестидесяти дореволюционных лет русской эмиграции. Но вот грянул 1917-й, гражданская война и — массовая эмиграция. Большое число русских невольно оказалось за рубежами бывшей империи — в Польше, Латвии, Эстонии, Литве, Бессарабии. И почти сразу возникла в эмиграции вольная русская периодическая печать — газеты, журналы, бюллетени, листки, альманахи, вестники... Сколько их было? Риторический вопрос, я не жду, что вы угадаете. Если на протяжении шестидесяти лет, до 1917-го, издавалось за рубежом 287 русских изданий, то после 1917-го возникло 1118 новых. 1118! Фантастическая цифра...

Конечно, в сфере духа количество не всегда переходит в качество (вы помните, наверно, эту шутку о цифрах роста тульской писательской организации — ну, о том, что такой-то у нас, товарищи, прирост, а до революции был всего один писатель. Но звали его Лев Толстой). Так что, увидев эту цифру, вы можете спросить об уровне этих изданий. Вопрос естественный. Что в них было, в этих газетах и журналах, бюллетенях? И услышав этот законный вопрос, я открою номер любимого своего журнала — пожелтевшая бумага, переплет уже новый, библиотечный: старый давно истрепался... Итак, «Современные записки» за 1929

год. № 40. Сорок номеров вышло за девять лет — толстенный журнал. Что в нем? А вот, смотрите: Иван Бунин — «Жизнь Арсеньева», книга IV, начинают сразу с шедевра. С будущей Нобелевской. Дальше роман самого популярного в эмиграции беллетриста, автора исторической прозы Марка Алданова — «Ключ». Дальше — «Третий Рим» Георгия Иванова. Вот еще прекрасная вещь — «Державин» Ходасевича. Стихи Поплавского и Адамовича. Воспоминания Маклакова. Статья отца Георгия Флоровского об исканиях молодого Герцена. Статья Бицилли «Нация и язык» — очень серьезный автор Петр Бицилли. Статья философа Федера Степуна «Религиозный смысл революции». Как всегда, интересный материал о Советском Союзе — анализ новых советских юридических документов, призывающих не цепляться больше за букву закона и не считаться с правом. Автор статьи подробно исследует это «советское правотворчество». Дальше рецензия знаменитой Кусковой на книгу о советских беспризорниках, рецензии на новые книги Мережковского и Осоргина; рецензии, написанные Алдановым, Адамовичем, профессором Кизеветтером. Да, чуть не забыл — новый замечательный роман Сирина-Набокова «Защита Лужина». Это была первая публикация Набокова в «Современных записках» — Фондаминский сам поехал к нему в Берлин, сказал: «Отчего бы вам у нас не печататься?» И забрал рукопись нового романа. Это был успех для молодого Набокова. А уж какой успех для журнала! После этого вся русская проза Набокова-Сирина, до самого закрытия журнала печаталась в «Современных записках» — до 70-го номера, который вышел в 1940 году с тремя публикациями уезжавшего Набокова — уже грянула война. (А после войны из этих многочисленных газет и журналов уцелела едва ли дюжина, по большей части религиозные.) Несколько слов об издателях «Современных записок». На обложке указаны четыре фамилии — Авксентьев, Вишняк, Руднев, Фондаминский. Все как один эсеры. Но литература-то у них была далеко не эсеровская, даже не социалистическая. Литература в журнале была настоящая. И тут большая заслуга Фондаминского — его и позвали в журнал, чтоб ладил со всеми, святой был человек. Любопытно отметить, что лучшие журналы издавали все-таки в эмиграции бывшие левые, а не монархисты, не черносотенцы. Похоже, что традиция эта жива.

О «Современных записках» еще напишут тома. Были и другие очень интересные журналы, газеты, альманахи. Например, великолепная парижская ежедневная газета Милюкова «Последние новости». Среди тысячи изданий встречались, конечно, и послабее — всякие были. Были газеты всех групп, объединений, партий — социалистов и монархистов, анархистов и евразийцев, большевиков-ленинцев и меньшевиков; бывших партизан, казачьи газеты, офицерские, солдатские; научные, исторические, педагогические, дворянские, детские; журналы купцов, ремесленников, студентов. И, конечно, религиозные, православные в первую очередь, но также и журналы русских католиков, русских евреев. Были журналы об искусстве, о кино, о театре — в одном Париже выходило тогда три театральных журнала. Хватало ли всем читателей? Как ни странно, хватало. Денег вот не хватало — и у читателей и у издателей. Так что не всем издателям удавалось продержаться долго. Князь Ширинский-Шахматов издавал, например, свой журнал пореволюционных течений — назывался «Утверждения». Издавал на свои таксистские заработки, потому что этот сын оберпрокурора и бывший кавалергард шоферил в Париже. Тираж его журнала рос, однако денег хватило не надолго... А все же — звучали вольные русские голоса — в Париже, в Харбине, в Риге, в Варшаве, в Шанхае, в Кишинёве, в Вильнюсе, в Таллинне и, конечно, в Берлине, в Париже. Даже в каком-нибудь Лионе, и там был свой орган: «Взлеты», «Независимый литературно-художественный журнал русской молодежи».

И еще даже не хватало места в журналах для всех пишущих. В первую очередь молодым не хватало, поэтам-монпарнасцам, литераторам из провинции. Неутомимый Фондаминский открыл для них «Круг», Оцуп издавал «Числа». Было немало интересного в «Воле России» Марка Слонима, где печаталась Цветаева, в «Грядущей России» Алексея Толстого и Алданова.

Милюков в дополнение к газете тоже издавал одно время литературный журнал — «Русские записки». Вот его апрельский номер за 1938 год — рассказ Ивана Шмелева, пьеса Набокова, стихи Кнута, Ладинского, Ирины Кнорринг, воспоминания Милюкова, записки Лифаря о балете Дягилева, очерк Алданова, очерк Бориса Суварина о московских процессах 30-х

годов — всё то и написал Суварин, что сегодня пишут об этом в России, и всё же закончил не безнадежно, с ожиданием дня, которого и мы ждем: «Заря новой эры займется над Россией лишь в тот день, когда обстоятельства дадут возможность после джи процессов «начать процесс над великой ложью».

Чтоб прислушаться ко всем этим русским голосам, звучавшим тогда в вольном и нищем русском Зарубежье, не хватит у нас терпения. Ведь одних газет со словом «голос» в названии выходило два десятка, а уже со словами «Россия», «Русь», «русский» в названии — целых 130. «Вестников» разных было 46, и среди них надо хотя бы упомянуть «Вестник студенческого христианского движения», на страницах которого выступали виднейшие тогдашние русские богословы.

На целую европейскую страну хватило бы такого количества журналов, да только, сказать по совести, ни одной европейской стране не нужны были уже толстые литературные журналы — некому их было читать. Свои-то толстые журналы мало-помалу закрывались на Западе. В России прочли бы все это, но Россия к началу тридцатых годов уже отгорожена была от своей изгнанной интеллигенции железной стеной — на недобрых шесть десятков лет. На счастье, глухая эта железная стена оказалась не вечной — и читатель русский, во всяком случае тот, кто хочет, получает сегодня это наследство, принадлежащее ему по праву.

ОЧАРОВАНИЕ СИОНИСТА

(Владимир Жаботинский)

Беседуя как-то с Татьяной Алексеевной Осоргиной-Бакуниной о прежних парижских эмигрантских временах, я спросил ее, кто у них был в застолье самый остроумный и веселый собеседник в те довоенные годы, когда еще жив был ее муж Михаил Андреевич Осоргин и когда столько славных людей бывало у них в доме. Татьяна Алексеевна задумалась, а я подсказал довольно самонадеянно:

Алданов, наверное, — такой эрудит, книгочей...

Татьяна Алексеевна покачала головой и назвала имя, которое я уж вовсе не ожидал услышать:

— Жаботинский.

Думаю, что не один я испытал бы удивление. Я слышал когда-то краем уха, что Жаботинский был известный сионист. Про сионизм же я слышал, и в Москве и в Париже, что это что-то вроде американского империализма, только еще хуже. В 70-е годы у нас в России на всяком заборе было написано, что сионизм — это как раз и есть злейший враг всех без исключения трудящихся. Однако причем тут Осоргины, эмигрантские застолья русских литераторов? Пришлось мне шарить по библиотечным полкам, да и Татьяна Алексеевна принесла мне из дома кое-какие статьи, романы, письма — принесла в память о старом друге Жаботинском.

И был я снова немало удивлен. Этот Владимир Евгеньевич Жаботинский, родившийся в 1880 году в Одессе и уже 1898-м, то есть восемнадцати лет, уехавший за границу, где пробыл поначалу три года, по большей части в Италии, этот человек был и впрямь незаурядный русский литератор — публицист, прозаик, поэт, драматург, переводчик. «Переводчик с каких языков? — ревниво спросят парижские коллеги-безработные, — и на какие, позвольте узнать, языки?» Вот тогда я и отвечу, предвкушая их удивление: «С восьми языков. На восемь». Ну да, на восемь. Этот знаменитый публицист, журналист, сионист и новеллист — он писал — писал — а не только читал и говорил на восьми языках. Но, конечно, первым языком его произведений был русский.

Живя в первый раз за границей, юный Жаботинский писал для «Одесских новостей» под итальянским псевдонимом Альталена.

Вернувшись из Европы в 1901 году, Жаботинский целиком отдается журналистике, переводам, драматургии. Жил он сначала в Одессе, потом в Петербурге, и о своем тогдашнем знакомстве с ним вспоминал через четверть века после его смерти один из его сверстников-одесситов Корней Иванович Чуковский. Веселый, жизнерадостный Жаботинский, встретив однажды странного философствующего, обтрепанного юношу — Чуковского, привел его к редактору «Одесских новостей», а позднее даже уговорил этого редактора послать Чуковского в Англию корреспондентом. В одном письме, написанном им в старости, на девятом десятке, Чуковский вспоминал: «От всей личности

Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина. Рядом с ним я чувствовал себя невеждой, бездарностью, меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные-черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед, что придавало ему вид задиры, бойца, драчуна... главные наши разговоры тогда были об эстетике. В. Е. писал тогда много стихов,— и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах... От него первого я узнал о Роберте Броунинге, о Данте Габриэле Россети, о великих итальянских поэтах...»

Чуковский вспоминает о любви Жаботинского к русской и европейской культуре, о его замечательных фельетонах. Пишет и о потрясении, пережившем всю жизнь этого веселого, талантливого поэта, журналиста и переводчика.

В 1903 году в Кишиневе произошел еврейский погром. После недавних Сумгаита, Баку, Ферганы сегодняшнему читателю не нужно слишком подробно объяснять, что такое погром. Это когда потерявшая человеческий облик толпа выбрасывает детишек из окна, насилует женщин и девочек, глумится над стариками, выкалывая им глаза, а полиция (или милиция) стоит в стороне и ждет, когда ей выгодно будет вмешаться. Причем выгодно не самой полиции-милиции, а кому-то еще, кто стоит за ней. В Кишиневе за ней стояли правительство и министр Плеве. Это был не первый в истории еврейский погром. Но Жаботинского он потряс.

Предоставим опять слово Чуковскому, так рассказывающему о молодом Жаботинском:

«Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой и был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой... Я и прежде смотрел на него снизу вверх: он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых, но теперь я привязался к нему еще сильнее. Прежде мне импонировало, что он отлично знал английский язык и перевел «Ворона»

Эдгара По, но теперь он посвятил себя родной литературе и стал переводить Бялика... я считаю его перерождение вполне естественным. Пока он не столкнулся с жизнью, он был Альталена — что по-итальянски значит «качели»... он скользил по жизни, упиваясь ее дарами, и, казалось, был создан для радостей, всегда праздничный, всегда обаятельный... И вдруг преобразился... Думаю, что и враги его должны признать, что все его поступки были бескорыстны, что он всегда был светел душой и что он был грандиозно талантлив...»

Итак, Жаботинский стал сионистом. Сионисты считали, что рассеянные по свету тринадцать миллионов евреев должны обрести свое собственное национальное государство, иначе всегда будут погромы, а может, и хуже. Предсказания эти оправдались, еще и Жаботинский дожил до голокаста.

Британская Энциклопедия определяет сионизм как еврейское национальное движение, ставившее целью создание и поддержание еврейского национального государства в Палестине на древней родине евреев. Возникновение или, скорее, возрождение этого движения энциклопедии связывают с волной погромов. Энциклопедия «Американа» тоже говорит о древней мечте евреев вернуться на землю Израиля. Большая Советская Энциклопедия ко всему этому добавляет, что движение это реакционное, поскольку не говорит о борьбе классов. Энциклопедия добавляет еще, что в Советском Союзе нужды в этих глупостях нет, так как все ограничения для евреев сняты. Всякий, кто поступал когда-нибудь в МГУ или бился лбом в другую дверь, подтвердит, что это святая правда. Тем не менее и советское правительство искало в свое время уголок для размещения какой ни то еврейской республики: сперва в Крыму, близ Евпатории, потом в дальневосточной тайге. Русскому человеку Михаилу Осоргину, как, впрочем, и многим евреям, не вполне понятна была эта тяга к своему государству. Осоргин пишет так: «Я спрашивал у Жаботинского: „Зачем вам нужно еврейское самостоятельное государство? Думаете ли вы, что оно будет лучше других?“ Он шутя ответил: „Не в том дело! Оно будет, вероятно, не лучше других, а хуже. Но у меня, еврея, будет счастливое сознание, что все-таки это *мой* городской бьет меня по морде». Всякий из вас, вероятно, слышал эту шутку, но не уверен, что она

может всякого развеселить. Или вдохновить. Меня лично она не вдохновляет.

Деятельный и талантливый Жаботинский стал одним из лидеров сионизма, одним из отцов-основателей еврейского государства. В сионистском движении он возглавил правое, антисоциалистическое крыло, последователями которого были Бегин и основанная Бегиним партия Херут. Впрочем, у Жаботинского было и немало разногласий с сионистским руководством, да и вообще, ведь реализация мечты всегда сильно расходится с любой утопической схемой. Сионизм тут не представляет исключения.

Во время первой мировой войны Жаботинский был зарубежным корреспондентом газеты «Русские ведомости», потом жил в Лондоне, в Турции, в Тель-Авиве. С 1924 года он подряд десять лет прожил в Париже, где издавал единственный печатный орган российских сионистов «Рассвет». Вот тогда-то он чаще всего и встречался с Михаилом Осоргиным, который, приветствуя старого друга в день его пятидесятилетия, восклицал: «...какая судьба, Владимир Евгеньевич! Вот вы, несомненно гражданин Сиона, как я гражданин советской республики. Я русский, и всей душой люблю мою старую родину, вы, еврей, всей душой любите свою новую, поэтому мы оба проживаем преимущественно в Париже». В русской эмигрантской печати были напечатаны и лучшие произведения Жаботинского — его очерки, рассказы, стихи, романы, переводы: в «Современных записках», в «Последних новостях».

Ходасевич в статье о еврейском поэте Бялике цитировал «поистине гениальное и пророческое», по словам Ходасевича, стихотворение Бялика в переводе Жаботинского, который Ходасевич, как известно, очень строгий и придирчивый судья, назвал «исключительно талантливым» — стихи о том, как продлятся дни людей на земле, как взойдет тоска и наступит, наконец, Голод — «Голод не о хлебе, и не о зрелищах, но Голод о Мессии!»

Татьяна Алексеевна Осоргина вспоминает, что у ее мужа была одна-единственная претензия к евреям — они забрали у русской словесности Жаботинского. В юбилейной заметке Осоргин сформулировал это так: «Я поздравляю евреев, что у них есть такой деятель и такой писатель. Но это не мешает мне искреннейшим образом злиться, что национальные еврейские дела

украли Жаботинского у русской литературы». Это же сожаление звучало в нежном некрологе, который Осоргин послал в 1940 году в газету, в США, где умер Жаботинский.

— Он красивый был, что ли, Жаботинский? — спросил я однажды у Татьяны Алексеевны.

— Что вы! Маленький, некрасивый... Но вот когда он начинал рассказывать про Одессу, он действительно становился совсем другой... Красивый...

Роман Жаботинского «Пятеро» кончается прощанием героя с его, как выразился выше Осоргин, «старой родиной» (американские эмигранты так и говорят «оулд кантри», «старая родина») — с Одессой. Вот оно, это прощание:

«А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют... Потешный был город; но и смех тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уже давно и нет в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и вообще — повесть кончена».

Исследователи творчества Жаботинского считают, что самой сильной его стороной была не проза, конечно, и даже не переводы, не стихи и не драмы, а его публицистика, и в первую очередь, его русская публицистика. Перечисляя публицистические шедевры Жаботинского, преподаватель Женевского университета Симон Маркиш, если память меня не обманывает, и сам тоже — выпускник Московского университета, пишет, что эти публицистические шедевры «и сегодня, почти восемьдесят лет спустя, властно тревожат сердце и ум любого народа под имперским гнетом в любой его форме. Таково по крайней мере мое убеждение, — пишет Маркиш, — и я уверен, что, будь эти статьи переведены на языки сегодняшней Российской (Советской) Империи — украинский, белорусский, литовский и т. д., — они звучали бы как злободневнейшие листовки сегодняшних националистов».

На мой же взгляд, ничуть не менее злободневно звучит, скажем, шестидесятилетней давности корреспонденция Жаботинского из Южной Африки. Вот послушайте:

«Над прекрасной страной висит угроза рока; и легкомыслием было бы подходить к ней с наивным аршином поверхностного либерализма и спрашивать: «В

чем тут трагедия, пусть правят черные, когда подрастут культурно,— ведь это их право!» Это не так просто; самое слово «право» не такое простое слово. Все, чем прекрасна и богата эта страна, все создано гением белой расы, города, фермы, дороги, и гавани, и школы, даже и самый грибок брожения в мозгу черного человека. Для кого и для чего белый это все выстроил? Чтобы через сто лет его потомки стали здесь «национальным меньшинством» под властью темнокожих министров? Разве это «право», чтобы государственное наследство переходило от народа к народу по признаку количества, а не по признаку творческого и организаторского дара?... Самое неудобное на свете то, что почти нигде и никогда нет *одной* правды или есть одна для сторон, для каждой своя, но для беспристрастного судьи всегда две, и обе трагические».

Уверен, что вам вспомнятся эти слова, когда вы включите вечером телевизор.

Недавно, листая иерусалимский журнал, я наткнулся на повесть об известном сионисте Теодоре Герцле, о котором автор, в частности, пишет как о неудавшемся романисте и среднем журналисте. И там есть такая фраза о Герцле: «Куда ему до Жаботинского — авантюриста с внешностью и навыками дипломата и фантазера, выбравшего историю площадкой для воплощения своих фантазмагорий!» Прочитав эти слова Нелли Гутиной, я невольно вспомнил отчет о выступлении Жаботинского в 20-е годы в Берлине, который попался мне в пожелтевшем номере берлинского «Руля». Жаботинского спросили тогда, что будет с местным населением Палестины, куда оно денется после вселения евреев. Он ответил, что там населения мало, почти нет и вообще никаких трудностей с этим не будет. Э вуаля! С чем же тогда трудности? Я показал эту фразу Татьяне Алексеевне Осоргиной. Вот тогда-то она и принесла мне некролог, написанный ее мужем. Про трудности и авантюризм там, впрочем, не было ничего, зато Осоргин писал, что будущий биограф Жаботинского должен «заставить почувствовать очарование общительного и милого человека, поэта, рассказчика, певца, даже озорника — иначе портрет не будет жизненным и правдивым».

ДОРОГИ БУРНОГО ВЕКА

(Семья Кривошеиных)

Впервые я услышал эту фамилию еще в молодости, в конце пятидесятых годов. Рассказывали соученики по институту иностранных языков, носившему мало кого смущавшее тогда имя Мориса Тореза, что арестован наш выпускник Никита Кривошеин, за какую-то там вражескую пропаганду, то есть, по тогдашним уже нашим оттепельным понятиям, — ни за что ни про что. Еще через несколько лет я встретил и самого Никиту Кривошеина — мы вместе занимались в Москве синхронным переводом кино: это был красивый юноша, в русском языке которого звучал совершенно сногсшибательный то ли петербургский, то ли парижский акцент. Я знал, что он родился в Париже, но я не знал тогда, что он внук знаменитого царского министра и что дома у них, в скромной московской квартирке, хранится медальон с частицей мощей Серафима Саровского, присланных государыней императрицей деду Никиты в 1918 году из Тобольска в благодарность за помощь царской семье. Не знал я и того, что дед Никиты был ближайший сотрудник Столыпина, да ведь и о самом Столыпине мы тогда знали еще совсем мало, и только самое худшее. Не подозревал еще я и того, что окажусь когда-нибудь в Париже, буду жить там неподалеку от Кривошеиных, познакомлюсь с отцом Никиты и буду часто слышать Никитин голос в телепередачах, требующих синхронного перевода с русского...

В Париже я прочел и книгу Кирилла Кривошеина об Александре Васильевиче Кривошеине, его знаменитом отце, сумевшем от скромной чиновничьей должности подняться до высших министерских постов в до-революционной России. Александр Кривошеин был сыном подполковника артиллерии и польки из обедневшего дворянского рода. Он закончил юридический факультет университета, сумел понравиться железнодорожному королю России Савве Мамонтову, стал служить у него юрисконсультom, часто бывать в доме Мамонтова в Абрамцево, где познакомился с крупнейшими представителями купечества, с меценатами искусств и русских народных промыслов, со многими

влиятельными и высококультурными людьми. Он и сам съездил в Италию и увлекся там искусствами. После скромного начала государственной службы весьма крупной удачей для него было знакомство с министром внутренних дел графом Толстым, который отправил его сопровождать своего сына на Дальний Восток и в Америку. Толстой остался доволен Кривошеиным, и по возвращении в Россию он быстро пошел в гору. Он женился на дочери профессора истории, принадлежавшей по матери к богатейшему старообрядческому роду промышленников и меценатов Мамоновых. Александр Васильевич был умный, целеустремленный и обаятельный человек, умевший «шармировать» всех, кто ему был нужен, да и не нужен тоже. Осталось множество воспоминаний о нем, весьма нелицеприятных, однако, как правило, признающих его немалые достоинства. Один из его сотрудников писал о нем так: «Никакого идеализма. Но упрямая любовь к родине. Никаких исключительных дарований. Но редкий в русских людях дар и инстинкт строителя... он, именно в силу своей чуткости, гибкой цепкости, непрерывно рос, умнел, учился, стал крупным государственным деятелем. И, начав — как и все! — погоней за успехом, незаметно для себя пришел — к самопожертвованию».

Кривошеин становится соратником Столыпина и полномочным осуществителем столыпинской аграрной реформы — сперва в качестве главы Крестьянского банка, потом главноуправляющего землеустройством, а с 1908 года министра. По многим отзывам, именно ему принадлежала честь осуществления реформы, а в кадетской партии и вообще господствовало убеждение, что он был и одним из авторов реформы. Часто говорили, что Кривошеин — это Витте в области земледелия... Он занимался также заселением пространств Сибири и Семиречья, и еще с абрамцевских времен ратовал за возрождение народных русских промыслов. Накануне войны он пользовался доверием царя и фактически играл роль премьер-министра. Считали, что он был культурней и Витте, и Столыпина. Он неплохо владел пером, и это ему было поручено написать в 1914 году Манифест об объявлении войны. В войну он ушел в отставку. Он был больше не нужен, как еще до него перестал быть нужным Столыпин. Петр Струве писал позднее: «Пример Витте, Столыпина».

на, Кривошеина показывает, что старый режим умел отбирать людей... К сожалению, он не умел их хранить».

В 1918 году Кривошеину удалось избежать неминуемого ареста. Врангель просил его разделить с ним тяжелый крест служения в правительстве Юга России. Позднее, учитывая ошибки Деникина, Врангель и Кривошеин пытаются разрешить земельную и национальную проблемы. Князь Оболенский признавал в мемуарах, что Кривошеин играл в правительстве умеряющую роль, а сам Врангель давал высокую оценку уму своего премьер-министра. «Я не ошибся в нем», — писал Врангель в воспоминаниях. Но длилось это правление не долго. 11 ноября 1920 года последнее русское демократическое правительство собралось в последний раз под председательством Кривошеина. 12-го он уже уплыл из Крыма на английском крейсере, навсегда простившись с Россией. Он недолго прожил и в эмиграции. Около года. Многие встречавшие его здесь, в частности Бунин, писали о его незаурядном уме...

Сын Александра Васильевича Игорь Александрович Кривошеин в 1920 году поступил на физико-математический факультет Сорбонны, позднее работал инженером на заводе братьев Лемерсье, а также помогал своей жене Нине Алексеевне, дочери крупного русского промышленника Мещерского. Как многие подобные ей русские женщины в изгнании, Нина Алексеевна становится за стойку своего ресторана «Самарканд», куда заходили русские после обедни на рю Дарю, где ужинали, где пели цыганские певцы, которым охотно и умело подтягивал сын Льва Николаевича Толстого Михаил Львович. Впрочем, для души оставались у супругов ностальгия и политика, и вот тут мы наблюдаем один из привычных парадоксов Первой эмиграции. Нина Алексеевна и Игорь Александрович сближаются с движением «младороссов». Это было одно из правых довоенных движений, которое поворачивается лицом к новой России, выступая одновременно и за царя и за Советы, пропагандируя успехи советской индустриализации, а также испытывая немалое влияние француза Шарля Морраса, позднее коллаборациониста, красноречивого итальянца Бенито Муссолини и прочих фашистов. Ритуал «младороссов» тоже был подозрительно знакомый — национализм невысокой пробы, одинаковые рубашки, шагистика, крики «Вождь! Вождь!»

и безмерная, нерассуждающая вера в вождя. Правда, когда обозначилась угроза настоящего фашизма, вождь «младороссов» Александр Казим-Бек высказался против немецкой агрессии и обещал, что младороссы будут с ней бороться. Сам он, впрочем, благоразумно удалился в Испанию, а потом и в США, в чем его, кстати, упрекала Нина Алексеевна Кривошеина в своей книге.

22 июня Игорь Александрович был арестован гестапо вместе с другими русскими и заключен в лагерь Компьен, откуда вышел через три месяца с готовностью бороться против немцев. Сперва он направился на улицу Лурмель к знаменитой поэтессе и монахине, как назвал ее Набоков, героической монахини — к матери Марии. Вместе с матерью Марией, Львом Борисовичем Савинковым и другими он создал Комитет помощи заключенным лагеря Компьен. Позднее он стал активным сотрудником Французского Сопротивления...

Как-то раз, лет шесть или семь тому назад, когда мы прогуливали вместе с Игорем Александровичем мою маленькую дочурку в парке Шуази, неподалеку от нашего дома, Игорь Кривошеин рассказал мне потрясающую историю...

Он шел в войну по улице Парижа и вдруг увидел офицера в эсесовской форме, в котором узнал своего бывшего однокашника по университету. Они обнялись, зашли в кафе, и тут-то Игорь Александрович высказал все: как обидно ему видеть старого приятеля и единомышленника в униформе ненавистного палача Гитлера. «Ты бы знал, как я сам его ненавижу! — воскликнул немец. — Ну скажи, как бороться с ним?» Они назначили новое свидание, во время которого Игорь Александрович передал список вопросов к «нашему человеку из СС», переданный из Лондона, из ставки Де Голля. Ответы были переданы в Лондон, перехвачены, конечно, немецкой разведкой, и друг Игоря Александровича был немедленно расстрелян. Сам Игорь Кривошеин отвезен был в Бухенвальд, в подземный лагерь Лаура, где он сошелся в подполье с советскими военнопленными и стал еще более просоветским, чем раньше. Он выжил в лагере, сам генерал Леклерк посетил пленных — депортация это ведь как орден во Франции, — а уже в мае 1945 года генерал де Лятр де Тассиньи известил Нину Алексеевну о возвращении

мужа-героя. Его с трудом выносили, он был так худ, изможден. Но, выздоровев, он с головой окунулся в работу созданного им «Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления», выпускал «Вестник» Содружества.

Это было вполне просоветское время в эмигрантском Париже. Делегация во главе с самим Маклаковым, бывшим русским послом, посетила советского посла Богомолова и заявила, что эмиграция готова пересмотреть свои прежние позиции в отношении Советов. А летом 1946 года — к ликованием русской эмиграции — был обнародован «Указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи...» Кривошеины одними из первых обменяли свои нансеновские паспорта на молоткастый и серпастый советский паспорт. Участились приемы в советском посольстве, эмигрантам не терпелось увидеть родину. Часть русских, наконец, уехала домой, уехала и часть армянской колонии. Поразительная история: беженцы из советского ГУЛага наводняли в то время Европу, рассказывая о своих советских горестях, а в бывшем особняке фашистской администрации Жеребкова в Париже, явочным путем захваченном «Союзом патриотов», Кривошеиным и его друзьями, наперебой славил советскую идиллию, процветание, сказочные достижения и свободы, и только слухи о преследовании Зощенко и Ахматовой отчего-то несколько смутили эмигрантов. Воистину, не желающий видеть или желающий верить — слеп к реальности. 3 июля 1947 года господин Молотов (или уже товарищ Молотов) выступил на эмигрантском приеме в советском посольстве в Париже и обещал заступничество всем возвращенцам, кому вдруг не совсем весело придется на родине.

По подсчетам Нины Алексеевны Кривошеиной, из 65 000 эмигрантов во Франции тысячу взяли советские паспорта. На Съезде советских граждан в здании «Союза патриотов» председательствовали посол Богомолов и Игорь Кривошеин. Французское правительство, с трудом отбивавшееся в это время от собственных коммунистов, решило для острастки выслать часть новых советских граждан на желанную родину. В число этих двадцати четырех попал Игорь Кривошеин, вслед за которым двинулась в Россию и семья. А дальше было все нам так хорошо знакомое:

надзор НКВД, теплушки, пайки, общаги, столовки, преподавание иностранных языков, где главным упражнением был перевод лозунга: «Да здравствует наш родной и любимый...» Все это подробно описано в книге Нины Алексеевны Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни».

Игорь Кривошеин оказался в отечественном лагере, не сразу, правда, а только в 1949-м, как и многие другие возвращенцы. Молотов за них, конечно, не заступился. Вышел Кривошеин из Тайшетского лагеря только после смерти «родного и любимого», в 1954-м, и жил в Москве еще целых двадцать лет. Сын его Никита познал уже позднюю, послесталинскую Польшу, мордовские лагеря для политических, зато только три года — сроки мягких времен. В 1974 году супруги Кривошеины вслед за сыном вернулись в Париж. В тот год, когда я познакомился с Игорем Александровичем, он писал послесловие к воспоминаниям покойной жены. «Мы не жалели о пройденном нами пути,— писал он.— Милость Божия позволила нам пройти через все испытания и не погибнуть». Однако для Игоря Кривошеина всегда важно было не только не погибнуть самому. Он тревожился о России — она не погибла бы...

Во время наших с ним прогулок он расспрашивал меня о новых наших «славянофилах», нынешних «национал-радикалах», возлагая на них последнюю надежду. Он спрашивал, унаследовали ли эти люди бескорыстные традиции старых русских славянофилов. Я ничем не мог его утешить, ибо на своем скудном, писательском опыте убедился только в черных средневековых «фобиях» этих людей, а любовью — «фильством» никаким что-то не пахло, да и бескорыстием или аскетизмом своим они не поразили мое воображение. А уж так хотелось утешить этого милого человека, сказать, что все будет хорошо, что очень скоро все наладится, там, на нашей с ним родине...

Он умер года два назад, тут, в Париже. Дожил, впрочем, и до новых времен, так сказать, до нового периода русской истории... Но уж такой ли он новый?

ЕЩЕ ОДНО ЧУДО

(Парижские книжники)

Весной этого года я встретил в Латинском квартале московского писателя, знакомого по Москве, по Голицыну, по издательству. Вид у него был что-то грустный, и я спросил, отчего.

— Да вот,— он махнул рукой в сторону рю л'Эперон, где знаменитый «Дом книги» Каплана.— Были в здешнем книжном магазине... Сплошное расстройство. И одно хочется купить, и другое...

О, это я мог понять... Сколько часов проторчал я сам в русских книжных магазинах Парижа, перебирая, листая, лаская книги — и на рю л'Эперон, и на рю Монтань Сан-Женевьев, и на рю Бюси и даже в Шекспировской лавке у Нотр-Дам,— еще в ту пору, когда впервые попал в Париж, лет пятнадцать тому назад, да и потом — на протяжении всех этих пятнадцати лет. Ну я, да еще тогда, когда ничего не было в Москве — ладно, но вот чтоб теперь, после трех лет гласности, от которой так много получило нынешнее советское книгоиздательство... Видно, и после трех лет бурной издательской деятельности есть еще чему позавидовать в этих парижских книжных лавках читающему русскому человеку. Хотя бы и был он член Союза писателей (то есть имел доступ к своей писательской книжной лавке) и даже крупный московский издатель, каким, кстати, и был встреченный мной в Париже московский прозаик, директор самого крупного в Советском Союзе, а может, и в мире тоже, книжного издательства.

И как же ухитрилась она, эта полунищая русская эмиграция, столько понаписать и столько издать за недолгий срок — так, словно за этим она сюда и приехала в изгнание, словно и было это ее задачей и ее судьбой. Ведь живут и жили тут в Париже куда более многочисленные и богатые колонии эмигрантов — поляки и итальянцы, португальцы и алжирцы, сербы и испанцы, марокканцы, самые разнообразные африканцы, азиаты, политические эмигранты или просто на заработок приехавшие — живут себе спокойно, бедствуют или богатеют, работают или стоят в очереди за пособием и тарелкой супа, но книг и журналов не издают, а тут ведь как прорвало — поток, потоп.

По всему Парижу тогда пооткрывались книжные лавки, издательства. Открывались, закрывались — так, словно одна мечта была: издать, издаться и умереть. А может, они были правы, наши соотечественники? Во всяком случае, нынешний русский читатель может за многое быть этим фанатикам и подвижникам книги благодарен. Да и не только русский. Время от времени ленивые и нелюбопытные французские издатели находят и для себя что-нибудь русское. Вот ведь совсем недавно отыскивали старый-старый эмигрантский сборник рассказов Нины Берберовой — и соорудили из него сразу пять — шесть книжек, каждый рассказ назвав при этом романом; а потом уж отыскиали и пожелтевший от времени, на плохой газетной бумаге сборник ее газетных репортажей о процессе Кравченко против «Летр франсэз» — и тоже издали. А уж сколько этих эмигрантских книг переиздано сейчас в Москве!

Конечно, сразу после революции главной издательской столицей русской эмиграции был Берлин, а не Париж — в Берлине издавать было тогда дешевле, и связь была с Москвой прочней — книги уходили в Москву, рукописи приходили оттуда. Потом обстановка изменилась, и Париж взял свое. Не забудем и эмигрантскую провинцию — издательства Риги, Праги, Шанхая, Таллинна, Харбина, Белграда...

Листая старый номер парижской эмигрантской газеты, натыкаешься на объявления книготорговцев. Вот магазин «Виктуар» на рю де ля Виктуар предлагает русские книги по истории и философии, по юридической науке, по истории искусств. А вот объявления книжного магазина «Водник», большого магазина «Москва» (Бреннера), магазина «Старина», очень важного магазина Поволоцкого, магазина Сияльских, что близ кафедрального собора на рю Дарю, магазина Арбузова, торговли Карбасникова, магазина Корниловой-Шаперон и, конечно, «Дома книги» Капланов на рю л'Эперон и, конечно, магазина «ИМКИ-пресс», который называется «Эдиторз реюни» и который размещался сперва в XVI округе на рю Сан Дидье.

Были в Париже и любители-книжники, библиофилы-книгоеды, которые, заработав хоть малую толику, тут же тащили ее книготорговцу и букинисту. Один из них даже описал свои приключения: я имею в виду Махаила Андреевича Осоргина, чьи «Заметки старого книгоеда» вышли недавно в московском издательстве

«Книга». Осоргин на скудные свои заработки от журналистской поденщины собрал библиотеку, сперва в Москве, а потеряв ее, собрал новую — в Париже — чтоб потерять снова при немцах; страшный был для него удар. Мне рассказывал нынешний руководитель издательства «ИМКА-пресс» и магазина «Эдиторз реюни» Никита Алексеевич Струве, что отец его Алексей Петрович, сын знаменитого Петра Струве, тоже сперва держал букинистическую лавку в Париже, а потом занимался книжными редкостями на дому.

Книгоизданием в Париже, кроме специальных издательств, занимались и журналы. Так, в 1938 году новый журнал Милюкова «Русские записки» издал несколько книг, среди которых «Соглядатай» Набокова-Сирина, «Бельведерский торс» Алданова и «О нежности» Тэффи, «Волчица» Мориака в русском переводе с предисловием Бунина...

Издавали книги и сами книжные магазины. Так, большой книжный магазин Каплана «Дом книги» в том же 1938 году издал посмертный сборник стихов Бориса Поплавского, книгу об одесском периоде Пушкина. Издавал кое-что и магазин Сияльского (мне, впрочем, доводилось видеть в их издании лишь довольно несмешную книгу еврейских анекдотов, про Абрама и Сарру, но вероятно, у них были и другие книги). Что касается издательства «ИМКА-пресс» и магазина «Эдиторз реюни», то они заслуживают особого рассказа, тем более, что не так давно в Москве с успехом прошла выставка этого издательства.

Издательство родилось в результате нескольких событий, вобрало в себя несколько течений. Начнем издаюла — от ярчайшего религиозно-философского движения в верхах русской интеллигенции, в начале XX века, движения интеллигенции, порвавшей с философским агностицизмом и примитивным материализмом. Конечно, понадобилась помощь советского правительства и лично товарища Ленина, чтобы все замечательные богословы, философы, писатели, примыкавшие к этому движению, оказались в изгнании, в Париже: они, как вы знаете, были высланы из России в 1922 году. В эмиграции родилась уже в это время новая тяга к православию, к возрождению веры, религиозный ренессанс, настоящая религиозная весна, как писали тогда. Особую роль в этом возрождении призвано было сыграть Русское

студенческое христианское движение, поддержанное в своих начинаниях американцами из ИМКИ — Христианской молодежной ассоциации, христианским идеалистическим миром Америки. Американцы, среди них Лаури, Мак-Нот и Андерсон, особенно Андерсон, очень много помогали русскому христианскому молодежному движению. Все это положило основу нового издательства, перед которым стояла важная задача — дать литературу этому разрастающемуся религиозному движению.

А издавать было что и было кого — кроме священных книг и учебно-воспитательной литературы, ждали издания труды Бердяева и Франка, Ильина и Лосского, отца Сергия Булгакова и Вышеславцева, Карсавина и Федотова. Потом пришло и молодое поколение богословов, ибо Бердяевым создана была в Париже Религиозно-философская академия, открылся на Сергиевском подворье Православный богословский институт. Издавалась ИМКОЙ и художественная литература — в основном русская классика. Невозможно перечислить все изданные книги — остается назвать некоторые любимые или самые важные. Ну, скажем, книгу «Святые Древней Руси» Федотова. Или книги о святых отцах, написанные Красавиным и отцом Георгием Флоровским, «Освобождение Толстого» Бунина или «Жизнь Тургенева» Бориса Зайцева. Литературоведческие труды Мочульского. Четырнадцать номеров «Нового града»... Издательство сумело опубликовать все произведения Бердяева, Лосского, Вышеславцева, Франка, отца Сергия Булгакова.

В 1961 году издательство переехало в самое сердце Латинского квартала, на улицу, которая спускается от Пантеона и церкви Святой Женеьевы к бульвару Сан-Жермен — на улицу Монтань Сан-Женеьев (Горы Святой Женеьевы). Нынешний руководитель издательства Никита Алексеевич Струве рассказывает, что при переезде в подвале старого издательства была найдена большая черно-белая репродукция картины Пювиса де Шавана «Молящаяся Св. Женеьева» или, как переводят это имя, Святая Геновефа. Струве считает, что существует некая мистическая связь между судьбой русского православия во Франции и этой покровительницей города Парижа. Так или иначе, на улице Монтань Сан-Женеьев был открыт первый франкоязычный православный приход, там же обосно-

валось издательство, которое ждали здесь новые славные свершения. У издательства появился новый автор. После отказа «Нового мира» напечатать его «Август 14 года» Александр Исаевич Солженицын доверил эту книгу издательству «ИМКА-пресс», а еще через три года поручил этому издательству в кратчайший срок и в полнейшей тайне издать первый том «Архипелага ГУЛАГ» по-русски. Одной такой книги хватило бы, чтоб прославить в русской истории любое издательство. Тираж первого тома достиг небывалой для эмиграции цифры — 50 тысяч экземпляров. «Новые руководители американской ИМКА,— вспоминает Никита Струве,— с некоторым удивлением узнали благодаря «Архипелагу» о существовании издательства, носящего имя их организации: о нем они успели уже забыть. С появлением «Архипелага» и последующей высылкой автора началось Солженицынское десятилетие, не только для «ИМКА-пресс» — для всей мировой литературы и истории». «В «ИМКА-пресс» через полстолетия,— продолжает Струве,— соединились две традиции — религиозно-философская и литературно-пророческая: обе, невыносимые для советского режима, ознаменовались высылками: высылке философов Лениным в 1922 году соответствовала в 1974 высылка Солженицына Брежневым... Первая позволила создание издательства, вторая дала ему новый импульс».

Итак, «ИМКА-пресс» стала издавать Солженицына, а также две очень интересные созданные Солженицыным серии мемуарных книг, посвященные белым пятнам новейшей русской истории. Здесь первыми на память приходят воспоминания князя Оболенского и книга Герасимова «На лезвии с террористами». Если всего названного еще не достаточно для характеристики ее деятельности, «ИМКА» выпустила за эти годы книги Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Юрия Домбровского и Надежды Мандельштам. Вот такие семьдесят лет книгоиздательской деятельности в эмиграции, завершившиеся выходом к многомиллионному русскому читателю. Не истинное ли произошло чудо? Но оно должно было произойти — раньше или позже. Ибо ведь и само возникновение такой волны книгоизданий, такого бурного творчества в нищую пору русской эмиграции, в чужой стране — это ведь тоже было настоящее чудо.

В конце — маленький и очень грустный постскрип-тум. Закрылся великолепный Дом книги Капланов. Добила его наша перестройка. Советские издательства, «Межкнига» перестали выполнять обязательства, а покупатель тут не привык к небрежности. Так монстр бесхозяйственности, уже пожравший и нашу пшеницу, и наш текстиль, добрался до почтеннейшего парижского магазина русской книги...

КОНЕЦ ОДНОЙ УСАДЬБЫ

(Вилла «Бельведер»)

Из воспоминаний о том, что навсегда ушло вместе с оставленной навсегда Россией, особенно томительным для аристократических изгнанников было, вероятно, все же воспоминание о русской усадебной жизни. Может, оттого, что и вообще уже не осталось больше на свете этого удивительного явления — этой привольной жизни в глуши, среди нетронутой природы, в окружении высочайших даров культуры — литературы, философии, музыки. Русских усадеб с их общением, неистовым гостеприимством и хлебосольством, с разговорными застольями, вошедшими прямым ходом в историю национальной культуры. Вспомним... Долгая зима, белое безлюдье, и вдруг — скрип саней, перезвон колокольчика: то бродяга Пушкин свернул с Петербургского тракта на огонек в Малинники, завлеченный дружеской беседой или глазами Катеньки Вельяшевой. А то зеленый шатер аллеи — и голоса, спорящие горячо, взгляды — Толстой с Фетом и Тургеневым на прогулке. А то ночной огонек во флигеле Премухинской усадьбы — это неистовый сын Александра Михайловича Бакунина приобщает своих разночинских друзей то к Фихте, то к Гегелю, которого и сам толком еще недочитал...

В эмиграции со всем этим было покончено — не было ни усадеб, ни слуг, ни лишних денег. Да и в кругу соотечественников нищета была такая, что грех роскошествовать.

И все же при малейшей возможности тут и здесь

возникали очаги эмигрантской жизни, похожие на былые усадебные гнезда. Одно такое гнездо описано в «Пнине», американском романе Набокова — усадьба Александра Кукольниковца, навеянная поездкой на дачу Карповича в Вермонте. Некое подобие усадебной жизни являли загородный дом Трубецких во Франции, дом Ковалевских в Медоне близ Парижа. И как ни странно, некоторые черты этого быта являла и наемная вилла «Бельведер» в городке Грасе, что в Приморских Альпах близ Лазурного Берега Франции, а точнее, вблизи Канн и Ниццы. На вилле этой на протяжении шестнадцати лет проводил большую часть года Иван Алексеевич Бунин с женой, с гостями, друзьями и приживальщиками — в лучших традициях усадьбы.

«Как ни странно» я сказал не совсем случайно, ибо положение у Буниных было во Франции не ахти. Они ничего не вывезли из России, а прожить пером на Западе было невозможно не только русскому писателю, пишущему для ограниченного круга эмигрантских читателей, но и представителю какой ни то европейской литературы, которая оставалась у себя дома, в окружении многомиллионной массы соотечественников,— скажем, французской, английской или итальянской. А между тем, Бунину, выехавшему за границу пятидесяти лет от роду, поздно оказалось менять любимую профессию и даже отучаться от барских своих замашек. На счастье, был он любим русской интеллигенцией, был он единственный в изгнании писатель-академик, так что даже те, кому некогда было читать, все равно знали, что Бунин — это классик. Это гордость России, уж если Бунину не помочь, то кому же тогда и помогать. И помогали. Были тысячи способов такой помощи — сбор денег по подписке, чтения, вечера с распространением билетов, а то и — прямая помощь благотворителей, меценатов.

Подходило душное парижское лето, серое небо нависало над XVI округом и улицей Жака Оффенбаха, казалось совершенно необходимым вырваться куда-нибудь к синему небу, к горам, к морю — а на что, на какие деньги? На службу Иван Алексеевич не пошел, газетной поденщиной, как Осоргин или Алданов, себя не изводил. И вот ехали Иван Алексеевич и Вера Николаевна на завтрак к какому-нибудь там Розенталю, беседовали там за обильным столом с богатым ювелиром о чем-нибудь культурном, скажем, общими

силами вспоминали любимые строки Пушкина — «мороз и солнце, день чудесный...» Потом этот Розенталь, растроганный воспоминаниями о петербургском детстве, уводил Веру Николаевну в свой кабинет и говорил ей, что Ивана Алексеевича надо непременно вывезти из этой летней жути, вот чек, много он, конечно, не может, но пару тысяч... Эти забавные отношения описаны и в дневниках Веры Николаевны, и у Берберовой, и у Яновского, так что нужно иметь бессовестность, а заодно и безграмотность московского автора Валентина Лаврова, нового буниниста, чтобы представить все наоборот.

В начале двадцатых годов, точнее, в 23-м, Бунины впервые появляются в горном Грасе. Сперва они там снимали дом вместе с Мережковскими, потом нашли «Бельведер» — виллу на холме, близ дороги, что ведет на Ниццу, близ парка, возле улицы принцессы Полины — на узенькой рю дэ Вье Ложис. В этой части Грас и сегодня почти не изменился, только при повороте на рю дэ Вье Ложис стоит на земле доска с надписью — о том, что здесь жил русский писатель Бунин.

А внизу, в центре — узкие улочки старинного городка, и белье на веревке через улицу, и на маленьких очаровательных площадях — старинные церкви: скорее все же итальянский, чем французский это городок. А там наверху, близ виллы — прозрачность воздуха, вид на дальний массив Эстереля, и сад, и огромное звездное небо. Здесь хочется писать, а чего еще желать писателю?

С собой у Бунина — книги, и старые русские журналы, например, «Отечественные записки», которые он перечитывает без конца: его волнует, что он уже читал это все лет тридцать тому назад в зимних Озерках, в усадьбе... Рядом с Буниным всегда — любимая и преданная его жена, Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Они уже много лет вместе, хотя обвенчались только недавно, в Париже. И без конца — гости — рядом ведь, в Ницце, колония русских, а там кого только нет, даже старенькая внучка Пушкина. В Грасе живет и любимый друг Илья Фондаминский с его вечными религиозными поисками, любовью к русской истории и литературе, приезжает Стравинский, бывает здесь Алданов, такой же, как сам Бунин, поклонник Толстого, и еще, и еще... Говорят здесь о тонкостях литературного мастерства, как бывало говорили в Ялте у Чехова.

А в 27-м приехала к Бунину секретарем молодая писательница Галина Кузнецова, и Бунин влюбился в нее серьезно: последняя большая любовь. И бодрость в 57 лет, и ощущение радости жизни, и труд — он пишет «Жизнь Арсеньева», начинает «Темные аллеи». А Вера Николаевна ревнует, конечно, но для нее забота о муже, о ее Яне — прежде всего. Потом приезжает из-под Пскова, из тогдашней Эстонии молодой писатель Леонид Зуров, странный, тяжелый человек — тоже становится то ли секретарем, то ли учеником Бунина, то ли еще одним приживальщиком. Доброе сердце Веры Николаевны склоняется к этому несчастному существу... Не очень-то простая обстановка, но вполне еще в усадебном стиле. И по-прежнему огромное звездное небо над Приморскими Альпами, чистый прохладный рассветный воздух. Бунин пишет роман, но часто вспоминает и про дневник:

«Раннее осеннее альпийское утро, и звонят к обедне в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековой звон,— все то же, что и тысячу, пятьсот лет назад, в дни рыцарей, пап, королей, монахов... Проснулся в четыре часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них...» И вот еще: «Темный вечер, ходили с Галей по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг — подвал пекарни, там топится печь, пекут хлебы — и такая сладость жизни... Когда зажег огонь у себя, облака над городом сделались цвета подсохших лиловых чернил (очень мягкого). потушил огонь — лиловое превратилось в фиолетовое. Чувство ясности, молодости, восприимчивости, дай Бог не сглазить».

Гостей снова бывает множество. Однажды даже прибегает советская растерянная, взволнованная женщина — жена бывшего большевистского военачальника, революционера, бывшего мужа Ларисы Рейснер, потом посла в Болгарии. Отозванный вдруг в Москву на расправу Раскольников сбежал и написал Сталину все, что он о нем думает. Смерть настигла его в Ницце. Что же до Бунина, то он никогда не скрывал, что он думает о большевиках, о Ленине, о Сталине. Позднее он прибавлял к этому перечню еще Гитлера и Муссолини, так что попытка московского автора по фамилии Лавров представить в его книге любовь Бунина к Сталину может иметь успех только у вовсе уж доверчивого читателя.

В 1933 году маленький парфюмерно-промышленный Грас впервые попал в бюллетени международных новостей — живущему здесь Бунину по заслугам, конечно, в высшей степени по заслугам, хотя, судя по воспоминаниям, снова не без хлопот любящих его русских меценатов и тех же русских Нобелей — присуждена была Нобелевская премия по литературе.

Пришла мировая слава, а с ней немалые деньги. Бунин хотел купить «Бельведер», вел переговоры с хозяином, да так и не собрался виллу купить, а деньги утекли, как вода. И главное — он пережил в эту пору странную, в стиле XX века и вовсе уж не усадебную драму. В Галину влюбилась молодая, интеллигентная дама — Марга Степун, и Галина ответила ей взаимностью. Теперь «барышни» по нескольку дней не выходят из своей комнаты на втором этаже, а Иван Алексеевич в нетерпении муки ходит по саду. И Вера Николаевна сочувствует ему. Между тем обитателей на вилле все больше. Особенно много их становится с началом войны — здесь двусмысленный журналист Роцин, симпатичный живчик Бахрах, маленькая Олечка, ее мама Лиля, Галина и Марга...

Деньги кончились, с войной пришла нищета — и если не голод, то во всяком случае военная скудость, вечные мысли о еде, о старости, о болезнях. Но все еще пишется, все еще прекрасен Божий мир, хотя и холодновато бывает весной и осенью на вилле — отсюда мечта о теплой комнате, о печке, натопленной так, как топят только у нас, в России: «Если бы большая теплая комната с топящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь...»

В войну его мысли о России стали еще неотвязней. Бунин следит по карте за продвижением советских войск, сочувствует России, болеет за нее. На вилле «Жанет», куда переселились Бунины, теперь ловят передачи Московского радио, хочется знать, как там дела. Передачи эти вызывают двойственное чувство у Бунина. Он радуется поражению немцев и все же не смилен тем, что происходит в России.

В отличие от хлебнувшего немецкого лагеря Маклакова, от старенького Милюкова, от Кусковой и митрополита Евлогия, Бунин не был захлестнут волной просоветского военного патриотизма...

Ну, а в Грасе в конце войны появились пленные русские в немецкой военной форме; потом, еще по-

зднее, — в местном кабаке русские девчонки плясали в День победы с американскими летчиками, и подошел конец скудной и счастливой усадебной жизни Бунина в маленьком альпийском городке Грасе близ Французской Ривьеры — второй по размерам русской эмигрантской колонии Франции.

ДЕТИЩЕ ТУРГЕНЕВА

(Русская библиотека в Париже)

В тревожном, унижительном, полном горестей, трагическом для Европы и Франции 1940 году в эмигрантской русской газете появилась заметка писателя Михаила Осоргина «Горе русских в Париже». На фоне падения правительств и стран, бегства, разлук и смертей этому русскому писателю, дважды эмигранту, потерявшему в скитаниях все немногое, чем владел, истинным горем все же показалась потеря парижской русской библиотеки имени Тургенева. Ну да, скажете вы, Осоргин был заядлый книжник и читатель, книгоед, как он сам называл себя. Но ведь и другие эмигранты, не книгоеды, не библиофилы, тоже были потрясены тем, что случилось. А произошло следующее: подъехали фашисты, погрузили в ящики русские книги и вывезли их в неизвестном направлении. При том что Германия была еще тогда в нежном согласии со сталинским правительством.

С тех пор след библиотеки так и не сыскался — сгорела ли она в войну, была ль вывезена дальше — куда, кем? Эта тайна еще не раскрыта. Иногда в Москве вдруг услышишь, что, мол, видели книжку со штампом библиотеки Тургенева — одну книжку или несколько книг, но ведь там было сто тысяч томов. Там были энциклопедии, справочники, богатейшее собрание русской эмигрантской и дореволюционной периодики. Это был клад, настоящее русское сокровище. К тому же библиотека стала и домом для многих русских в изгнании — и для тех, кто просто не хлебом единым сыт, и для тех, у кого хлеба не всегда было вдоволь. Как выразился Марк Алданов, это было

самое старое и почтенное учреждение эмигрантского Парижа.

История этой русской библиотеки довольно любопытна, а имя Тургенева она получила не случайно, не просто, скажем, к юбилейному году...

Возникла библиотека в начале семидесятых годов прошлого века. Уже тогда были в Париже русские эмигранты. Были также русские студенты, приехавшие сюда учиться. А в начале семидесятых годов число их вдруг резко возросло: в Париж перебралось сразу много студентов из Швейцарии. Там собралось немало русских политических эмигрантов, и русское правительство, обеспокоившись — не без оснований, что они плохо будут влиять на студенческую молодежь, рекомендовало студентам перебраться в Париж. И вот эти девушки и юноши оказались в знаменитой мировой столице — не на экскурсии, а на долгое житье. И выяснилось — верь не верь, — что можно иностранцу быть в веселом городе и одиноким, и бесприютным, и полуголодным.

Положение молодых людей беспокоило одного как будто и непричастного к университетским делам человека. Звали его Герман Лопатин, и был он знаменитый русский изгнанник-революционер, человек беспокойный, остро чувствующий чужую беду. У него и до этого были всякие фантастические проекты в отношении эмигрантской жизни. Видя, например, что у эмиграции нет настоящего вождя, он замыслил выкрасть Чернышевского из сибирской ссылки и привезти его в эмиграцию, чтоб был вождь. Нынешний проект Лопатина, впрочем, был менее грандиозен и более, как оказалось, реалистичен, хотя тоже не прост. Он решил организовать для бездомной русской молодежи библиотеку с читальным залом — чтоб могли там собраться, почитать, обогреться, поговорить о своих делах, познакомиться, наконец. Ну и почитать, конечно, как же русскому интеллигенту без чтения!

Сам Лопатин был без денег, надо было искать помощи. А помощь все искали в одном месте — у Ивана Сергеевича Тургенева: недаром он себя в Париже чувствовал вроде как консулом русской культуры. Попал он в Париж, как известно, давно и вполне романтически: этот богатый, красивый и талантливый аристократ-писатель влюбился еще в юные годы в заезжую французскую певицу, судя по ее портретам,

довольно страхолюдную, к тому же состоящую во вполне благополучном браке. И вот даже после того как стал отставным ее возлюбленным, по-прежнему жил Иван Сергеевич при семье Полины Виардо-Гарсии, дружил с ее мужем и со знаменитыми французскими писателями, благодетельствовал чужих детей, детей Полины и всех, кто нуждался — от писательницы Вовчок до Миклухи Маклая. Он уже знал о нужде русской молодежи в Париже и об этом даже сам рассказывал как-то жене Островского — что вот, мол, они приходят к нему, молодые русские, и просят помочь — говорят, нам милостыни не надо, дайте нам работу, а вот это-то как раз всего труднее достать в Париже, потому что они какую работу хотят, эти юные русские интеллигенты — хотят писать или преподавать русский, а в Париже на одного желающего учить русский — десять профессоров (это тогда было десять, а теперь — сто), Ну а корреспонденты у них, у французов, есть свои, штатные, а если надо — они приглашают Золя, в общем, никто им не нужен...

Тургенев откликнулся на призыв Лопатина — стал хлопотать. Способы благотворительности были известны — или ездить деньги просить по богатым и свои дать, или благотворительный концерт. Устроили концерт, один, потом другой, Виардо пела, русский скрипач подвернулся. Книги все дарили свои — и Тургенев дарил, и Лопатин, и Лавров. Наконец, открыли библиотеку с читальным залом — тепло, уютно... Русские писатели и позднее дарили сюда книги, и сегодня, между прочим, дарят, и я хотел бы обратиться к русским издателям и писателям — пожалуйста, присылайте книги на рю Валянс, дом 11, Париж-5... Библиотека со дня основания много раз меняла адрес, фонды ее росли, среди читателей ее бывали и Толстой, и Достоевский, а уж как пригодилась она после революции, когда хлынули русские в Париж! Писатели Первой эмиграции хорошо знали эту библиотеку, тоже дарили ей свои книги, а главное то, что и они могли здесь читать. Но не только писатели читали, но и простые эмигранты — порой и такие даже, кому дома-то, в России, едва довелось научиться читать, а тут вдруг потянуло к чтению. Бывало, что оставляли они на полях неуклюжие свои каракули — я много видел таких книг, хотя у прежних библиотекарей был обычай — часами стирать резинкой малограмотные эти

надписи, однако за всем не уследишь, и много еще уцелело... разного. Ведь эмиграция-то первая была неоднородна — в ней были не одни только благородные богословы, философы, интеллектуалы, была и совсем необразованная масса, которая вывезла из бурлящего котла войны все старые и новые предрассудки, фобии, темноту. И вот берешь сегодня какой-нибудь старый том — скажем, «Девятое термидора» Алданова, а там надпись: «Дорогому Ивану Алексеичу от автора» — из Бунинской, стало быть, библиотеки том. А потом берешь старый журнал, и там, на полях против каждой необычной, неславянского корня фамилии — Кизеветтер ли, Струве ли, Эйзенштейн ли — на полях каракули: «еврей» и знак вопроса, «большевик» — опять знак вопроса...

Как вы уже поняли, библиотека существует сегодня снова. Она не нашлась, нет, но была собрана заново силами старой эмиграции, в том числе и вдовы Михаила Осоргина Татьяны Алексеевны Осоргиной-Бакуниной, что родом еще из тех Бакуниных, премухинских, откуда и знаменитый Михаил Бакунин. Работают нынче в библиотеке новые эмигрантки, в частности Татьяна Львовна Гладкова, при чьем участии вышли в Париже замечательные новые библиографические тома — библиография произведений Марины Цветаевой и русской эмигрантской периодики. А по вторникам в тесном помещении на рю Валянс, 11 появляется, как и десять, и двадцать лет назад, Татьяна Алексеевна Осоргина, добирается из своего Сан-Женевьев де Буа, невзирая на уже вполне солидный возраст.

Русские книги и журналы можно, между прочим, найти и в знаменитой парижской Библиотек Насьональ, Национальной библиотеке, в русском отделении, которым заведует дочь философа Николая Лосского Мари Авриль-Лосская, а также в Библиотеке современной документации в Наттерре. Это библиотека — уникальная. После первой мировой войны вдова одного из погибших на войне французских воинов пожертвовала деньги на особую библиотеку, где собирали бы все материалы, которые касаются проблем войны и мира. Жертвовательница надеялась, вероятно, что, познакомившись с ужасами нашего столетия, люди содрогнутся и найдут, наконец, возможность жить в мире. Увы, трудно сказать, может ли это приблизить нас к миру — ведь бессовестные диктаторы не боятся

чужой крови, да и библиотеки им посещать некогда. И все же прекрасное это учреждение, библиотека — улей, куда за века снесло человечество мед мудрости и яд заблуждений. Шелестят страницы старинных книг, отступает сегодняшняя суета... И, право, какая-то даже родится надежда... Может, на бессмертие?..

Как писал когда-то регулярный посетитель парижской Тургеневской библиотеки Михаил Осоргин к шестидесятилетию этой библиотеки:

«Так было, так будет... Герман Александрович Лопатин совсем молоденьким проник через фильтр Виардо в кабинет Ивана Сергеевича. А я помню Германа Александровича чудесным веселым стариком на Итальянской Ривьере, и уже хилым, развалившимся — в Петербурге. Тому назад лет двадцать семь встречал в Тургеневской библиотеке бойких юношей — они сейчас уже злобные старички. А того молодого, который вчера брал книжки, другие увидят там же, лысым и ветхим, но все еще не потерявшим надежды. И опять придут новые, молоденькие, пока будет живо монументальное — детище Тургенева».

ХОЛМ НА ПАРИЖСКОЙ ОКРАИНЕ

(Сергиевское подворье)

Помню, как лет пятнадцать тому назад, впервые приехав в Париж, я отправился на рю Кримае, то бишь на Крымскую улицу, чтоб увидеть знаменитое Сергиевское подворье, то самое, где Богословский институт, и церковь, и замечательный хор. Это на севере Парижа, близ холма с прекрасным парком — Бют де Шомон. Да и сама русская церковь тоже стоит на небольшом холме в этом удаленном от центра уголке X округа. Пришел я туда, помнится, днем, службы не было, так что я осмотрел церковь, поговорил с каким-то русским человеком, ведавшим свечным производством, и собрался уже уходить, когда подошел ко мне красивый студент в черном одеянии, представился как Николай Цернокрак и сказал, что они хотели бы меня пригласить на обед к себе в трапезную, так как слыша-

ли, что приехал человек на несколько дней из Москвы. Во время этого обеда я все время думал, в какое необычное и памятное для русской истории место довелось мне попасть в первом же моем заграничном странствии, и вспоминал при этом удивительную историю подворья.

В середине прошлого века забрел как-то на эту окраину Парижа лютеранский немец-пастор, который и услышал здесь голос, сказавший ему, что Господь избрал этот холм, чтобы стоял на нем Дом Божий. В то время это была далекая окраина с несколькими кирпичными заводиками, на которых трудились немецкие рабочие. И вот пастор постарался уж место это купить у кирпичников и устроить там лютеранскую миссию. После первой мировой войны усадьба была у немцев отобрана, и назначены были торги на 18 июля 1924 года. Напомню, что это день Преподобного Сергия Радонежского и что с этого дня начинается новая история Сергиевского подворья.

Париж к тому времени пополнился русскими изгнанниками, которые после всех бедствий и уроков судьбы обратились к религии, и немногих православных церквей Парижа стало не хватать — служили в бараках, в гаражах, на квартирах, где только удавалось достать помещение, а кафедральный собор на рю Дарю давно не вмещал молящихся. И еще одна новая проблема — не хватало православных священников, нигде их больше не готовили. Все эти трудности легли на плечи владыки Евлогия, которого перед самым своим арестом в Москве патриарх Тихон назначил митрополитом, главой всех православных церквей в Западной Европе. Митрополит знал, что непременно нужно открыть в Париже новый приход, а для этой цели усадьба на рю Крима была местом идеальным. На торгах усадьба досталась посланному митрополитом человеку, и даже денег удалось собрать на задаток, но уже к ноябрю надо было внести 270 тысяч франков, и у владыки от этих новых хлопот и неприятностей начались сердечные припадки.

Однако все устроилось наилучшим образом, потому что русская эмиграция, и даже не только православная, восприняла эту покупку как свое кровное дело. Сыпались пожертвования, присылали свои гроши бедняки и свои тысячи люди побогаче, а знаменитый петербургский богач Нобель пожертвовал аж 40 000. И все же еще много не хватало до четверти миллиона,

времени на сборы почти не осталось, но в последнюю минуту пришла неожиданная помощь, о которой сам владыка Евлогий рассказывает так: «В эти тревожные дни пришел ко мне один приятель и говорит: «Вот вы, владыка, так мучаетесь, а я видел на днях еврея-благотворителя Моисея Акимовича Гинзбурга, он прослышал, что вам деньги нужны. Что же, говорит, митрополит не обращается ко мне. Я бы ему помог. Или он еврейскими деньгами брезгует?» Не долго думая, я надел клобук — и поехал к М. А. Гинзбургу. Я знал, что он человек широкого, доброго сердца и искренне любит Россию. На мою просьбу он дал нам ссуду... без процентов и бессрочно... «Я верю вам на слово. Когда сможете, тогда и выплатите»,— сказал он. Благодаря этой денежной поддержке купчая была подписана...»

Приобретенное в день Преподобного Сергия Радонежского подворье было названо Сергиевским.

Церковь на подворье была расписана самим Стеллецким; богатые и бедные прихожане, шоферы, работяги с Рено, балерины и великие княгини несли туда чудом уцелевшие, привезенные из России иконы. А в первый же год открылся на подворье Богословский институт — единственное в своем роде учебное заведение эмиграции. Нет, конечно, помещение там было обыкновенное, да и студенты, пожалуй, тоже, а вот преподаватели... В 1922 году советское правительство, точно заботясь об оскудении страны и укреплении эмигрантской мысли, по личной инициативе Ленина выслало из России мощную когорту философов и богословов.

Многие из них стали преподавать постоянно на Сергиевском подворье, иные читали там время от времени лекции. Митрополит Евлогий с гордостью перечисляет в своих воспоминаниях преподавателей института, первым называя Карташева, бывшего доцента Петербургской Духовной академии по кафедре русской церковной истории, которую тот (и любопытно, что митрополит считает нужным упомянуть об этом) вынужден был покинуть из-за своего либерализма. «Когда разразилась февральская революция,— пишет митрополит,— Карташев вошел в состав Временного правительства и занял пост Министра исповеданий. Выдающийся, редкий талант, богословски глубоко образованный человек, ученый, в котором есть „школа“».

По поводу отца Сергия Булгакова митрополит

пишет, что у него нет «школы», нет фундамента, который закладывался русскими духовными академиями, на него повлияла мирская философия от Платона и Плотина до Владимира Соловьева, тем не менее митрополит вторым называет отца Сергия, занявшего в Институте кафедру догматического богословия, и подробно рассказывает в своей книге, как выстрадал отец Сергей Булгаков православие, начав с марксизма и придя к идеализму, к христианству, к православию и, наконец, к священству, не без влияния своего друга отца Павла Флоренского; как он «отдался служению Церкви Божией со всем пламенем очищенной страданием души, как сделался ревностным пастырем-молитвенником, прекрасным проповедником и духовником, священником, с трепетным благоговением совершающим таинство святой евхаристии... На всех богословских трудах отца Сергия лежит печать большого таланта...» Митрополит упоминает, что ставят в упрек отцу Сергию Булгакову его смелость, его софиологию, его критику некоторых положений святых отцов Церкви, но ни словом не обмолвился владыка о том, сколько сам он перестрадал из-за этой булгаковской софиологии, сколько упреков сыпалось на него из югославской черносотенной эмигрантской глуши, от карловацкого синода — и за Институт, и за ИМКУ, и за учение о Софии, и за экуменизм, и за терпимость.

Дальше упоминает митрополит отца Георгия Флоровского, который вел курс патрологии, философа Зеньковского, Георгия Федотова, даровитого ученого, читавшего в институте историю западных исповеданий и агиологию, автора замечательной книги (непреренно прочтите, если достанете) «Святые Древней Руси». Нравственное богословие преподавал в Институте Вышеславцев, литургию и философию — Ильин, древние языки — Ковалевский и Сове, даже учитель французского был человек удивительный, ищущий, глубоко верующий — иеромонах Лев Жилле. Преподавали здесь и такие знатоки литературы, как Вейдле и Мочульский — на пять европейских университетов хватило бы научных сил, да они, на счастье Богословского института, не спешили обзавестись русскими светилами для преподавания русских предметов, эти провинциальные европейские университеты, выдвигая охотнее своих аспирантов.

Все перечисленные профессора-богословы, были люди глубокой эрудиции, владевшие пером. Каждый из них написал немало богословских, философских и исторических трудов, внес свой вклад в русскую науку. Кроме названных нами, были ведь еще Лосский, Зандер, Чесноков, Франк, отец Кассиан. Институт издавал свой журнал. Издавал свой журнал — «Путь» — и Бердяев, а «ИМКА-пресс» широко развернула печатание богословской и философской литературы (сегодня все эти книги мало-помалу доходят до советского читателя).

Таким образом, Богословский институт был, по современной терминологии, высокого класса научно-исследовательским институтом, однако он никогда не удалялся от благородной своей цели подготовки пастырей. Они воспитывались здесь в атмосфере духовности, идеализма, монашеской строгости и глубоко человеческих отношений между студентами и любимыми преподавателями. Пролетали годы учебы, и студенты покидали Сергиевское подворье. Вот как писал об этом старый митрополит Евлогий: «Некоторые из воспитанников еще студентами приняли монашество и стали прекрасными монахами-миссионерами, монахами-пастырями, подвигающимися в миру, попадая иногда прямо из Института в какой-нибудь приход в отдаленном захолустном углу нашего эмигрантского рассеяния. Трудная миссия... Куда труднее, чем наша когда-то... Монахи нашего Института нередко вынуждены начинать свое служение среди прихожан, на которых беды и скорби эмигрантского существования оставили тяжкий след: распущенность, пьянство, внебрачное сожитие и другие виды морального разложения нередко характеризуют быт и нравы приходской среды. Одинок несут свой подвиг наши монахи. Спасает их возраст (в большинстве не моложе 35 лет) и глубокая, горячая преданность родной Церкви. Они лучшие представители духовенства в моей епархии. Мое утешение... Некоторые студенты по окончании курса приняли священный сан без монашества. Живется в приходах трудно. Иногда оклад жалованья нищенский. Бывают дни — приходится голодать — разве кто-нибудь из прихожан покормит. Иногда священник вынужден искать заработка на пропитание на стороне: 4—5 дней работает на фабрике, а в субботу и в воскресенье исполняет

свои священнослужительские обязанности... Немало нашему Институту вредят Карловцы, стараясь подорвать к нам доверие...»

В ту пору как я, оказавшись в первый раз за границей, забрел на Сергиевское подворье, русских студентов там больше не было. Обучение шло по-русски, но студенты были сербы, греки, киприоты. Николай Цернокрак был из Югославии... Были также студенты из Австралии, из Англии, из Румынии.

А не так давно я снова побывал на подворье — пошел к обедне, хор там до сих пор замечательный: еще ведь и в межвоенные годы в эмиграции серьезно занимались старой духовной музыкой.

По древнему холму близ церкви разгуливала молодая русская мамаша с колясочкой и ребеночком. Мы разговорились. Она сказала, что муж ее сейчас служит. «Не Николай ли его случайно зовут? — спросил я наугад. «Да,— сказала она,— Отец Николай. Он серб. А вы что, разве его знаете?»

СРЕДИ ПРИЗРАЧНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ...

(Русская эмиграция и левые интеллектуалы
Запада)

Раскрыв вышедшую не так давно на двух языках в Москве и в Париже книгу «50/50. Опыт словаря нового мышления», я наткнулся на любопытную фразу одного из ее составителей и редакторов, известного историка Марка Ферро. Говоря в предисловии о необходимости привлечь к совместному советско-французскому обсуждению основных вопросов современности более надежные, то есть левые, научные силы, Ферро пишет, обращаясь к Юрию Афанасьеву: «Во Франции наши «внутренние изгнанники» (бывшие члены ФКП, ставшие ярыми антисоветчиками) объединились с вашей эмиграцией, образовав нечто вроде блока «просветителей», которые прекрасно осведомлены и продолжают рисовать апокалиптический образ Советского Союза. В значительной степени этот образ отражает действительность...» То есть, заметьте: хотя

образ этот «в значительной степени отражает действительность», он все же не годится, этот образ, потому что эмигранты смыкаются с «внутренними изгнанниками», которые суть ярые антисоветчики (термин, прямо скажем, весьма сомнительный), ибо «изгнанники» эти попросту говорили двадцать лет назад то, что сегодня говорят все. А что это за «ваша эмиграция»? Это наши диссиденты-правозащитники, чья вина лишь в том, что они тоже — десять и двадцать лет назад — говорили то, что пишут сегодня все советские газеты. Это известные русские писатели — Максимов, Аксенов, Некрасов, Войнович, Владимов, которых охотно печатают сегодня в Москве. Огромными тиражами. Но одно дело в Москве, а тут, в Париже, они, как видите, все еще на подозрении... Весь ход этих рассуждений привел мне на память историю взаимоотношений интеллектуальной элиты Первой русской эмиграции с передовой, так сказать, интеллигенцией западных стран, в которых волею судьбы оказались русские изгнанники.

Начать хотелось бы с ощущения человека, не по своей вине попавшего на жительство в чужую страну — в качестве эмигранта, а не в качестве богатого путешественника, заезжего дельца или корреспондента. Причем возьму я для примера не тот случай крайнего отчаяния, когда растерянный безъязыкий человек оказался в непонятном ему мире. Я возьму в качестве примера тех, кто еще до революции не раз бывал на Западе, кто лихо говорил на европейских языках, кто хранил трогательные воспоминания о Париже и Биарицце, о Риме, Берлине и Баден-Бадене. Оказалось, что эмигрантское восприятие заграницы с теми прекрасными воспоминаниями ничего общего не имеет. Достаточно прочесть письма Цветаевой, неплохо говорившей и писавшей по-французски, чтоб изумиться трудности и даже невозможности ее контактов с французами. Еще поразительнее случай Владимира Набокова-Сирина. Этот юный англоман и англофил попадает в первые годы эмиграции учиться в легендарный Кембридж. Здесь, как некогда дома, в усадьбе, повсеместно звучит английская речь, здесь все овеяно туманами английской истории. И что же происходит с нашим юным англоманом? Что и со всеми русскими. Его начинает нестерпимо мучать чувство любви к России. «Под бременем этой любви,—

вспоминает он,— я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств... И мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку».

Ну а что новая среда, люди, окружающие эмигранта, не просто прохожие, а скажем, сверстники, педагоги, интеллектуалы Запада?.. Оглядываясь на годы европейской эмиграции, Набоков видит себя и других русских людей живущими «среди не играющих никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были, как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой».

Ну, хорошо — контакты с обывателем могли и не сложиться, но ведь были и западные интеллигенты, которых происходящее в России так остро интересовало в ту пору. И вот тут, даже если сделать скидку на ностальгическую нервозность русского эмигранта, на его мессианическую гордыню, на чуждость европейскому быту, все равно остается проблема, которая представляется мне любопытной,— специфическое отношение западной прогрессивной, как говорится, интеллигенции к русскому интеллигенту-эмигранту. Если интеллигенция Запада с интересом, с надеждой и с сочувствием следила в то время за развитием революции в России, то те, кто уехал, бежал от революции или был выслан из России,— это все были для нее враги революции, враги всего нового, махровые реакционеры. Во Франции до сих пор Первую эмиграцию называют «белой». «Рюс блянш? — спрашивают тебя.— Белый русский?» И это должно означать, что ты из Первой эмиграции или ее потомок. Хотя, как нам известно, далеко не все эмигранты имели отношение к Белой армии, а иные были и вовсе социал-демократы, боевые социал-революционеры или выступавшие против царского режима, конституционные демократы... На это тоже много раз с горечью жаловался Владимир Набоков-Сирин, приписывая такое предубеждение успешной деятельности советской пропаганды. Но, вероятно, дело было не только в пропаганде. Для

многих французов, например, слово «революция» до сих пор овеяно ореолом славы, да и эмигранты у них некогда были свои, бежавшие в ту же Россию от французской революции, то есть аристократы, то есть реакционеры, оскорбленные потерей состояния, обиженные на справедливую революцию. Эту роковую слепоту западной интеллигенции, эту оскорбительную и неразборчивую подозрительность Набоков-писатель высмеивал в романах, в предисловии к их переводам, в письмах. Откроем роман «Пнин», где описывается типичное парижское чаепитие на квартире «знаменитого эмигранта, социал-революционера» (речь идет, конечно, о сборищах у Фондаминского), одна из тех домашних вечеринок, где «старомодные террористы, героические монахини, талантливые гедонисты, либералы, отчаянные молодые поэты, престарелые романисты и художники, публицисты и публикаторы, философы-вольнодумцы и ученые составляли нечто вроде специфического ордена, активное и значительное ядро эмигрантского общества, которое на протяжении добрых тридцати лет своего процветания оставалось практически неизвестным американским интеллектуалам, для которых в понятие о русской эмиграции — в результате стараний хитрой коммунистической пропаганды — входила некая туманная надуманная масса так называемых троцкистов (кто бы они ни были), разоренных реакционеров, раскаявшихся или переодетых чекистов, дам в шляпках, профессиональных попов, кабатчиков, а также членов военных группировок — ни вместе, ни по отдельности никакой культурной ценности не представляющих». Кэмбриджский профессор Набокова, судя по воспоминаниям писателя, «всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста», «преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов».

Позднее, в предисловии к английскому изданию «Подвига», Набоков снова пишет об этой склонности западных интеллектуалов игнорировать «присутствие, и притом весьма мощное, либеральной мысли в кругах русской эмиграции». «„Так вы тогда троцкист что ли?“ — предположил с сияющим видом один из особенно тупоголовых левых писателей, когда я ему сказал в 1940 году в Нью-Йорке, что я ни за царя ни за советы».

Возможно, речь идет здесь о споре Набокова с его

другом (именно в тот год начались и их дружба, и их нескончаемый спор) Эдмундом Уилсоном: спор о большевиках, о Ленине (глава с Лениным была, кстати, предусмотрительно выброшена из первого московского издания «Других берегов» Набокова), о ГУЛАГе, о свободах в России и сокрушительном прогрессе пятилеток. Набоков энергично отвергает предположения Уилсона о том, что претензии русских либералов к большевикам объясняются их озлоблением из-за потери поместий и домов. Набоков издевается над представлением о расцвете художественного авангарда в после-революционные годы — ибо представление это навеяно лишь недолгим сотрудничеством дореволюционных футуристов с партией. Набоков прослеживает в письмах Уилсону эволюцию западных интеллектуалов, которые, разочаровываясь в Сталине, пытались для сохранения собственного самочувствия и оптимистических надежд не затемнить сияние вокруг головы Ленина. Стоны с Соловков не достигали западных радикалов, и только падение большевистской верхушки впервые заставило их задуматься. «При русских царях (несмотря на их неумелое и варварское управление Россией), — объясняет Набоков Уилсону, — у свободолюбивого русского было несравнимо больше возможностей для самовыражения, чем было когда-либо при режиме Ленина и Сталина. Человек был защищен законом. В России были смелые и независимые судьи. Русский суд после александровских реформ был великолепным институтом, и не только на бумаге... Общественное мнение было всегда и либеральным и прогрессивным». Споры о прежней и новой свободе печати, споры о добром прищуре Ленинских глаз, споры о либералах, о Думе — все эти споры кончились разрывом между друзьями-писателями. Во Франции, впрочем, дружба между эмигрантскими интеллигентами и здешними интеллектуалами даже не заходила так далеко... Эмигрантам оставалось общаться со своими.

Еще презрительней отнеслась левая западная интеллигенция (а вся интеллигенция была в ту пору левой) ко второй, послевоенной, по большей части крестьянско-солдатской русско-украинской эмиграции. Эти несчастные люди, прошедшие ад коллективизации, ГУЛАГ, плен, были сходу объявлены фашистскими прихвостнями, людьми из обоза Гитлера. Демонстрацией этой слепоты и глухоты, доходившей зачас-

тую до бесчеловечности, явился процесс Кравченко в 1949 году, когда писатель Вюрмсер и его соратники-коммунисты позволяли себе потешаться над леденящими душу рассказами бывших узников ГУЛАГа.

Новой, третьей русской волне эмиграции пришлось полегче, однако левые всех оттенков (все, кроме тех, кого Марк Ферро называет «внутренними изгнанниками») сторонились и этих критиков «реального социализма», даже самых умеренных из них, даже неисправимых социалистов. И вот перед нами так называемое «новое мышление» Марка Ферро: да, признает он на восьмом десятке существования советского социализма, конечно, они говорили правду, эти эмигранты, но разве можно полагаться на мнение изгнанников, будь они «внутренние изгнанники» или внешние?

ПОТЕРИ «НЕГАТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ»

(Семья Лосских)

В конце пятидесятых годов московские журналисты очень любили обращаться к Индексу ЮНЕСКО, говоря о размахе книгоиздательского дела в СССР: тиражи переводных изданий, да и прочие тиражи были и правда в СССР весьма внушительными. И вот, заглянув однажды в этот индекс, я, помнится, с удивлением обнаружил прочерк в графе «книги по философии». То есть книг по философии не издавалось в тот год вовсе. Удивление мое было искренним, тем более, что в любом учебном заведении был тогда да и теперь есть, вероятно, курс марксистско-ленинской философии. Но теперь-то мы все уже понимаем, что курс мог быть, а книги философов не издавались, да и в самом тогдашнем курсе философии было так мало философского, что для выпускников тогдашних вузов чтение книг по философии до сих пор представляется крайне затруднительным.

Куда ж девались философы и философия из тогдашней России? Немногие философы еще были живы, но молчали. Иные вымерли — сами или благодаря государственным заботам. А другие —

довольно внушительная группа философов — были высланы за границу, в 1922 году. Времена были еще почти «либеральные», так что им был предложен выбор: расстрел или высылка, а по более точной формулировке, авторство которой принадлежит Ленину, — «расстрел с заменой его заграничной ссылкой». Мне не раз доводилось встречаться в Париже с Борисом Николаевичем Лосским, который был одним из самых юных пассажиров парохода «Пруссия», увозившего в ссылку петроградских ученых. Среди них был и его отец, известный философ Николай Онуфриевич Лосский. Самому Борису Николаевичу было тогда семнадцать лет, и он помнит не так уж много. Помнит, как ученицы гимназии, где директрисой была его бабушка Мария Николаевна Стоюнина, пришли проводить ее на петроградскую пристань. Как он беседовал на палубе со своими сверстниками, дочерьми философа Карсавина. Как они играли в шахматы. Уплывал навсегда из России «корабль философов», представляющих среди высылаемой группы интеллигенции довольно влиятельную группу — на этом и на другом еще пароходе были Бердяев, Булгаков, Франк, Карсавин, Ильин... Кроме философов, были там еще ученые — кооператоры, экономисты, богословы, литераторы, общественные деятели. Люди эти были обречены на скитания, ностальгию, бездомность, но авторы тоталитарного проекта высылки ученых достигли своей цели — единообразия идеологического пейзажа на многие десятилетия. Нынешние советские авторы отдают себе в этом отчет. Один из них так пишет, например, в «Литературной газете» о «невосполнимой утрате для отечественной культуры»: «С высылкой кончилась философия в России; и то, что с тех пор у нас называлось этим именем, в действительности лишь одна из служб тоталитарной машины». Определенней не скажешь.

Ну, а что было с высланными?

Борис Николаевич Лосский вспоминает, как они добрались до Берлина. Как потом Петр Бернгардович Струве написал им письмо и пригласил в Прагу, где президент Томаш Масарик, сам когда-то бывший в России студентом, и другие деятели демократической Чехословакии организовали Русскую Акцию, учредив целую систему русских учебных заведений, стипендий и субсидий для русских эмигрантов. Николай Онуфри-

евич Лосский как философ и его теща, Мария Николаевна Стоюнина, как деятель русского просвещения получили пенсии от Чехословакии.

Лосский начал преподавать в Праге, потом — в Париже и продолжил работу над своей гносеологической теорией о мире как едином целом. Этот богослов и философ пережил в юности немало приключений. Борис Николаевич Лосский рассказывал мне, что отец его был исключен с волчьим билетом из гимназии за ... атеизм. Юный Лосский стал тогда ремесленником, но учиться все же очень хотелось, и он нелегально перешел австрийскую границу, слушал лекции в Вене, потом перебрался в Швейцарский университет. Отец Николая Лосского, лесничий, умер к тому времени, оставив восемь детей, так что бедная его матушка не могла посылать много любознательному сыну, приходилось ему голодать в сытой Швейцарии. Кто-то рассказал ему, что в Алжире жизнь дешевле и учеба дешевле, и Николай добирается в Алжир, чтобы сразу там убедиться, что жизнь там дорогая, да и учеба тоже. И вот в трактире, где он с отчаянья обедал на последние деньги, подсели к нему какие-то два человека и стали уговаривать поступить в Иностраннный легион — там, мол, деньги заработаешь и учиться сможешь. Налили ему стакан вина, второй, и оказался он со своей котомкой, в которой была «Физика» Краевича, в Сиди-Бель-Абес, где понял, что ни денег не заработает, ни учебы никакой не будет — надо бежать. Он прикинулся сумасшедшим, и французские врачи пошли ему навстречу — поместили к настоящим психам, а потом выпустили и даже денег дали на дорогу. Добрался он до Марселя, до Вены, снова нелегально, перешел австрийскую границу, в России повидался с матерью, а потом, уже в Петербурге, отыскал родственника, который пошел с ним к министру Делянову. Министр взял с него обещание, что он не будет попусту заниматься атеизмом, а будет сперва учиться.

Уже кончая — и весьма успешно — естественный факультет университета, понял Николай Лосский, что еще больше, чем сама природа, интересуется его, что там, за ней стоит, за всем этим. И вот, получив свой первый университетский диплом, он с благословения философа Владимира Соловьева, поступает на историко-филологический факультет. Пришлось подрабатывать — давал уроки латыни в гимназии Стоюниной,

памятной многим петербургским барышням (в частности, сестрам Набоковым). Там он и познакомился с Людмилой, дочкой директрисы, а потом женился на ней. Стоюнинский род шел от костромского мужика по прозвищу Стоюн, но уже дед Людмилы был выходец из купцов, профессор, историк литературы. Молодой философ Лосский продолжал учебу в Страсбурге и Марбурге, а в Геттингене у него родился первый сын. Уже к началу первой русской революции был он приват-доцентом в Петербурге и принялся за обоснование своей главной темы — интуитивизма. С 1905 года он состоял в единственной за историю России либеральной партии — Партии народной свободы, в кадетской партии, которая мечтала о правовом государстве, о демократических свободах для всех народов России. Перу Лосского принадлежал программный документ «Чего хочет Партия народной свободы?»

А дальше — революция, потом октябрьский переворот, крушение государственного аппарата, ужас анархии, и вот — насильственная высылка.

В Чехословакии и позднее во Франции Лосский развивает учение об интуиции, которое до него сильно продвинул вперед француз Бергсон. Основой метафизической интуиции Лосского было убеждение в единстве мира. По Лосскому, Бог вложил в душу каждого деятеля «нормативную индивидуальную идею», следуя которой он может подниматься все выше по лестнице развития, достигая совершенства. Высшие субстанциальные деятели, освободившиеся от эгоизма или хотя бы добившиеся того, что объединяющие силы любви преобладают в них над эгоизмом, — они и образуют Царство Духа. Хотя это еще не Абсолютное Царство, члены его причастны к Царству Божиему. Зло же коренится не столько в слабости человеческой природы, сколько в злой воле, направленной на разрушение. Злая воля коренится в крайнем самоутверждении, которое может принимать разрушительные формы. Лосский говорит об абсолютной нравственной ответственности человека не только за его помыслы и деяния, но и за их объективные последствия. Советская философская энциклопедия писала, что главный критерий нравственности для Лосского — это с Богом ты или против Бога. Все так... В истории русской философии Лосский отмечал как основную черту ее этический

характер, но по существу исключал из нее, как с грустью констатирует та же энциклопедия, материализм.

Подводя итоги деятельности Лосского, известный богослов Карташев, один из руководителей «ИМКИ-пресс» и Богословского института, писал, что «Николай Онуфриевич Лосский, с медленной постепенностью развертывавший в течение ряда десятилетий свою оригинальную гносеологию, шедшую навстречу догматической метафизике христианства, здесь, наконец, сформулировал долгожданную апологетами Церкви третью аксиологическую часть своей христианской философской системы».

Говоря об утратах, которые понесла русская интеллигенция в результате революции и антиинтеллигентских, ненавистнических акций новой власти (советский автор Хоружий считает их образцом «негативной селекции», приведшей к нынешней угрожающей деградации общества и человека в России) — говоря об этом, нельзя не упомянуть о целых научных родах и семьях, которые Россия отдала Америке и Европе — таких, как семьи Оболенских, Струве, Ковалевских. Среди них, конечно, и обширная семья Лосских. Начнем с сыновей философа. Старший — Владимир — стал православным богословом, преподавал латинскую патрологию на Сергиевском подворье. Как и многие в эмиграции, он был сторонником абсолютного православия. Его стараниями открыт в Париже на улице Горы Святой Геновефы, то бишь на рю Монтань Сан-Женевьев первый франкоязычный православный приход, и число иноверцев, которые обращаются к православию, растет и сегодня. Жена Владимира, урожденная Шапиро, была такая же, как и он, убежденная православная церковница и энтузиастка. Сын философа Андрей стал профессором истории, специалистом по русскому XVII веку. Мой парижский собеседник Борис Николаевич Лосский, другой сын философа, — историк искусства, искусствовед, учился в Праге и Париже, семнадцать лет был хранителем музея в Туре, хранителем дворца-музея в Фонтенебло, был на войне и в плену, а сегодня, на девятом десятке лет, охотно приезжает в Париж из своего Мелэна, побеседовать и повидаться, пишет мемуары. Не забудем внуков философа. Николай Владимирович — филолог, англист, но и богослов тоже, и руководитель хора в церкви на Сан-Виктор. А жена его Вероника

Лосская известна всякому, кого интересуют жизнь и творчество Марины Цветаевой. Она профессор, преподает в университете Гран-Палэ, там же, где Андрей Синявский. Мария Владимировна преподает в университете в Нантерре, специалистка по русской литературе, по Толстому, известна ее работа о женских образах Толстого. Муж ее Жан-Поль Семон тоже профессор русской литературы. Как, впрочем, и муж Екатерины Владимировны, Сергей Асланов, который является генеральным секретарем Института славянских студий в Париже. В том же институте трудится и внучка философа Елена Борисовна, дочь Бориса Николаевича Лосского. Что до второй его дочери, Марии Борисовны, в замужестве мадам Авриль, то с ней мне приходится встречаться нередко — она в знаменитой Библиотэк Насьональ заведует отделом славянских публикаций. Из Андреевичей — Алексей специалист по электронике, а Мария, его дочь, преподает в Бостоне. Правнуки философа тоже проявляют немалые способности к языкам, филологии и богословию. Андрей Николаевич, внук Владимира, человек блестящий, переводит богословскую литературу в Библейском обществе в Лозанне. Что касается правнука философа, Кирилла Сергеевича, то он довел религиозный энтузиазм прадеда и крещенной в православие бабушки до того, что обратился в иудаизм. Что ж, на то они и Лосские, чтоб искать свои, нехоженые пути в жизни. Прадед-то его, Николай Онуфриевич, тоже многое на своем веку испробовал, потом много понаписал, а умер сравнительно недавно в Париже на 95-м году удивительной творческой жизни.

ВЕЧЕР НА УЛИЦЕ ЖАКА ОФФЕНБАХА

(К. Симонов в гостях у И. Бунина)

В конце апреля 1945 года Иван Алексеевич Бунин и Вера Николаевна Бунина вернулись в Париж после долгого отсутствия. Всю войну они прожили в Грасе, в Приморских Альпах, неподалеку от Канн и Ниццы. Теперь они снова водворились в своей квартире на

улице Жака Оффенбаха в XVI округе Парижа, где жили в ту пору еще многие русские.

Война закончилась через неделю, но эмигрантский Париж больше никогда уже не стал таким, как до войны. Многие русские, гонимые войной, уехали в Америку и не вернулись, иные погибли. Сгорели в печах крематория друг Бунина Илья Бунаков-Фондаминский, мать Мария.

Распалось самое активное ядро эмигрантского сообщества, канули в Лету лучшие эмигрантские издания — и «Современные записки», и милюковские «Последние новости». Оставшихся в живых расколола еще одна эмигрантская распря. До войны «большевизанствующие», вроде Святополка-Мирского, Сувчинского или Эфрона, составляли ничтожное меньшинство, теперь движение просоветских «патриотов» стало очень сильным — советскими патриотами стали перед смертью и сам митрополит Евлогий, и Милуков, в совершенно пораженческом письме признавший правомерность всех сталинских злодеяний, поскольку раскрылась их «великая цель». Просоветским стал бывший посол Маклаков и многие другие. Объяснить эти настроения нетрудно. Гитлер уже почти поставил мир на колени, а новая Россия мир спасла. Всю войну испытывая на себе гонения нацистского режима, а зачастую и участвуя в Соппротивлении (само слово «Соппротивление» ввел русский поэт), русские были сердцем со своей сражающейся родиной. Бунин и сам, удивляясь себе, сочувственно следил за русскими победами. И вот Россия победила Гитлера, освободила Европу, еще раз доказала миру, что такое Россия. Она диктовала миру свои условия, она была сильна, и для большинства в эмиграции это обаяние силы оказалось неодолимым. Гитлер был палачом и тираном, Сталин боролся против Гитлера и как-то забылось, что Сталин такой же тиран. Еще в декабре 1944 года Бунин с удивлением записал в дневнике: «Русские все стали вдруг красней красного. У одних страх. У других холопство, у третьих — стадность. „Горе рака красит!“».

Вернувшись в мае в Париж, Бунин отмечает не только засилие красного цвета, но и популярность слова «советский», которое сам Бунин ставил в кавычки, настаивая на демагогическом характере этого слова, которое ничего не выражает. В кавычки он ставил

и слово «патриоты», а также сочетание, которое казалось ему уж вовсе абсурдным — «советское отечество». В январе 1945-го он записал в дневнике: «„Патриоты“. «Патриоты советского отечества»... (Необыкновенно глупо: „Советское отечество“! Уж не говоря о том, что никто там ни с кем не советуется)».

Еще до войны и в войну Бунин не раз высказывался о Сталине и Ленине, которых неизменно ставил в один ряд с Гитлером и Муссолини, возмущался рабским духом и славословиями тирану. Вот его запись в дневнике за 1941 год: «Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» живет в каком-то «чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей»... Ехать в такую подлуню, изолгавшуюся страну!» Надо отдать должное Ивану Алексеевичу Бунину — за тысячи километров от России, в Приморских Альпах, он безошибочно учуял то, о чем не догадывались многие из нас, живших среди этой лжи: и этот «чудный уголок», и этот «народный певец», и все его холуйские песни были придуманы тут же в столице небескорыстными, испуганными полуинтеллигентами.

Между прочим, именно к этой поре вышедшая недавно в Москве книга некоего В. Лаврова об эмигрантских годах Бунина относит пик «влюбленности» Бунина в Сталина, и надо отметить, что среди русских читателей, мало знакомых с Первой русской эмиграцией и с истинной биографией Бунина, книга эта пользовалась успехом. В ней, конечно, нет ни одного из приведенных нами выше высказываний Бунина. Лавров сам говорит за своего малограмотного Бунина, представляющего как этакая помесь бравого полковника с дедом Шукарем: хотя это «роман-хроника», Лавров без зазрения совести сам придумывает для Бунина корявые монологи.

Но вернемся к истинному Бунину. В феврале 1945 года не только французская компартия, но и так называемая белая эмиграция под звуки красноармейского ансамбля праздновала 23 февраля. Семидесятипятилетний Бунин и здесь идет против потока, 23 февраля он записывает в дневник:

«Какая-то годовщина «Красной армии», празднества в России и во Франции... Все сошли с ума (русские, тут) именно от побед этой армии, от ее «любви к родине, к жертвенности». Это все-таки еще не причина.

Если так рассуждать, то ведь надо сходиться с ума и от немцев — у них и победы были сказочные чуть не четыре года, и «любви к родине и жертвенности» и было, и есть не меньше. А гунны? А Мамай?»

Между прочим, так же шел против течения и противостоял повальному энтузиазму тех лет другой крупнейший русский писатель эмиграции — Владимир Набоков. Он был в ту пору в Америке, где и массы, и правительство, и сам президент охвачены были союзнической эйфорией — пресса пестрела отретушированными портретами доброго дядюшки Джо, бывший посол Дэвис сочинял книги и сценарии о счастливой колхозной жизни под сенью развесистой клюквы.

Набоков откликнулся на все это стихами:

Каким бы полотном батальным не являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа не наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немного рабства — нет, о, нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.

Бунин тоже был жив духом и не мог примириться с «немым рабством» новой России, хотя в его молодом окружении было немало новых «патриотов», таких, как двусмысленный Роцин, тянувший его за собой. Несмотря на предложение слетать в Москву или переехать туда насовсем, Бунин сохранял твердость. Между тем жизнь его становилась в Париже все тягостней, и вот однажды он не устоял, поехал вместе с другими на прием в советское посольство, где была, конечно, икра, обильное угощение — но не бесплатно, ибо пришлось выслушать большое количество холуйских речей и пить вместе со всеми за здоровье ненавистного Бунину палача-генералиссимуса. Причины этого визита объяснить нетрудно. Нищета Буниных стала унижительной и непереносимой. В Париже больше не было солидных журналов, щедрых издателей и еще более щедрых и богатых меценатов-евреев, истинных фанатиков русской литературы: одни успели уехать в Америку, где Андрей Седых с большим трудом собирал теперь среди них пожертвования для всеми забытого академика Бунина, другие — погибли в нацистских лагерях. Отправляясь на прием к советскому послу Богомолу, Бунин надеялся договориться о гонораре за

свою собственную прозу, которую издали в Советском Союзе. Визит этот стоил Бунину здоровья и неприятностей.

Многие эмигранты осудили его за эту, столь, впрочем, понятную слабость, иные даже отвернулись от него. Поползли слухи, что он взял советский паспорт, что он стал «возвращенцем». Ему пришлось бесконечно долго объясняться, писать письма. Особенно ранили его ссора с Борисом Зайцевым и разрыв со старым другом Марией Самойловной Цетлиной, не простившей ему этой слабости, этой измены принципам. И не менее печально, — что он удостоился за это через полвека похвалы уже упомянутого московского автора В. Лаврова. Защищая Бунина от обвинений Цетлиной, Тэффи написала обеспокоенному всем этим Ивану Алексеевичу: «Понимает ли она, что Вы потеряли, отказавшись ехать? Что швырнули в рожу советчикам? Миллионы, славу, все блага жизни. И площадь была бы названа вашим именем, и статуя. Станция метро, отделанная малахитом, и дача в Крыму, и автомобиль, и слуги. Подумать только! Писатель, академик, Нобелевская премия — бум на весь мир... И все швырнули в рожу. Не знаю другого, способного на такой жест...»

Все эти сведения о дачах и автомобилях, о роскошной жизни избранных советских аристократов-писателей были получены, между прочим, из первых рук, от приезжавшего до войны Алексея Толстого, жившего в Москве при богатейшем особняке Горького, и от побывавшего в Париже в 1946 году Константина Симонова. Обаятельный красавец, потомок Оболенских, влиятельный и обласканный властями писатель, поэт, депутат и богач, Симонов произвел на всех прекрасное впечатление, и он всю оболыщал Бунина. Вере Николаевне Буниной он «понравился своей искренностью, почти детскостью» — для доброй Веры Николаевны это все искупало. Для наблюдательной Ум Эль-Банин простота Симонова мало о нем говорила. «Он имел простоватый вид, — пишет она, — что, впрочем, было обманчивой видимостью. На самом деле он поэт, умеющий видеть и чувствовать, наблюдать и замечать... Своею выправкой этот советский писатель мог соперничать с гвардейским офицером. Но он отличался от этой исчезнувшей когорты лиц небольшим налетом того, что называется «made in USA»... Он был удивите-

льно хорошо воспитан... передо мной церемонно склонился, но руку не поцеловал — сходство с гвардейским офицером так далеко не простиралось».

Вера Николаевна Бунина судит о Симонове довольно серьезно. «Симоновское благополучие меня пугает,— пишет она.— Самое большое станет хорошим беллетристом. Он неверующий... Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности, в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях... Симонов ничем не интересуется, весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает... Это самые сильные защитники режима... Ему нет времени думать о тех, кого гонят. Ему слишком хорошо...»

Бунин был приглашен на вечер Симонова, потом они были вместе в кафе, потом в гостях у Пантелеймонова, где состоялся небезынтесный разговор. По свидетельству Адамовича, Бунин «притворился протачком» и стал задавать Симонову «мало уместные», по мнению «патриота» Адамовича, вопросы: «А вот был у вас такой писатель Бабель, гремел на всю страну. Где он теперь?» — «А еще был Пильняк, а где он?» А Мейерхольд где?» Вопросы, как видите, были вполне уместные. Симонов «сидел бледный, опустив голову», и отвечал «коротко, отрывисто, по-военному»: «Не могу знать». Гвардейцу Симонову было не только неловко, но и страшно. Все отмечали в ту пору «редкий такт» Симонова. Поэтому можно догадаться, что тактичный Симонов понял: эти как бы бестактные вопросы и содержали ответ на его, Симонова, миссию. А миссия была, вероятно, в том, чтобы уговорить Бунина и других вернуться в сталинский рай, в Большую Зону. Для ее прославления.

Эту сцену вы найдете и в упомянутой уже фантастической и бессовестной книге В. Лаврова «Холодная осень». Лавровский Бунин, конечно, лихо произносит здесь тост за полководческий талант Сталина. Ни больше ни меньше.

А 12 августа Симонов со своей красивой, элегантной женой-актрисой пришел в гости в убогую квартирку Бунина в доме № 1 по улице Жака Оффенбаха. Зная, куда он идет, Симонов велел загодя доставить всю закуску и вина из Москвы на самолете — дело, видно, было поставлено серьезно. Вот запись из дневника В. Н. Буниной: «...был у нас московский ужин —

все прислано на авионе по просьбе Симонова. Были у нас и Тэффи с Банин, которая внесла большое оживление».

Эта Банин, которая внесла оживление, была русская азербайджанка, писательница, подруга Тэффи и последняя пассия старого писателя, написавшая довольно любопытную повесть об этом платоническом любовном поединке, последнем в бунинской жизни. Она была моложе Бунина почти на сорок лет, но в тот вечер готова была полюбить его и находила его великолепным. Она оставила весьма забавное описание этого вечера на рю Жак Оффенбах, и мы не откажем себе в удовольствии привести из него отрывок в переводе с французского, который печатался в журнале «Время и Мы». Итак, «стол ломился от закусок и водки. Колбасы, копченая севрюга, свежая осетрина, анчоусы, селедки, кетовая и паюсная икра, маринованные грибы, пирожки с капустой и с мясом, пышная кулебяка...

Социалистическая водка имела приятный вкус, но была не очень крепкой. Симонов уверял, что в ней сорок градусов, но Бунин — тонкий знаток — проверил ее спичкой.

— При царизме,— гудел он,— водка за минуту опрокидывала полк гусар. Неудивительно, что она выдыхается, раз ее производят стахановцы. Этот Стаханов вредный тип, он появился, чтобы мешать людям мирно жить. Вы заменили опиум религии опиумом труда. Вы что думаете, чем больше люди работают, тем они счастливее?

Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел вычитать из нее судьбу русского народа, с укором покачал головой и налил соседям и себе».

Жена Симонова, элегантная актриса, по наблюдению Веры Николаевны, все время говорила, что здесь, во Франции, всё хуже, чем в России, «отрицала, что были аресты перед войной...»

«К моему удивлению,— вспоминает Ум Эль-Банин,— и Бунин и Тэффи, обычно такие суровые в отношении Франции, сейчас защищали ее изо всех сил... Они настойчиво расхваливали климат свободы и терпимости... всячески старались смутить граждан страны, в которой Сталин управлял не только внешней политикой, армией, экономикой, партией, но и литературой, а главное — совестью... водка развязала языки

и склонила всех к крайностям...» Бунин, по восхищенному замечанию мемуаристки, «окончательно распустился».

«„Передайте мне этого буржуазного предрассудка»,— говорил он, показывая на икру.. Симонов вежливо улыбался...»

Ну а потом... «Вечер кончился слишком быстро, как все хорошее в жизни». Лимузин дядюшки Джо повез домой Эль-Банин...

И догорел долгий вечер бунинской жизни. И нет уже ни Тэффи, ни Эль-Банин, ни красавца Симонова. Иногда я прохожу в Москве по Аэропортовской, где на стене доска с благородным профилем Симонова, и пытаюсь что-нибудь вспомнить из любимого поэта моего детства. «Тринадцать лет, кино в Рязани». Что-то еще ведь было... А пробегая близ Ля Мюэт в XVI округе Парижа, вдруг останавливаюсь на улице Жака Оффенбаха возле дома № 1 и вспоминаю про эту нищую и великую русскую эмиграцию. Разве это ушло? Разве такое уйдет?

РУССКИЙ БОГОСЛОВ И ПОГОНЯ ЗА ОРЛАМИ ИМПЕРИИ

(Г. П. Федотов)

В одном из американских романов Набокова описано сборище русских эмигрантов, гостящих на даче у соотечественника. Всякий, кто знаком с историей русской эмиграции в Америке, без труда узнает в этом описании летнюю жизнь на даче Михаила Карповича в Вермонте, узнает и некоторых из героев-эмигрантов. Долее других не мог я распознать обаятельного философа Константина Ивановича Шато, который беседует с героем романа о преподавании и о религии. Конечно, романские персонажи не совершенно идентичны прототипам, к тому же Набоков всегда настаивает, что он великий выдумщик, однако все же что-то знакомое чудилось мне в этом Шато — в его облике, в манере спорить и говорить, в характере... В конце концов, я пришел к выводу, что больше всего в этом Шато от

замечательного человека эмиграции Георгия Петровича Федотова, а заглянув еще раз в биографию Набокова, убедился, что они ведь и впрямь дважды вместе с Федотовым проводили лето у Карповича. Добравшись же до статьи Федотова о набоковском «Гоголе», я услышал и отзвуки беседы из романа. Кто же такой был этот добрый и деликатный философ, чьи черты почудились мне в образе профессора Шато?

Родился Георгий Петрович Федотов в Саратове, в семье управляющего канцелярией губернатора, дослужившегося до дворянского звания, однако из-за физического увечья — из-за горба — не сумевшего все же дослужиться до вице-губернаторства. Умер отец рано, а старший сын — Георгий — на казенный счет окончил гимназию, поступил в Петербурге в технологический институт, увлекся революционным движением, а во время каникул, когда гостил в Саратове у деда, бывшего полицмейстера, был арестован на собрании печатников, после чего и отправился в свою первую ссылку — в Германию. Там он отдался изучению истории, позднее был выслан из Пруссии за посещение нелегальных собраний социал-демократов, учился в Йене, а по возвращении в Петербург поступил на историко-филологический факультет университета и стал учеником известного медиевиста профессора Гревса. Позднее ему пришлось еще раз бежать из России, на сей раз в Италию, по возвращении же довелось отбыть ссылку в Риге, где он, между прочим, блестяще защитил кандидатскую диссертацию. По возвращении в Петербург он становится приват-доцентом университета, работает в Публичной библиотеке, где еще со времен директорства несуетливого «дедушки Крылова» жизнь оставалась достаточно вольная. В это время он сближается с Карташовым и другими свободными богословами и делает первый шаг к христианству.

После октябрьского переворота он с несколькими друзьями создает религиозный кружок, весьма, надо сказать, неортодоксальный по составу, а еще через год — Братство, обетом которого было «Христос и Свобода». У Братства существовали свои собственные молитвы, в которых молящиеся просили сделать их сердца чистыми и освободить их от страха, ибо в страхе неправда... Потом — голод, разруха. Федотов преподает в Саратове, где сближается с Сеземаном

и Франком. Затем переводческая работа в Петербурге. Когда же, в эпоху нэпа приоткрылся железный занавес, Федотов уехал за границу. Некоторые члены Братства осуждали его за решение уехать, однако очень скоро после его отъезда все они были арестованы...

В Париже Федотов был приглашен во вновь открывшийся Богословский институт на Сергиевском подворье. Федотов неохотно пошел в институт, он опасался цензуры, однако благодаря митрополиту Евлогию, уважавшему свободу религиозной мысли, никакой цензуры в Институте не было (за что, между прочим, митрополиту попадало и от местных черносотенцев и от Карловацкой церкви). Наряду с латынью и историей Западной Церкви Федотов начинает вскоре преподавать агиологию, жития святых, и с этими серьезнейшими занятиями (начало которым было положено еще в семинаре Гревса) связаны три его книги, наиболее интересной из которых мне лично показалась книга «Святые Древней Руси». В ней проходит перед читателем галерея русских страсотерпцев, пустынников, святителей, юродивых. Таких, как преподобный Нил Сорский или, скажем, ученик преподобного Сергия Павел Обнорский, «великий любитель безмолвия, именовавший безмолвие матерью всех добродетелей» и являвший собой «образец совершенного отшельника»: он «целые годы жил в дупле дуба, кормил птиц, которые сидели на его голове и плечах».

С 1927 года, с Клермонского съезда, Федотов принимает участие в деятельности Русского студенческого христианского движения. На этом съезде он встретил мать Марию (тогда она еще была Елизавета Юрьевна Скобцова) и Илью Исаевича Фондаминского, ставших его верными друзьями до самой их разлуки в 1940 году. Федотов участвовал в «Православном деле» матери Марии, а с 1931 года выпускал вместе с Фондаминским и Степуном журнал «Новый град». Перед лицом надвигающегося хаоса и безбожия новоградовцы призывали «быть с теми, кто готов бороться, готов странствовать — не в пустыню, а к Новому граду, который должен быть построен нашими руками, из старых камней, но по новым зодческим планам».

Федотов много пишет. Он печатается в «Современных записках», в бердяевском «Пути». Он ведь дружил с Бердяевым и часто бывал у него в Клараме. Печатается он даже в «Новой России» Керенского.

Социалисты мирились с тем, что друг Фондаминского преподает в Богословском институте. Однако и митрополит терпимо относился к тому, что один из преподавателей института печатается у Керенского — и на это хватало широты у митрополита Евлогия. Митрополит заявил даже, что он любил Керенского «за то, что Керенский так любит Россию». Но церковные черносотенцы терпели это недолго, скандал вспыхнул после доклада Федотова «Русско-еврейская дружба». Хотя выводы доклада и были довольно неутешительными для евреев (Федотов говорил о расхождении с евреями у корифеев русской мысли), самое слово «дружба» было в этом контексте для черносотенного «Возрождения» непереносимо. Однако митрополит антисемитов не поощрял и Федотова не упрекнул ни в чем.

Среди многих интереснейших работ, написанных Федотовым в то время, хочется отметить статью «Сталинокрапия». Не столь спорная и на шумевшая, как его «Пассионария» или статья о Мюнхене, «Сталинокрапия» была напечатана в «Современных записках» в 1936 году. Федотов анализирует в ней ленинскую формулу «советская власть плюс электрификация», в которой замечательным ему кажется полное отсутствие социальных и этических моментов, составляющих природу социализма. В Сталине же Федотов отмечает безличность диктатора, который не оказал никаких услуг революции, а к власти пришел при помощи партии. У него жесты, пишет Федотов, скопированы с Николая I, а еще больше он напоминает «правителей эпохи Бирона, палачей из Тайной канцелярии, живущих традицией великого Петра».

За статью «Торопитесь» Федотов был осужден преподавателями института, однако студенты-богословы прислали ему коллективное письмо, прося из института не уходить.

А потом грянула война. Добираясь на велосипеде в Аркашон, где были Бердяев и Фондаминский, Федотов застрял на острове Олерон, где засел за перевод «Псалмов» на русский язык. И все же нужно было решать, что делать дальше. Возвращение в Париж было небезопасным. И тут Американский еврейский рабочий комитет, раньше спасавший социалистов от мести Сталина, а теперь от Гитлера, предложил визы и Федотову, и Фондаминскому, и матери Марии (тоже

бывшей социалистке). Мать Мария и Фондаминский не собирались, однако, никуда уезжать. Они утверждали, что только теперь и начинается их настоящая работа. Жене Федотова, которая настаивала на отъезде, Фондаминский говорил: «Неужели вы не понимаете, что то, о чем мы писали, хотя могло называться демократией и социализмом, но все это делалось во имя Христа, для христианства. Почему же вы не хотите, чтобы Георгий Петрович пострадал за Христа?»

Фондаминский и мать Мария вернулись в Париж, приступили к работе, а потом сгорели в печах крематория. Федотов за восемь месяцев добрался до Америки на злополучном пароходе, долго стоявшем в Африке, где он углублял свое знание греческого, учил португальский и древнееврейский, изучал африканскую культуру. Он записал там однажды в дневник, наблюдая закат над морем: «...это моя мистерия, которая возвращает мне каждый день веру в Бога несомненной, чем ежедневная месса доминиканцев, на которой я присутствую...»

В Америке он не нашел работы в университете, не нашел и прежних друзей. Он стал преподавать в православной семинарии, дружил с Карповичем, издал по-английски две книги — «Русское религиозное сознание» и «Сокровище русской духовности». Читателей здесь было мало, но он по-прежнему писал и статьи. Одна из них, в 1947 году напечатанная в «Новом журнале», называлась «Судьба империи». Она касалась послевоенного распада мировых империй, и значительная ее часть посвящена была русской империи и отношению русской интеллигенции к имперским проблемам. Федотов отмечает, что, возмущаясь методами насильственной руссификации, русская интеллигенция, в сущности, ничего не имела против самой этой цели — ассимиляция воспринималась ею как неизбежное следствие цивилизации. У русской интеллигенции сложилось впечатление, что русское государство строилось не насильем, а мирной экспансией. Это лишь половина правды, говорит Федотов. Другая половина, бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистического взгляда. «Но даже Пушкин обронил жесткое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена. Мы заучили с детства, — пишет Федотов, — о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким

вероломством... Россия отплатила за ее добровольное присоединение». Федотов напоминает о покорении Туркестана и о давлении на Среднюю Азию после революции. Подходя к идее федерации и в принципе принимая ее, Федотов отмечает: «Может быть, если бы федеративный строй осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами. Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию и как многие теперь жалеют о ее гибели...» Федотов напоминает о том, что Австро-Венгрия уже перестраивалась с середины века на федеративный лад, но народы, ее составлявшие, предали ее в годину опасности...

Федотов пишет, что «большевики силой оружия собрали империю и террором, как железным обручем, держат... ее распадающийся состав», «национальные движения... загнаны в подполье, но это значит, что на окраинах скопляются центробежные силы. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения», — пророчит он.

В заключение этой статьи, написанной почти полвека назад, Федотов говорит, что имперское сознание питалось не столько интересами народа, сколько похотью власти, и что «потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик».

Да, конечно, признает Федотов, после десятилетий коммунизма русский человек огрубел, очерствел, не одно поколение понадобится для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой задаче «должна уже сейчас... готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи».

«И ЗАБЫВ О СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ...»

(Русские благотворительные балы)

Что больше всего поражает меня, человека, рожденного в Москве в жесткую межвоенную пору, при знакомстве с жизнью Первой русской эмиграции, так это активность добра, размах взаимной помощи, огромная работа благодетельства, бескорыстного вспоможения, филантропии, благотворительности. Не то чтоб мы не видели доброты в нашей сердечной России или великодушной Средней Азии — видели, конечно, и немало, но именно размаха благотворительной деятельности видеть не пришлось, потому что на государственном и воспитательном уровне все эти добрые понятия у нас были скомпрометированы и охаяны, принижены каким-нибудь гнусным эпитетом, вроде «ханжеский» или «буржуазный»: скажем, «буржуазная филантропия».

Я сказал выше «бескорыстной помощи» в эмиграции и готов отстаивать это утверждение. Могут предположить, что это число добрых дел связано было с возрождением религиозности в эмиграции, что для верующего человека доброе дело является как бы вкладом в недалекое свое будущее, то, которое продлится бесконечно, или до Судного Дня. Но это предположение отпадает при знакомстве с эмигрантской реальностью. Ну о каком вкладе в небесное существование мог думать вчерашний эсер, нынешний неисправимый атеист? Или отчего бы стал приверженец иудейской веры жертвовать на нищего безбожника и наркомана-поэта? Да еще зная при этом, что бедолага-поэт не проявит благодарности, в любом случае посетует на скудость пожертвования, а то и обзовет его при этом за глаза жидом и кровопийцей. Нет, не за благодарностью гнались русские благотворители — все было сложнее. Была не разрушенная еще русская, старая традиция благотворительности. Было поразительно живучее чувство долга перед Россией, перед соотечественниками, перед русской культурой и ее будущим, перед потерянным молодым поколением, перед сиротами злосчастной войны и злосчастной революции, которые безжуморные историки и посегодняя еще зовут Великими.

Их так много было тогда в эмиграции — людей, попавших в беду, что нелегко было решить, кому помогать первому, а главное — где взять всех денег, как их добыть, у кого просить. Да нас дошло множество рассказов обо всем этом, по большей части, конечно, свидетельства тех, кто обладал даром слова, кто оставил рассказ о своей унижительной нищете, а заодно — и рассказ о помощи. В первую очередь, это мемуары и старые письма — истинные вопли о помощи: письма старого Бунина и молодого Набокова, письма Цветаевой, Ремизова, Бальмонта... Но были и другие люди, сотни и тысячи тех, чьи имена забыты, кто заполнял приюты, старческие дома, общежития, получал вспомоществование, бесплатное образование или просто тарелку супа...

Сегодня, когда в России возрождаются дела милосердия, частная филантропия, благотворительность, созданы немалые фонды (управляемые, кстати, по старому бюрократическому принципу, когда чиновный размах аппарата пожирает собранные фондом средства), — любопытно обернуться и взглянуть на эту эмигрантскую столь эффективную самодеятельность добра.

Откуда брались деньги для спасения бедствующих? Прежде всего это были добровольные пожертвования. Иногда они поступали по объявлению, но чаще надо было кому-то идти и просить, собирать — грубо говоря, почти побираться. Всякий знает, какой это малоприятный труд — просить, хотя бы и не для себя. Были в этой русской эмиграции самоотверженные, неистовые, бескорыстные и уже почти профессиональные «просители» и «просительницы» — не для себя, для других. Я вспомнил одну из таких благодетельниц совсем недавно, путешествуя по далекой среднеазиатской республике в роскошной казенной машине председательницы новомодного благотворительного фонда, — годовой оклад ее самой, ее шофера и вальяжных сотрудников этого фонда, как вы догадываетесь, превышал скромные суммы годовых пожертвований. «А что мне, на газике разъезжать, что ли?» — надменно сказала аристократка-благотворительница (кстати, и некстати напоминавшая, что она из бедной крестьянской семьи). Вот тут-то я и вспомнил Веру Николаевну Бунину, настоящую аристократку, племянницу того самого Муромцева, Председателя Государствен-

ной думы. В пору своей то скудной, то полунищей эмигрантской жизни чьими только бедами не занималась эта супруга великого русского писателя!

Один из мемуаристов (редко, кстати, проявляющий в мемуарах чувство благодарности к кому бы то ни было), которому Вера Николаевна собрала деньги на печатание его студенческого диплома (речь идет о В. Яновском), вспоминал: «Для Бала молодых писателей и поэтов или для наших... вечеров Бунина неумоимо собирала пожертвования, продавала билеты, кланялась, с достоинством благодарила... Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета даренные рижские шпроты и польскую колбасу. Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста, да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту...»

Сохранились многочисленные письма Цветаевой к Вере Николаевна с вечной мольбой: «Вера, помогите!»

Любопытно, что Яновский столь же кокетливо недоумевает, зачем было Вере Николаевне самоотверженно заниматься его дипломом, как недоумевал Набоков по поводу бескорыстных усилий неистово помогавших ему супругов Ильи Исидоровича и Амалии Осиповны Фондаминских. Фондаминский, как и Вера Николаевна, тоже без конца ездил выпрашивать деньги и для Набокова, и для всех нуждавшихся эмигрантов. Просить можно было просто на бедность — по списку. А можно было под билеты, скажем, на творческий вечер или концерт: платили за билет кто сколько может, богатые, как правило, платили больше (причем на вечер чаще всего и не шли). Сборы от благотворительных вечеров помогали литераторам выжить — и Цветаевой, и Набокову, и Бальмонту, и Ремизову... На благотворительных концертах бесплатно выступали знаменитейшие русские певцы, прославленные музыканты, звезды балета, а сборы шли в пользу инвалидного русского дома, русской гимназии, приюта, библиотеки или просто голодного гения. Изобретение это — благотворительный концерт — было старинное, именно так собрал Иван Сергеевич Тургенев первоначальные средства для открытия в Париже эмигрантской, ныне Тургеневской, библиотеки.

Кстати, об упомянутых Яновским балах и о бесплатных рижских шпротах для буфета — думаю, это

нуждается в объяснении. Благотворительный бал тоже мероприятие, освященное русской традицией благотворительности, верный способ собрать деньги. Но одновременно это была и отдушина в нелегкой эмигрантской повседневности.

В одной из своих французских книг Зинаида Шаховская вспоминала: «Русская эмиграция танцевала много. В наемных залах разнообразные организации давали благотворительные балы: бал императорских пажей, бал донских казаков, бал Красного Креста, бал инвалидов — балы, балы, балы, предваряемые концертами, в которых участвовали артисты эстрады». В только что вышедших по-французски воспоминаниях балерины Нины Тикановой (а точнее, Нины Александровны Тихоновой) балов названо еще больше: «армейский бал, и флотский бал... гвардейский бал, грузинский бал), бал врачей, бал адвокатов, и даже бал лицеистов. Итак, беженцы чистили свои чудом уцелевшие смокинги и, забыв о своей повседневности, снова, до самого рассвета превращались в людей высокого русского общества, почтительно целовавших ручки своим дамам. Самыми знаменитыми из этих балов были балы писателей и журналистов, которые проходили накануне русского Нового Года, 13 января, в залах «Лютетии». Знаменитые (и прочие) писатели кружили в вальсе (насколько им позволял возраст) своих упитанных жен или — в меру своего умения — отплясывали чарльстон».

Конечно, все благотворительные балы должны были заручиться участием музыкантов и артистов — по возможности бесплатных. Зинаида Шаховская вспоминает: «Оркестры бывали русские, так же, как и актеры, и певцы. Между двумя песнями в роскошном кабаке цыгане выкраивали минуту и пели бесплатно в пользу какого-нибудь доброго дела. Буфет тоже был русский: салат, маслины, пирожки, кулебяки, малосольные огурчики, бутерброды с икрой...» Мы уже знаем, что снесь для благотворительного буфета жертвовали хозяева русских лавок. Они же (а также все, кто мог) жертвовали разнообразные предметы для лотереи, доход от которой тоже шел на благотворительные цели. Поклонники романов Владимира Набокова, вероятно, помнят, что его герой Тимофей Палыч Пнин принимает гостей в роскошной куртке, которую выиграл лет двадцать назад на благотворительном балу в Париже.

В другом романе Набокова, в «Защите Лужина», мы находим и описание подобного бала: «Было очень много народу на этом балу — был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографические актрисы... было лотерейное нагромождение: представительный самовар (дар Смирновского)... сэндвичи, итальянский салат, икра... А дальше, в другом зале, была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие...»

Упомянутые Набоковым иностранный посланник и кинодивы нужны были, чтобы придать еще большую притягательность балу (как придавали ее и знаменитые писатели) — да и сам молодой Набоков, судя по всему тоже любивший эти балы, не жалел сил, чтоб умножить их веселье. На одном из балов журналистов и писателей он со своим другом Георгием Гессеном развлекал публику боксерским поединком, на другом — играл роль драматурга Евреинова в «показательном процессе» над знаменитой еврейновской пьесой.

Вспоминая про эти балы через добрых тридцать — сорок лет, вполне уже французская к этому времени писательница Зинаида Шаховская, проявляет гальскую рассудительность и высказывается весьма сурово:

«Создавалось впечатление, что эти деньги, поступающие всегда из одного источника, перекачуются с одного бала на другой, из одной кассы в другую, и думалось, что, если бы эмигранты не ездили по всем этим балам, часть всех этих комитетов взаимопомощи была бы просто излишней. Но вместо того чтобы положить эти несколько су в сберегательную кассу, как благоразумно предлагают аборигены, эмигранты тратят их все, танцуя в пользу других эмигрантов. И много пьют. Память о гражданской войне не изгладилась, последствия ее не изжиты. Отчаяние и горечь таятся на дне сознания; враждебные страсти живы, и случается, что бал, начавшийся в высшей степени торжественно, кончается дракой и битьем окон где-нибудь за кулисами».

Да, да, бывало. Чего не бывало! И все же вы неправы, ах, как вы неправы, дорогая Зинаида Алексеевна! Разве не на таком балу познакомились вы с бледным романтическим юношей-поэтом, который мальчишкой прошел войну и оттого только недавно

закончил в Париже лицей? Разве не ему подарили вы перстень Марины Цветаевой? Так о чем жалеть и тридцать и шестьдесят лет спустя?

Разве не на таком вот костюмированном балу 8 мая 1923 года — то ли в танцевальном зале, то ли у буфетной стойки с крюшоном — познакомился юный, худой как жердь, элегантный и гордый поэт Владимир Набоков с девушкой в маске, у которой была такая нежная шея. С этой восторженной поклонницей его стихов, готовой отдать жизнь без остатка — ему и русской литературе, они прожили в счастливом браке больше шестидесяти лет. Ее звали Вера Слоним, и она умерла совсем недавно, после семидесяти лет служения мужу-писателю... Видите, как вы неправы, милая Зинаида Алексеевна! Бог с ними, с этими несколькими су, и со сберкнижкой, и с бережливыми аборигенами. Ведь бал — это прекрасно... А благотворительный бал — прекрасно вдвойне...

«ПРОНЗИЛА ВЕЛИКАЯ ЖАЛОСТЬ...»

(Церковь в гараже на рю Лурмель)

Среди многочисленных парижских православных церквей эпохи религиозного эмигрантского возрождения 20—30-х годов одной из самых удивительных представляется мне из сегодняшней дали церковь, устроенная в гараже, во дворе дома 77 на рю де Лурмель. В доме этом размещалось до войны дешевое общежитие для одиноких русских, организованное матерью Марией, основательницей движения «Православное дело». Об этой замечательной женщине — в миру ее звали Елизавета Юрьевна Скобцова, а в первом браке она носила фамилию Кузьмина-Караваява — вы уже читали. Эта поэтесса, принявшая монашеский послух, пожелала остаться в миру, чтоб помогать самым обездоленным. Дни ее проходили в самом черном труде, в хлопотах, уборке, спорах, беготне, утешении совсем пропащих и потерянных:

Пронзила великая жалость
Мою истомленную плоть.

Все мы — ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь.

Мне голос ответил: «Грущобы —
Людского безумья печать —
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять»...

Мать Мария считала долгом не только спасти жизнь несчастных, опустившихся людей, но и спасти их души. И она обращалась к своим подопечным, утратившим в беде человеческий облик:

Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Что же будет с надеждою нашей?
Что же с вашими душами станется
Пред священной Господнею чашей?

Как придем мы к Нему, неумытые?
Как приступим с душой вороватою,
С гнойной раной и язвой открытою,
Все блудницы, разбойники, мытари
За последней и вечной расплатою?»

Мать Мария, ее помощники и приглашаемые ею из Богословского института виднейшие богословы эмиграции проводили у нее на рю де Лурмель беседы, диспуты. Но нужна была, конечно, церковь. В гараже у себя во дворе мать Мария оборудует церковь. Изучив по книгам приемы средневековой живописи по стеклу, она сама делает в этой церкви витражи. А первым священником в ее необычной церкви становится тоже совершенно необычный человек — отец Лев Жилле. Он был француз, учился в Гренобле и Женеве, изучал психологию. Чтение Достоевского потрясло его, а война обратила к религии: он стал монахом-бенедиктинцем, потом был приглашен секретарем к униатскому митрополиту во Львове Андрею Шептицкому. Вернувшись в Париж, он перешел в православие и был одним из организаторов французского православного прихода в Париже. Высокопреосвященнейший митрополит Евлогий говорил о нем, что это «вдумчивый монах-аскет... религиозный мыслитель, молитвенник, вдохновенный проповедник и духовный руководитель отдельных душ». А после смерти архимандрита Льва Жилле лондонская «Таймс» писала о нем, что он был один из самых выдающихся представителей православия на Западе, исключительный знаток не только христианства, но и других религий, человек, духовного руководства которого искали и члены его церкви, и иноверцы.

Вот такой человек и стал священником на рю Лурмель. Мне доводилось читать в «Новом граде» его статьи о мессианской вере: отец Лев Жилле пишет, что если бы люди осуществили при помощи этики, которую Альберт Швейцер удачно назвал переходной, абсолютную чистоту и абсолютную любовь, указанную в Нагорной проповеди Христа, то этот мир бы кончился, преобразовавшись в мессианское царство. Христианское мессианство для отца Жилле являлось и фактором сближения с другими великими мировыми религиями — исламом и иудаизмом.

Митрополит Евлогий добился для отца Льва разрешения обслуживать, или, как говорят, окормливать русских заключенных в тюрьмах. Когда митрополит попросил разрешение на посещение тюрем, к нему явился французский чиновник из министерства юстиции и спросил с подозрительностью — зачем. «А я хочу узнать, как у вас из тюрьмы убежать можно...» — ответил русский митрополит. «О, вузэт трэзироник, — сказал чиновник. — Вот ведь какая ирония у вас». Но разрешение дал, и отец Лев стал великим спасителем душ в тюрьме, а русских, приговоренных к смерти, Горгулова, например, был такой поэт-парнасец, убивший президента Думера) он провожал до самой гильотины. В войну отец Лев жил в Англии, сблизился с православными евреями, справлявшими православный обряд, но по-древнееврейски, стал настоятелем церкви Святого Василия, часто посещал православных в Бейруте, написал много богословских книг по-английски и по-французски, которые были переведены на немецкий, греческий, голландский, датский, испанский, итальянский... Утром 29 марта 1980 года он отслужил литургию, а вечером того же дня, проведенного в гостях у друзей, восьмидесяти семи лет отроду, мирно уснул навсегда в кресле у себя в кабинете...

А последним священником в этой необычной церкви на рю де Лурмель был другой прекрасный человек — отец Дмитрий Клепинин. Родился он в Пятигорске в семье архитектора, крестным отцом его был Мережковский, а матушка его приходилась кухней Зинаиде Гиппиус. К православному служению пришел через знаменитый студенческий кружок в Белграде, который был основан братьями Зёрновыми. Мне довелось однажды познакомиться в православной церкви

в Оксфорде с Николаем Михайловичем Зёрновым — это был замечательный человек: от него я, кстати, и услышал впервые имя архимандрита Льва Жилле.

Дмитрий Клепинин учился в парижском Богословском институте на Сергиевском подворье, где любимым его наставником был отец Сергей Булгаков; год учился в нью-йоркской духовной семинарии... Но жизнь его сложилась нелегко — работал он на медных приисках в Югославии, мыл витрины в Париже, натирал полы. И при этом пел в церковном хоре. В 1937 году он был рукоположен митрополитом Евлогием в Александро-Невском соборе в Париже, а в 1940-м стал, к своей радости, настоятелем храма в гараже на рю де Лурмель. Митрополит Евлогий был о нем очень высокого мнения и советовал своим духовным детям: «Когда умру — исповедуйтесь у отца Дмитрия». Но старенький митрополит пережил молодого священника.

С началом войны мать Мария, а с нею и отец Дмитрий и все ее сотрудники приходят, как у них водилось, на помощь тем, кому было всего страшней в ту пору — евреям. Помогая французскому Сопротивлению, они прятали еврейские семьи. Когда мать Марию спрашивали, что она сделает, если вдруг ворвутся немцы да спросят, нет ли у вас евреев, она говорила: «Я отвечу — да, есть. И покажу им образ Божьей матери с младенцем». Она писала в 1942 году:

Два треугольника -- звезда,
Щит праотца -- царя Давида,
Избрание, а не обида,
Великий дар, а не беда.

Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

Подвиг этот соответствовал убеждениям отца Дмитрия, который писал другу, что любовь «...несомненно есть содержание жизни, т. к. жизнь сотворена любовью и заключается в возвращении к первооснове — Любви. Все остальное есть испытание воли к этому возвращению. Все положительное вырастает из любви, все отрицательное — неправильное выражение любви, паразит на теле любви...»

Потом этих прекрасных людей арестовали из-за множества доносов, отправили в Компьенский лагерь —

и мать Марию, и ее подростка-сына Юру, и ее помощников. Об их мужественном поведении в лагере ходят легенды. Мать Мария погибла в газовой камере в конце марта 1945 года в лагере Равенсбрук. Она задолго до этого, до войны еще, не раз предсказывала в стихах свой конец:

От хвороста тянет дымок,
Огонь показался у ног,
И громче напев погребальный.
И мгла не мертва, не пуста,
На ней начертанье креста —
Конец мой, конец огнепальный.

Николай Бердяев писал о ней в «Самопознании»: «В личности матери Марии были черты, которые так пленяют в русских святых женщинах — обращенность к миру, жажда облегчать страдания, жертвенность, бесстрашие».

Отец Дмитрий находился в Бухенвальде, в подземном лагере Дора. Он отказался от значка, указывавшего, что он заключенный из Франции. Он видел, что с русскими из России обращаются хуже всего, и решил разделить судьбу своего народа. Он терял последние силы, и друзья его сказали администрации, что вот этот старик, он больше не может. Его спросили, сколько ему лет, он ответил: тридцать девять. Он не мог солгать. За него вступился немецкий пастор Петерс, научал: просто надо сказать, что он не из «Православного дела». Он снова не смог солгать.

Как и мать Мария, как ее друг Фондаминский, он хотел пострадать за людей. Он писал: «Особенно ярко идея любви, как самоцели, выражается в мученичестве».

На этом и завершается краткая, но удивительная, излучающая свет история русской церкви в гараже на рю де Лурмель, история одного из многих храмов православного Парижа в золотой век русской эмиграции.

РУССКАЯ КРОВЬ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕЧЬ

(О страданиях билингвы и победах на чужом поле)

Уже в тридцатые годы — и чем ближе к войне, тем явственней — начала спадать активность русской культурной жизни в эмиграции. Все больше ощущалась безнадежность развития эмигрантской культуры. Литераторы острее других ощущали эту безнадежность. Уходил читатель, угасали издания, распадался российский микрокосм. Даже здесь, в Париже, в культурной столице эмиграции. Спасение было в том, чтобы вписаться в окружающую среду, в жизнь тех самых «аборигенов», которых, по наблюдению Набокова, эмигранты, жившие собственной жизнью, в своем замкнутом кругу, воспринимали всегда как бесплотные тени.

Во второй половине тридцатых и сам Набоков, и другие писатели делают мучительные попытки перейти на язык аборигенов. Еще раньше эти попытки предпринимала Цветаева, писавшая по-французски, а еще охотнее — по-немецки. Цветаевские попытки не принесли значительных плодов. Как, скажем, и попытки хорошо знавших французский Пушкина, Толстого, Тургенева. Неистово преданный литературе, находившийся тоже в непростых но все же не таких тяжелых условиях, как Цветаева, Владимир Набоков пишет в 1937 году по-французски эссе к Пушкинскому юбилею, а также рассказ о своей французженке-гувернантке, рассказ, заслуживший похвалы французских литераторов. В те же годы Набоков, живший уже во Франции, пишет свой первый английский роман, весьма изощренный и вполне набоковский, — «Истинная жизнь Себастьяна Найта».

Переход писателей, уже сформировавшихся творчески на родном языке, на другой язык — это процесс тяжелый и мучительный. Современные литературоведы и нейропсихологи посвятили немало страниц двуязычным писателям — билингвам. Они отмечают не только технические, лингвистические трудности такого перехода, но и трудности нейрофизиологические, психические. То есть, тут возникают не только проблемы

раздельного хранения языковых сокровищ, двух-трех «хранилищ» слова, или проблемы «отключения», переключения с одного языка на другой, но также и психологические проблемы. У «билингвы» нередко можно наблюдать чувство раздвоенности, чувство потерянности и мучительная вины, самокалеченья, наконец, чувство измены. Здесь всякий, конечно, вспомнит знаменитое стихотворение Набокова «К России» («Отвяжись, я тебя умоляю...»), да и многие другие его стихотворения, а также многочисленные прозаические признания Набокова... Это неудивительно — к моменту перехода на английский Набоков уже создал свой собственный, набоковский русский стиль. И вот он, столько раз за свою жизнь терявший — дома, коллекции бабочек, любимые аллеи, близких,— должен был отказать от того, что он считал не просто собственностью («все, что есть у меня, мой язык»), а своей плотью, телом, частицей самого себя...

Но и писатели менее крупные, чем Набоков, ощущали подобный переход мучительно. Та же Эльза Триоле, знаменитая французская писательница, сестра Лили Брик и жена Арагона, писавшая вначале порусски, очень точно говорила о злосчастной «полусудбе, полуучасти» двуязычного писателя.

Подобное двуязычие писателя не может не иметь творческих, лингвистических и даже нейрофизиологических последствий для него — как отрицательных, так и положительных. Оно создает особый тип творчества и особый тип сознания, которое с особой яркостью проявляется, конечно, у писателей столь своеобразных, как, скажем, Сэмюэл Бекет или Владимир Набоков. Этих проявлений замечено много — и острога восприятия, воспоминаний о детстве, и зыбкая двусмысленность. Тех, кого заинтересует эта интереснейшая тема, можно отослать к многочисленным исследованиям нейропсихологов и литературоведов, в частности, к американской книге Элизабет Божур, построенной в основном на русско-французском и русско-английском материале. Недаром книге этой предпослан эпиграф из Мандельштама: «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...»

Ну, а судьба русских писателей на чужбине сложилась так, что и забыть чужие наречия им нельзя было, и искушать их приходилось. Живущим во Франции и стремящимся печататься, приходилось писать на

французском. Легче это далось тем, кто приехал во Францию совсем молодым, может, ребенком, кто попал сразу во французскую среду, у кого и семья была не одноязычная.

Русская эмиграция дала французской литературе целое созвездие литераторов. Как правило, эти авторы не стали слишком известны на родине, в России, и отчасти это оправдано тем, что они даже больше, чем исконные французы, ориентированы были на французскую публику, перед которой неизбежный русский элемент их сочинений, русская тема представляли как некая инородная экзотика. Подобное ощущение возникало у меня лично не раз при чтении знаменитых Жозефа Кесселя или Анри Труайя (оба этих почтенных писателя — члены Французской Академии), и даже при чтении французских книг здравствующей ныне Зинаиды Шаховской, которая подписывала их мужским псевдонимом Жак Круазе. Анри Труайя (некогда Тарасов, а до того, возможно, и Тарасян) написал целую французскую библиотеку, целую полку книг о России и русской истории — о Достоевском, Толстом, декабристах. Французы эти книги любят. Жозеф Кессель, тоже из эмигрантской семьи, родился где-то в Южной Америке, еще в первую мировую был летчиком, попал с французским экспедиционным корпусом в Сибирь, видел там атамана Семенова, много чего видел — головокружительная судьба и множество романов, потом академический мундир Бессмертного, французская, но не русская слава.

Зинаиду Шаховскую уже переводят в Москве с французского или печатают ее русские вещи. Она и сейчас еще пишет по-русски, что-то о Набокове, и ее книга «В поисках Набокова», написанная по-русски, по существу, единственная русская мемуарная книга об этом писателе, с которым она несколько лет дружила, вышла в московском издательстве «Книга». Любопытная книга, но, конечно, как всякая мемуарная книга, она больше говорит о мемуаристке и ее эмоциях, чем о Набокове. Мне приходилось не раз беседовать с Зинаидой Шаховской. На девятом десятке она сохраняет и юный темперамент, и здравый смысл, и старые предрассудки.

Еще большее удовольствие доставляли мне беседы с Натальей Ильиничной Черняк, в браке и в литературе носящей имя Натали Саррот. Это знаменитая —

и у нас и во Франции знаменитая — современная, воистину современная, французская писательница, одна из создательниц школы «нового романа», так сказать, авангардистка, и притом тонкий стилист. Ее произведения переведены на русский, а из ее книги «Детство» вы можете узнать, что судьба ее связана не только с Парижем, но и с прелестным украинским городком Каменец-Подольском. По-русски она говорит безупречно. Разбор ее творчества, увы, потребовал бы многих страниц...

Выходцем из России был и другой знаменитый французский писатель — Роман Гари, писавший также под псевдонимом Эмиль Ажар. Прелестная его книга «Все впереди» не путать с беспомощным романом Василия Белова), кажется, уже переведена на русский.

Надо упомянуть и довольно знаменитую во Франции Зою Ольденбург, дочь известного русского ученого. В ее огромном романе «Радость-горесть» (как и в некоторых других ее произведениях) — чисто русская среда ее детства, русский Медон, этот густо населенный в двадцатые годы русскими юго-западный пригород Парижа (тот самый, близ которого жили и Бердяев, и Цветаева, и многие другие). Но наряду с романами, неотвязно затрагивающими русскую тему, у Зои Ольденбург есть и множество романов из французской истории.

Менее известен у нас в России Владимир Волков. У него есть романы из русской истории — такие, как «Владимир Красно Солнышко», но есть, скажем, и полудетективный роман — о выходце из русской эмигрантской семьи, завербованном советской разведкой.

Упомянутую мной вначале Эльзу Триоле в прежние годы часто переводили на русский. В 1928 году в полулярном и среди русских монпарнасском кафе «Куполь» она встретила поэта Луи Арагона и стала его женой, музой, главной героиней его стихов — всякий француз слышал о «глазах Эльзы». Она глубоко вошла во французскую интеллектуальную среду, в те времена в значительной степени коммунистическую. На протяжении четверти века она была беззаветной, а по временам и довольно беззастенчивой коммунисткой. Бог знает чего только она не писала о нашей стране, хотя и бывала там часто, не могла не видеть правду. Потом она медленно и мучительно, как большинство французских сталинистов, стала прозревать,

а под конец жизни выступала уже и в защиту Сахарова, и в защиту Солженицына, ну, а какая она писательница — вам судить, она переведена.

Я уже назвал многих, однако далеко не исчерпал списка имен — всех русских эмигрантов, кто пришел во французскую литературу и журналистику. По-французски довольно изящно писала, скажем, русская азербайджанка, подруга Тэффи, взявшая псевдоним Ум Эль-Банин, последняя пассия 77-летнего Ивана Бунина. Ее книжка, напечатанная в переводе в русском зарубежном журнале «Время и Мы», так и называется «Последний поединок Бунина»

Были и еще многие авторы. Иные из них сейчас возвращаются к нам — в переводе, другие еще вернутся. Многие этого вполне заслуживают. Скажем, та же Зоя Ольденбург.

Что же касается совсем новых, молодых французских писателей русского происхождения, эмигрантов в третьем поколении, — имя им легион. Откройте любой обзор новых романов, удручающе многочисленных по осени, откройте любой новейший издательский план, и вы увидите русские имена — Володин, Вяземская... Но у этих писателей уже не было проблемы двуязычия, а мостиком к стране предков остаются для них лишь фамилия, смутные семейные воспоминания, да иногда еще неодолимый интерес к этой многострадальной и загадочной стране, России...

«И БЕРЕЗЫ, БЕРЕЗЫ, И МОГИЛЫ, МОГИЛЫ...»

(Сэн-Женевьев де Буа)

Как-то раз в конце семидесятых годов на Северном Кавказе в кругу горнолыжников я услышал гитарную песню. Пел загорелый красавец-инструктор, но песня была не совсем горнолыжного содержания — про Сэн-Женевьев де Буа, маленький городочек под Парижем, где разместилось знаменитое русское эмигрантское кладбище:

И березы, березы, и могилы, могилы,
И знакомые русские всё имена —

Будто ветер какой-то неслыханной силы
Разбросал вас по свету, как горстку зерна...

Ветром этим была, как известно, революция и братоубийственная война, а городок этот, что в двадцати двух километрах к югу от Парижа, я, конечно, постарался посетить, как только попал во Францию. Он назван именем Святой Женевьевы, или, как переводят люди знающие, — Святой Геновефы. То есть Женевьевы в лесах, Лесной Женевьевы. Когда-то были тут, наверно, леса, а теперь вот у края жилых кварталов белеют под серым парижским небом почти белоствольные и почти русские березы эмигрантского кладбища. Когда-то люди говорили с ужасом: страшно умереть на чужбине — так, будто жить на чужбине еще ничего, а вот зарытым быть в чужую землю и вовсе уж горестная судьба.

Мне доводилось видеть русские могилы и в Ницце, и в Риме, и в Вене над Женевским озером, и в Лозанне, и в Бюси-ан-От, и в Монголии, но сэн-женевьевское кладбище совсем особое. Парижский профессор Никита Струве вообще считает, что Святая Геновефа, покровительница Парижа, имеет некую мистическую связь с русской эмиграцией, и в качестве одного из примеров приводит как раз это вот знаменитое русское кладбище в Сэн-Женевьев де Буа.

Помню, как я в первый раз попал сюда и ходил среди надмогильных камней и высоких деревянных крестов, читая: «Бунин Иван Алексеевич», «Мережковский Дмитрий Сергеевич», «Князь Трубецкой», «Князь Лобанов-Ростовский», «Романов...», «генерал Дроздов и дроздовцы», «Иван Мозжухин», «Тэффи», «Борис Зайцев», «Георгий Иванов», «Константин Коровин», «кн. Оболенская», «Петр Струве», «кн. Феликс Юсупов»...

Прекрасная здешняя церковь была построена в 1938 году по проекту архитектора Альберта Бенуа в стиле новгородского XV—XVI века. Расписывали церковь сам Альберт Бенуа (брат знаменитого Александра Бенуа) и его жена, а помогал им, в частности, граф Шереметьев, который в ту пору уже поселился тут при храме в смиренной должности псаломщика — граф был знатоком славянского письма и искусным каллиграфом.

Бродя среди могил в тот первый день, я познакомился с почтенным старцем — ему было уже сильно за

девятисто — бывшим генерального штаба полковником Борисом Ивановичем Дуровым, потомком знаменитой героини 1812 года Надежды Дуровой. Борис Иванович сидел у собственной, загодя заготовленной могилки и спокойно читал какую-то рукопись. Он и привел меня впервые в Старческий дом Сэн-Женевьев де Буа. Здесь были какие-то очень старые люди, передвигавшиеся неслышно, как тени, здесь стояли, отчего-то вдоль стен на полу, портреты членов царской фамилии, попавшие сюда из бывшего русского посольства в Париже. Здесь была и своя маленькая церковь, устроенная когда-то директором дома генералом Вильчковским и одним из призреваемых — князем Путягиным. А в церкви — прекрасные иконы, тоже, кажется, из посольства. Я вспомнил, что то же странное ощущение — будто время сместилось, что ли — уже было когда-то у Цветаевой, приезжавшей сюда еще в конце 20-х годов навестить какую-то родственницу. Цветаева писала потом в письме про серое, почти курское небо под березами... В то время Дом уже существовал, а кладбище было совсем новым, но умирали тут часто, и к началу войны было уже четыреста могил. Теперь же тут покоятся и мой бывший учитель Александр Аркадьевич Галич (надпись на камне из Евангелия — «Блаженны изгнанные за правду...»), и Андрей Арсеньевич Тарковский, и милейший человек Виктор Платонович Некрасов (поначалу, конечно, опущены были в чужие могилы — свободного больше нет места, а Виктору Платоновичу и вовсе судила судьба в одну лечь могилу с бывшей берлинской любовью молодого Набокова, прелестной Романой Клячкиной).

История Старческого дома в Сэн-Женевьев де Буа довольно трогательная, точно из голливудского фильма. После революции княгиня Вера Кирилловна Мещерская, ища заработка, открыла в Париже пансион, где обучала хорошим манерам девушек из богатых американских семей. И вот среди пансионеров была девушка — звали ее Долли, мисс Дороти Пэджет — которая оказалась не только богатой, но и весьма привязчивой, доброй девушкой. Она полюбила сестер Мещерских и стала допрашивать Веру Кирилловну, чем может помочь, что доброго могут сделать деньги? Княгиня и объяснила своей воспитаннице, что положение стариков-эмигрантов ужасно: молодые поручики

да нестарые полковники еще могут обучиться на таксистов, а вот старикам... Мисс Пэджет купила в Сэн-Женевьев де Буа великолепный особняк с флигелями, службами, садом, принадлежавший некогда наполеоновскому маршалу, и дом сразу заполнился постояльцами, а потом и флигеля тоже. Здесь жили разные люди, в том числе бывшие генералы, князья. В общем, как говорится, из бывших. Вопрос о происхождении здесь стоял очень остро, и посмеиваясь над этой мирскою тщетой, митрополит Евлогий в воспоминаниях приводит один здешний анекдот — даю его в той же записи, как у высокопреосвященнейшего.

«На местном кладбище разговаривают три старушки, выбирая себе место для вечного упокоения; заспорили об одном наиболее видном месте.

— Мой муж был губернатор...

— А мой — генерал-лейтенант...

— А мой — начала третья старушка и замялась... — кто же был мой? Ах, запаматовала...

— Да вы же незамужняя, — запротестовали спутницы.

— Ах да, я действительно, я не была замужем... — смущенно сказала бедная старушка».

В первые же годы после возникновения Старческий дом был переполнен и больше не вмещал всех. Селились поблизости на квартирах. Городок обрусел. Как и парижские пригороды Медон, Кламар, Ванв, Бьянкур.

Добрая мисс Пэджет обожала своих подопечных и все поставила на широкую ногу. Она часто наезжала сюда сама из Америки, а то и присылала подарки. На Рождество, например, присылала «авионом», так пишет митрополит, гусей и индеек. А однажды на праздник Французской революции, в годовщину успешного разрушения Бастилии массами, решила она порадовать русских старичков и повезла всех — двести пятьдесят человек — на грузовиках с немалым риском для их хрупкого здоровья в Париж — смотреть революционные фейерверки на Сене. Для этого накупила шампанского, снеси, сняла виллу с видом на Сену, чтоб видно было огни. Истратила на это пятьдесят тысяч франков. «Широкая, но странная затея, — с юмором вспоминает митрополит Евлогий. — Фейерверк вряд ли мог доставить большое удовольствие этим престарелым людям. Но доброй мисс Пэджет хотелось дать

бедной русской аристократии, хоть на один день, иллюзию былой привольной, богатой жизни...»

В последний раз я был на кладбище в Сэн-Женевьев де Буа на русскую Пасху. Бывший соученик мой художник Виталий Стацинский и переводчик Кшиштоф Глоговский подбросили меня туда на разбитой, расхлябанной машине Кшиштофа. Издали услышав пение, я подошел из полуночного мрака к ограде кладбища и обмер. Сотни огней трепетали на могилах — свечи, свечи, свечи...

С пением вышла из церкви процессия и потянулась с хоругвями вокруг всего кладбища, вокруг мирно спящих русских изгнанников: волнующее было, незабываемое зрелище, и мне вспомнилось, как, завершая свою очень прочувствованную запись о церкви в Сэн-Женевьев де Буа, последней им освященной церкви, воскликнул когда-то старенький митрополит Евлогий:

«Да будет благословенно имя Господне отныне и до века... Аминь!»

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
ДВАЖДЫ ВОЗВРАЩЕНЕЦ (Михаил Осоргин)	7
СТАРЫЙ РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ СТОИТ НА СВОЕМ (А. И. Деникин)	12
ЦАРСТВА МОНПАРНАССКОГО БЕДНЫЙ ЦАРЕВИЧ (Борис Поплавский)	17
РЫЦАРЬ ОРДЕНА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (В. Д. Набоков)	23
КНЯЗЬ-ЕВРАЗИЕЦ И ФОНОЛОГИЯ (Н. С. Трубецкой)	30
«РЕСТОРАН ЗАКРЫТ...» (Русские рестораны и рестораторы)	35
ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ХУДОЖНИК (С. Шаршун)	40
ГРУСТНЫЙ ЧАСОВЩИК УБИВАЕТ СОЦИАЛ-ДЕМО- КРАТА (Петлюра и Шварцбард)	45
ВЕЛИЧИЕ И СМИРЕНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙ- ШЕГО (Высокопреосвященный митрополит Евло- гий)	51
В БОЙ ЗА ДВЕ РОДИНЫ-МАЧЕХИ (Русские и 18 июня 1940 года)	56
ЧУДЕСНАЯ ПАРА ИЗ КАФЕ «ЛЁ ПЕТИ БЕНУА» (Н. Гон- чарова и М. Ларионов)	59
КАК ОНИ СОХРАНИЛИ РОССИЮ В ПОКОЛЕНИЯХ (Русская гимназия)	64
АГЕНТ ГПУ ПОЕТ О РОССИИ (Надежда Плевицкая)	69
«ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ...» (Мать Мария)	75
«НИЧЕГО НЕ ВОЗЬМЕТ: НИ ДЕКРЕТ, НИ ШТЫК» (Кн. С. М. Волконский)	80
БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ СЛАВНОГО МАЛОГО (Сергей Эфрон)	84
БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА (Нансеновский паспорт)	90
КУДЕСНИКИ НА ЧУЖБИНЕ (Русские художники во Франции)	95
НЕ ГРЕЮЩЕЕ СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ (Парижская школа русских художников)	100
КОГДА ОТШУМЕЛО ГУЛЯЙ ПОЛЕ... (Нестор Махно)	105
СТРАННИЧЕСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ЧЕЛОВЕКУ... (Преосвященный владыка Иоанн)	111
ЭРУДИТ И ДЖЕНТЛЬМЕН (М. А. Алданов)	117
МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ ЗА БАРАНКОЙ ТАКСИ (Кн. Ю. А. Ширинский-Шихматов)	122

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЬСТВА (Русский мир Парижа)	126
ТЕМИРЯЗЕВ, КОТОРЫЙ АННЕНКОВ (Юрий Анненков) .	131
ЗАКОНОДАТЕЛЬ МИРОВОЙ МОДЫ (С. П. Дягилев) . .	135
ЭТОТ ЧЕЛОВЕЧНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК (И. И. Фондаминский)	140
ИКОНА, БЛАГОЧЕСТИЕ, КРАСОТА... (В. П. Рябушинский)	145
«КОНЕЧНО, ОН БЫЛ ПОСТАВЛЕН РУССКИМИ...» (Русские эмигранты и французское кино)	150
РУССКИЙ ШАРМ И РОКОЧУЩЕЕ «Р» (Русские звезды экрана)	156
НА ВСЮ Б ЕВРОПУ ХВАТИЛО... (Вольная печать Русского Зарубежья)	160
ОЧАРОВАНИЕ СИОНИСТА (Владимир Жаботинский) . .	164
ДОРОГИ БУРНОГО ВЕКА (Семья Кривошеиных)	171
ЕЩЕ ОДНО ЧУДО (Парижские книжники)	177
КОНЕЦ ОДНОЙ УСАДЬБЫ (Вилла «Бельведер»)	182
ДЕТИЩЕ ТУРГЕНЕВА (Русская библиотека в Париже) . .	187
ХОЛМ НА ПАРИЖСКОЙ ОКРАИНЕ (Сергиевское подво- рье)	191
СРЕДИ ПРИЗРАЧНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ... (Русская эми- грация и левые интеллектуалы Запада)	196
ПОТЕРИ «НЕГАТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ» (Семья Лосских) .	201
ВЕЧЕР НА УЛИЦЕ ЖАКА ОФФЕНБАХА (К. Симонов в го- стях у И. Бунина)	206
РУССКИЙ БОГОСЛОВ И ПОГОНЯ ЗА ОРЛАМИ ИМПЕ- РИИ ((Г. П. Федотов)	213
«И ЗАБЫВ О СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ...» (Русские бла- готворительные балы)	219
«ПРОНЗИЛА ВЕЛИКАЯ ЖАЛОСТЬ» (Церковь в гараже на рю Лурмель)	224
РУССКАЯ КРОВЬ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕЧЬ (О страданиях билингвы и победах на чужом поле)	229
«И БЕРЕЗЫ, БЕРЕЗЫ, И МОГИЛЫ, МОГИЛЫ...» (Сэн-Женевьев де Буа)	233

Носик Борис Михайлович
ПРИВЕТ ЭМИГРАНТА, СВОБОДНЫЙ ПАРИЖ

Художник В. М. Радецкий
Технический редактор Н. А. Малышева

Сдано в набор 26.11.91 г. Подписано в печать 12.03.92 г. Формат
84x108/32. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,6. Тираж 50 000 экз. Заказ 2444. С11.

Фирма «Интерпракс»
101430, Москва, 2-й Неглинный пер., 4

Российский государственный информационно-издательский центр
«Республика»
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва,
Краснопролетарская, 16



HOTEL DE L'AVOIR

100

Restaurant RACHID HOTEL *Moultres*

Restaurant
Le...

«Узнает ли когда-нибудь она, моя невероятная страна, что было солью каторжной земли?»—вопросил в отчаянии эмигрантский поэт. И вот страна узнает помаленьку. О русских, выбитых из России, о своих, ставших надолго не своими.

Книга московского писателя Бориса Носика, живущего последние десять лет по большей части во Франции, рассказывает о днях и людях первой русской эмиграции.

